

Икона «Вход в Иерусалим». XVII в.
К очерку и фоторепортажу о вологодских реставраторах Федышиных.
Стр. 27.

ISSN 0868—4855. СЛОВО 1990. № 10. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

СЛОВО

ISSN 0868-4855

10 1990

Икона «Душа Праведная и душа нечистая». XVIII в.
Очерк о реставраторах Федышиных читайте на стр. 27.



Иван Алексеевич Бунин.
К 120-летию со дня рождения.

Мы продолжаем публикацию произведений Ивана Алексеевича Бунина и материалов о нем, посвященных 120-летию со дня рождения. Можно сказать, фактически, впервые в нашей стране столь широко отмечается юбилей великого русского писателя, покинувшего родину почти семьдесят лет назад. «Неизвестный Бунин» — так совсем не без оснований назвали мы подборку в этом номере (см. стр. 61)

ИВАН БУНИН

МОСКВА

Темень, холод, предрассветный
Ранний час.
Храм невзрачный, неприметный,
В узких окнах точки желтых глаз.

Опустела, оскудела паперть,
В храме тоже пустота,
Черная престол покрыла скатерть,
За завесой царские врата.

В храме стены пóтом плачут,
Тусклы ризы алтарей.
Нищие в лохмотья руки прячут,
Робко жмутся у дверей.

Темень, холод, буйных галок
Ранний крик.
Снежный город древен, мрачен, жалок,
Нищ и дик.

12.IX.19.

* * *

Шепнуть заклятие при блеске
Звезды падучей я успел,
Да что изменит наш удел?
Все та же полночь, дичь и глушь...
А если б даже Божья сила
И помогла, осуществила
Надежды наших темных душ,
То что с того?
Уж нет возврата
К тому, чем жили мы когда-то.
Потерь не счесть, не позабыть,
Пощечин от солдат Пилата
Ничем не смыть — и не простить
Как не простить ни мук, ни крови,
Ни содроганий на кресте
Всех убиенных во Христе,
Как не принять грядущей нови
В ее отвратной наготе.

28.VII.22.

* * *

О, слез невыплаканных яд!
О, тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень
Твоих, Блудница, новых чад,
Рожденных в лютые мгновенья
Твоих утех — и наших мук!
Блажен тебя разящий лук
Господнего святого мщенья!

22.VIII.22.

* * *

Душа навеки лишена
Былых надежд, любви и веры.
Потери нам даны без меры.
Презренье к ближнему — без дна.

И что мне будущее благо
России, Франции! Пускай
Любая буйная ватага
Трамвай захватывает в рай.

25.VIII.22.

* * *

Зарос крапивой и бурьяном
Мой отчий дом. Живи мечтой,
Надеждами, самообманом!
А дни проходят чередой,
Ведут свой круг однообразный,
Не отступая ни на миг
От пожелтевших, пыльных книг
Да от вестей о безобразной,
Несчастной, подлой жизни там,
Где по родным, святым местам,
По ниве тучной и обильной
И по моим былым следам
Чертополох растет могильный.

27.VIII.22.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТРА

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...»

О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
Где Град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?

Хлябь, хаос — царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад —

И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.

И все ж придет, придет пора
И воскресенья и деянья,
Прозрения и покаянья.
Россия! Помни же Петра.
Петр значит Камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: «Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней».

28.I.25.

Стихотворения в СССР никогда не печатались.

14—17 июня в Москве в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоялся Учредительный съезд Всероссийской ассоциации любителей отечественной словесности и культуры «Единение». Расчетный счет Ассоциации «Единение» 606505 в МГУ ЖИЛСОЦБАНКА, код Банка Н 7, для иногородних МФО № 201865.

ВИКТОР КАЛУГИН

ГДЕ ВЫ — ТРЕТЬЯКОВЫ И МАМОНТОВЫ?..

Идея единения уже давно вызрела в сердцах всех тех, кто не боится в наше время называть себя патриотом, кого не запугала, не оглушила невиданная по своим масштабам кампания по дискредитации, шельмованию патриотизма. Ни англичанин, ни американец, ни японец, ни француз не чураются любви к своей Родине, они впитывают ее, что называется, с молоком матери. А вот нас, россиян, пытаются убедить, что это чувство едва ли не животное, кошачье, что его надо вытравлять из себя ради высших общечеловеческих ценностей...

Ведь далеко не случайно даже А. И. Солженицын в письме к Рейгану вынужден оговаривать: «Я вовсе не «националист» — я патриот. Сие означает, что я люблю свою Родину и поэтому хорошо понимаю любовь других людей к их родине». Эту разницу между патриотизмом и национализмом ныне приходится объяснять не только в Америке, но и в самой России. Ведущие средства массовой информации в последние годы, раздувая жупел «Памяти», угрозы «русского фашизма», русского шовинизма, приложили максимум усилий, чтобы поставить знак равенства между патриотизмом и национализмом, чтобы напугать людей, нейтрализовать пробуждающееся национальное самосознание.

Так что и в этот раз нетрудно было заранее предположить, какие отклики появятся в «Советской культуре» или «Известиях», в «Неделе» или «Московских новостях», в «Огоньке» или «Московском комсомольце», какие ярлыки будут пущены в ход, какую очередную провокацию придумает «Взгляд»... Все это стало таким же идеологическим клише, как пресловутые разоблачения «загнивающего Запада», только теперь вместо Запада разоблачается Россия, «лицо ненависти» тех же известных международников-пропагандистов повернуто на 180 градусов внутрь страны. А неизменным осталось одно: та же самая ненависть и тот же самый набор пропагандистских приемов разоблачений, разоблачений, разоблачений и... клеветы.



Фото Юрия САДОВНИКОВА

14 июня в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве собрались те, кого объединяет любовь (а не ненависть!) к нашей общей многонациональной и многострадальной родине — России. Собрались патриоты-чуваши, башкиры, татары, калмыки, чечены, белорусы, украинцы, русские, православные и мусульмане, осознавшие необходимость единения, сохранения России, ее природных, культурных и духовных богатств как нашего общего достояния. Белорусский писатель Эдуард Скобелев сказал об этом, пожалуй, предельно точно: «Русский человек (я бы добавил — российский. — В. К.) — понятие не географическое и не паспортное, а нравственное. Русские люди — это люди разных национальностей, которые добровольно приняли русскую культуру и русскую идею, как наиболее свободное условие развития многонациональной общности, закрепления своей самобытности в рамках новой, соборной государственности».

Конечно, в нашей российской истории как давнего, так и совсем недавнего прошлого (да и настоящего) можно найти немало примеров, нас разъединяющих, способных вызвать вражду, недоверие, напомнить старые и новые обиды. Но вот здесь-то, как мне кажется, и проходит зримая грань между патриотизмом и национализмом, когда вражда к другому народу застилает глаза, когда раны не залечивают, а посыпают солью, когда создается «образ врага». Мы можем, конечно, размежеваться, разбежаться по своим национальным «квартирам», да только все равно останемся здесь, на нашей общей российской земле, нашим детям и внукам жить не на разных планетах, а рядом. Семена раздора, брошенные сейчас, скажутся на их судьбах...

Два дня работы съезда прошли в разговорах о том, что хватит речей и возгласов о спасении России. Пришла пора конкретных действий и дел. Но способны ли мы на них? Этот вопрос звучал во многих выступлениях. «Нам всем очевидно, — заявил Александр Проханов, — что главная беда русского патриотического движения состоит сегодня в отсутствии деятелей. У нас много замечательных художников, витий, духовидцев, пророков. У нас очень мало деятелей. Сегодня мы этих деятелей ищем страстно и жадно, но не находим ни в армии, ни в партии, ни среди русских экономистов. Их нет среди новоявленных общественных организаций. Сейчас такой момент, когда все итоги высказаны, все формулы произнесены, все реалистические варианты провозглашены, или почти все. Настала пора их осуществлять. И здесь мы оказались в трагическом состоянии. Даже неверно понятая, усвоенная идея, ввергнутая в процесс реализации, приведет к результату. Но идея, оставшаяся в воздухе, так и умрет в пустыне жалобных звуков».

Думаю, что Александр Проханов несколько драматизирует наше состояние, действительно, трагическое, но только не в отсутствии деятелей. Они есть — новые Третьяковы и новые Сытины, новые Мамонтовы и новые Морозовы, но вне существующих государственных и общественных структур, вне бюрократического аппарата, десятилетиями воспитанного на так называемом интернационализме, под видом которого проводилась ассимиляция и денационализация всех народов и народностей нашей страны. Быть может, «шоковая терапия» рынка как раз и способна выявить именно таких людей. Если, конечно, понимать под рынком не Рижский рынок, не «базарную экономику», которая приведет лишь к полной свободе разграбления страны и народа, а действительную свободу предпринимательства, независимую от какого-либо ведомственного диктата и национальную (а не интернациональную) по своей сути, каковой является экономика Японии, Англии, Франции, Италии, да и любой другой нормальной страны. Но наши экономисты-академики до сих пор разрабатывают абстрактные экономические модели, лишенные не только человеческого, но и национального фактора.

В любом случае, опасаются многие, коммертизация убьет в первую очередь литературу и искусство, что уже в полной мере испытало на себе наше кино, раньше всех других добившееся свободы творчества и рыночных отношений. «Как известно, у нас пока нет другого мецената, кроме как государства, и думается, что оно должно не просто покровительствовать, а взять под защиту художника», — с этими словами известного живописца С. П. Ткачева трудно согласиться, поскольку за подобное «покровительство» ведь тоже приходилось расплачиваться, но только не рублями, а гораздо большим — свободой. Более полувека существования Союза писателей (да и других творческих союзов) нас «душили в объятиях» этого самого меценатства. Причем, выглядело это весьма своеобразно. Как Союз писателей РСФСР, так и другие республиканские и областные писательские организации России, до сих пор находятся на государственном бюджете. Государство содержит не писателей, а весь аппарат управления литературой, лишая тем самым писателей права распоряжаться по своему усмотрению сотнями миллионов прибыли от их книг. Государству выгодней кормить управленческий аппарат, выступая в роли мецената, чем допустить хоть какую-то материальную независимость, а следовательно — свободу писателей.

Точно в таком же положении находится и вся культура, дающая государству миллионные доходы и получающая крохи, остатки с барского стола. О бедственном, катастрофическом состоянии сельской культуры рассказала на съезде библиотекарь из деревни Лугирино Тверской области Е. Е. Смирнова: «Кучка энтузиастов еще тащат на себе этот воз, тащат эту сельскую культуру, чтобы не дать ей погибнуть, с трудом сопротивляясь натиску массовой культуры, которая проникла к нам на село».

Но ведь культура нерентабельна, даже всемирно знаменитый Большой театр не в состоянии выжить без государственных дотаций, что же говорить о сельских библиотеках и клубах? Все это мы постоянно слышим со страниц печати, как оправдание, как неизбежность, опять же, государственного меценатства, то есть рабства. Ведь рабу тоже кажется, что он пропадет, не сможет жить без хозяйской помощи и поддержки...

Первый шаг (тем более — первый шаг свободы) всегда самый трудный. Тем не менее, уверен, мы сами скоро сможем оказывать помощь государству. Еще два-три года назад тот же Всероссийский фонд культуры выпрашивал копейки у Всесоюзного фонда, а сейчас у него уже около двадцати предприятий. «Мы пришли к выводу, — рассказал председатель Всероссийского фонда культуры Петр Проскурин, — что любой организации сейчас необходимо материализоваться, врастать в производство, торговлю, врастать в экономику».

Неизбежный процесс разгосударствления культуры, конечно же, чреват многими другими опасностями и бедами, которые тоже необходимо предвидеть заранее, чтобы не идти, как наши политики, вслепую, методом тыка — «холодно-горячо». Единение всех творческих сил как раз и может помочь выжить в новых экономических условиях, не отдать культуру на откуп «дикому» рынку, где спрос будет определять предложение в основном на порнуху, чернуху, детективы и фантастику. Все это уже произошло в Польше и Венгрии, а сейчас происходит в Болгарии и ГДР, где деятели культуры оказались не в состоянии противостоять коммертизации. С нами произойдет то же самое, если мы будем только надеяться на помощь государства — мецената или же на доброго дядюшку в лице новых Третьяковых, а не на самих себя. «Спасение утопающих в руках самих утопающих», если только они заранее научатся плавать, а не смирятся с участью утопающего, хватающегося «за соломинку».

Нас, деятелей российской культуры, никто и никогда не спасет, а потому мы можем рассчитывать только на свои возможности, которых, кстати, немало. Об этом, в частности, говорил Владимир Бондаренко: «Что такое областная писательская организация в Оренбурге или Вологде, да это и есть русская артель. И если у нас эти русские артели получат свою экономическую независимость, свои экономические права как юридических лиц и обоснуют, во-первых, книготорговлю, это крайне выгодное дело, но за ним и духовность; во-вторых, все связанное с концертной деятельностью, народными промыслами, то есть станет денежно выгодной организацией, то тогда мы сможем быть денежно независимыми

одновременно и от государства, которое сегодня озабочено скорее тем, чтобы нас разрушить, и от враждебных сил, которые попытаются нас окончательно уничтожить».

В том-то и дело, что русская литература и русское искусство пока еще вполне конкурентоспособны не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Да и работать мы тоже умеем, в чем могла убедиться деловая Европа и деловая Америка на примерах русской эмиграции, русских инженеров и рабочих в шахтах Англии и бельгийского Конго, на заводах Рено. Так что слухи о том, что русские-де не умеют работать, тоже, мягко говоря, преувеличены. Русским не давали и до сих пор не дают работать так, как они могут — в полную силу, чтобы каждый на честно заработанные деньги мог содержать семью и в пять, и в десять детей. А потому каждый работает ровно настолько, сколько ему платят — ни на копейку больше. Вот эту простейшую экономическую закономерность наше горе-экономисты до сих пор не могут учесть, высчитывая прибыль только одной заинтересованной стороны — государства. А подобная система может существовать только в условиях принудительного труда, который и предусматривался как в трудармиях Троцкого, так и в сталинской коллективизации и индустриализации.

«Единственное для себя я вынес с еще большей болью и с еще более неутешительным, а может быть и утешительным чувством, — рассказал Эрнст Сафонов о поездке в США. — Когда я уже летел оттуда над океаном, не покидала одна мысль — дайте народам России возможность работать на себя, для себя, и мы никого не будем догонять и перегонять. Нам не нужно догонять и перегонять Соединенные Штаты. За десять лет мы сделаем свою жизнь не хуже, чем в США. Мы сделаем свою жизнь на своих духовных началах, со своими наполненными полками, даже с меньшей долей химии, не с таким, как сейчас, экологическим безобразием. И эта мысль — не мешайте нам работать, не лезьте, дайте народу жить так, как он хочет — это единственное, что я вынес оттуда». На что, правда, последовала реплика из зала: «Никто не даст, взять надо!»

И действительно, мы все ждем, надеемся, что нам кто-то должен дать, вернуть свободу. А ее не возвращают, ее завоевывают. Я имею в виду, конечно, не революционные завоевания, не новые баррикады, а конкретные действия по завоеванию экономической независимости. Иначе получается, что пока мы собираемся обратиться к бумажникам России: «Пускай они из своих сверхплановых накоплений, пускай они из бумаги, которую производят сверх плана не продают ее втридорога, в пять раз дороже кооператорам, а помогут нам создать бумажный фонд ассоциации «Единение», чтобы мы могли выпускать дешевые книги для ребят, для школы, для других контингентов, особенно для нашего российского села» (Ю. Л. Прокушев). Эта сверхплановая бумага уже давно закуплена кооператорами не втридорога, а в десять раз дороже. В результате государство в три раза поднимает цены на бумагу, а значит в три раза поднимутся цены на подписку, на книги.

Русский предприниматель Сытин еще в прошлом веке догадался, что миллионы можно зарабатывать на копейках, книги его «Посредника» стоили 80 копеек за сотню. Так он выигрывал конкуренцию: не повышением, а понижением цены. Зато его дешевые книги расходились в народе миллионными тиражами, а дорогие — оставались уделом избранных. Все эти законы рыночной экономики прекрасно усвоили и применяли русские предприниматели, отличавшие торговлю от мародерства. Сейчас же наш так называемый рынок начинается именно с мародерства, со стремления выжать из покупателя как можно больше, продать как можно дороже, а там — хоть трава не расти. И она, эта «трава» действительно не вырастет: все выпотчут и все уничтожат новоявленные советские капиталисты, лишенные чувства родины, чувства земли, заставляющего думать и заботиться о дне завтрашнем, о своем добром имени, о детях и внуках.

В этом отношении ситуация оказалась весьма парадоксальной. И старая командно-административная система явно доказала свою нежизнеспособность, историческую обреченность, и новая, нарождающаяся на наших глазах, не сулит никаких надежд.

Где же выход? Или положение вообще безнадежно?..

А выход есть. Выход в том, чтобы, как справедливо отметил Дмитрий Балашов, не отдать, а вернуть отнятую землю их подлинным хозяевам — крестьянам, вернуть все имущество церкви и оплатить стоимость того, что было награблено. Никакие другие варианты не дадут результата без этого первого шага. Все остальное сделает сам крестьянин, сам предприниматель, если им не мешать.

Точно так же и в культуре необходимо прежде всего разгосударствление, освобождение, но только, опять же, с землей, возвращение творцам присваиваемой государством прибыли и прибавочной стоимости за их творения. Ведь писатели, например, до сих пор получают не заработанные деньги, а так называемое «авторское вознаграждение». Более того, даже на это «вознаграждение» в 1990 году введены шестидесятипроцентные налоги.

А все это свидетельствует лишь о том, что командно-административная система не собирается сдаваться на милость победителя. Она и в условиях рынка хочет оставить за собой экономические рычаги управления. В данном случае — управления культурой и литературой, а значит — сознанием, духовным миром человека.

Все это тоже прозвучало на съезде, но не в возгласах отчаяния. Скорее, наоборот — решимости бороться за отечественную культуру. «Кажется, чаша наших бед, нестроений, заблуждений выпита до дна. Значит, сейчас наступает время воскресения», — сказал известный священник Дмитрий Дудко, добавив: «Мы в настоящее время становимся сильными, как никогда, несмотря на нашу разруху, наши тупики. Это, конечно, не значит, что надо нам благодушествовать. Вот для чего мы сейчас собрались, чтобы осуществить наше единение, наше возрождение».

Съезд наметил также пути и возможности вполне конкретных действий. Поступившие более чем двести предложений и станут основой деятельности новой общественной организации. Среди таких предложений: объединить все выходящие в России патриотические (а не антипатриотические, которые уже давно объединились) издания, каковых уже немало: новгородское «Вече», «Литературный Иркутск», «Тюмень литературная», «Донское слово», «Уральская новь», барнаульская «Прямая речь», ленинградская «Возрождение России», которые как отдельные ручейки и сольются в единую реку независимой российской народной прессы. Независимой, прежде всего, от средств массовой информации, ставших средствами массовой дезинформации, средствами владения и управления умами миллионов. Народная российская пресса может стать именно и н а к о м ы с л я щ е й по отношению как к партийным изданиям (вне зависимости от названия партий), так и клановым (тоже вне зависимости от названий кланов). Народная пресса должна выражать и отстаивать интересы только народа.

Сергей Бондарчук, со своей стороны, внес предложение по реализации программы создания документальных и художественных фильмов по истории Государства Российского. Главный редактор Всесоюзного объединения «Видеофильм» Дмитрий Меркулов предложил творческой интеллигенции России новое поле деятельности — создание видеофильмов. Уже сейчас в стране действует более миллиона видеоустановок, насыщенных видеопиратскими кассетами из-за рубежа. Вот где сейчас может идти борьба за умы и души молодежи, если, конечно, предложить видеофильмы, способные захватить их умы и души. Не очередную порнуху, а, к примеру, целую серию исторических фильмов-боевиков. Один «Князь Серебряный» Алексея Толстого — это уже готовый сериал русского вестерна.

Издательская деятельность «Единения», художественные выставки «Единения», фильмы «Единения», просветительская и благотворительная деятельность «Единения» — все это ждет деловых людей и деловых идей. Ассоциация создана, теперь необходимо от слов переходить к делу. К делу спасения и возрождения великого наследия прошлого.

МИХАИЛ НАЗАРОВ

О РАДИОГОЛОСАХ, ЭМИГРАЦИИ И РОССИИ

Нам пора признать, что во всех самых тяжких испытаниях двадцатого века, во времена наших поражений и наших побед, увы, часто оборачивающихся поражениями тоже, у нас не было и нет более надежных друзей, более надежных союзников, чем наша родная и нами нелюбимая русская эмиграция послереволюционных и послевоенных лет. Как бы ни относились они к нашим правителям, они всегда были верны России.

Пожалуй, единственная страна, которая не использовала себе на пользу свою диаспору во всем мире — это Россия. Мы и сегодня, приветствуя все начинания проамериканских русскоязычных изданий, отворачиваемся от организаций патриотических, пусть не таких экономически мощных, как издания, содержащиеся американским конгрессом, но — всегда защищающих интересы России, русской культуры. У всех на слуху — радио «Свобода», журналы «Континент», «Синтаксис», газеты «Русская мысль», «Новое русское слово», но мы до сих пор не знаем, что такое «Новый журнал», «Вестник РХД», «Вече», «Наша страна». А ведь это в «Новом журнале», руководимом прекрасным писателем Романом Гулем, началась борьба с русофобией, завезенной в эмиграцию нашей третьей, русскоязычной волной выходцев из России. Старые эмигранты могли проклинать Советскую власть, Сталина, Брежнева, но они с благоговением произносили слово — «Россия». Читателям интересно было бы познакомиться с откликом Романа Гуля на одно из первых русофобских произведений Аркадия Белинкова. Точно также и Роман Гуль, и Зинаида Шаховская, и Сергей Оболенский, да собственно все русские эмигранты — отнеслись к антипушкинскому пасквилю А. Синявского в «Вестнике Русского Христианского Движения», в изданиях НТС — «Посеве» и «Гранях», в «Часовом», во многих других наиболее уважаемых эмигрантских изданиях — началась полемика с русофобскими газетами и журналами. Наиболее четкую патриотическую позицию занимает журнал «Вече», руководимый известным публицистом Олегом Красовским. Это в журнале «Вече» была впервые опубликована «Русофобия» И. Шафаревича, там же не побоялись и вступиться за честь поносимого и денно и нощно во всей русскоязычной советской и эмигрантской прессе нашего великого гражданина, большого ученого, человека редкого мужества Игоря Ростиславовича Шафаревича. Журнал «Вече» опубликовал много публицистических произведений Александра Солженицына, но он же — не побоялся высказать свое мнение о нынешнем, увы, уже длительном публицистическом молчании Солженицына.

В журналах и газетах патриотической ориентации — нет и тени шовинизма, в понятие — «русскоязычная литература» — они не вносят генетические признаки человека. Все определяется отношением к России и русской культуре. Но — примиряться с людьми, ненавидящими и презирающими Отечество, работающими на его разрушение — они никогда не будут. Они лишь пытаются их образумить. Это в «Вестнике РХД» были напечатаны призывные слова Александра Солженицына — одна из его последних публицистических работ «Наши плюралисты» (1983 г.). Предлагаем читателям статью известного публициста Михаила Назарова, живущего ныне в Мюнхене. Впервые она была опубликована в журнале «Вече» (№37, 1990 г.). Мы перепечатываем ее с авторскими добавлениями и послесловием, сделанным специально для журнала «Слово».

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

В «Литературной России» (20.10.89 г.) было опубликовано мое открытое письмо директору Радио Свобода. Пришедшие из Москвы отклики отметили: «Впервые в советской прессе появилась критика русофобского радио с антикоммунистических позиций».

Но, разумеется, для эмиграции ничего нового в содержании моего письма не было. Эта тема в русском зарубежье затрагивалась не раз. Вероятно, поэтому пришлось услышать не только ожидавшуюся реакцию противников, но и неожиданную критику некоторых друзей: первым не понравилось содержание, вторым — форма, т. е. допустимость самой публикации в советской газете. По предложению журнала «Вече», попробую проанализировать обе темы, тем более, что связь между ними — между политикой русскоязычного радиовещания и проблемой сотрудничества эмиграции с единомышленниками в стране — и в самом деле существует.

I. НУЖНО ЛИ РОССИИ РАДИО «СВОБОДА»?

В своем письме директору РС (в дальнейшем не путать с директором русскоязычной службы РС) я обратил его внимание на усиление опасной тенденции в передачах: поощрение враждебности к русским, которое «начинается уже с трактовки понятия «русификация»:... она рассматривается лишь в национальном, но не в идеологическом аспекте», «...безответственно сеется межнациональная рознь, которая сегодня... мешает осознанию

идеологических причин трагедии и масштабов ее преодоления, мешает политическому объединению усилий всех народов, ибо контрпродуктивно создает образ русских как народа-угнетателя: этим вызывает ответное озлобление русского народа, без политического и духовного возрождения которого мирное решение национальных проблем в СССР невозможно».

Русскоязычная служба РС все больше поддерживает националистические движения в окраинных республиках и космополитическое крыло у русских — при отождествлении русского патриотизма с шовинизмом. Например (в скобках даты передач), писателям-почвенникам указывается на то, что их страна — «вовсе не Россия. Эта страна называется Союз Советских Социалистических Республик... половина населения этой страны нерусские, и говорить о патриотизме русском в такой стране просто бессовестно, безнравственно» (12/13.1.88). Директор русскоязычной службы В. Матусевич практикует личные оскорбления: Василий Белов «лжет постоянно, настойчиво, расчетливо» (12.3.89); Валентин Распутин назван «аморальным, безнравственным и бесчестным» (26.8.87) и «просто взбесившимся» (21.2.89). В программе «Русская идея» говорится об опасности, грозящей миру от «православного фашизма» (17/18.12.88), множатся призывы к «мутации русского духа» от православия к «новому типу морали... на твердой почве просвещенного эгоистического интереса» (7/8.3.89).

Приведя эти и другие примеры, я задал вопросы:

1. Не нарушается ли этим Профессиональный кодекс РС? Например, такие его положения:

«Нельзя приписывать русским то, за что нужно винить коммунистические режимы, и нельзя смешивать понятия «советы» и «коммунисты» с историческими названиями народов».

«РСЕ/РС не поддерживает и не поощряет сепаратистских движений. ...избегает всего, что может быть расценено как поощрение культурной или национальной враждебности против других национальных или культурных групп». РСЕ/РС «не принимает сторону какого-либо определенного политического, экономического или религиозного направления... не отождествляет себя ни с какими оппозиционными группами».

2. Чем объяснить усиление антирусской тенденции: политикой США или инициативой сотрудников РС, выражающих свое личное отношение к России?

С одной стороны, «радиовещание — важный инструмент американской политики», — признал Джимми Картер. Политика РСЕ/РС «не противоречит общей внешнеполитической концепции США», — говорится в Профессиональном кодексе. Радиостанция «финансируется конгрессом США», — объявляется каждый день в эфире.

С другой стороны, всем ли американцам нравится отождествление своей демократии со «свободой секса», с «отказом от старого культурного багажа, чтобы не сказать хлама»; «будущее принадлежит людям, забывшим о своем происхождении, ...кто не отяготил себя старыми европейскими ценностями и идеалами» (22.2.89)? Или же такую демократию сотрудники РС предлагают только русским? Повторю фразу из своего письма: «Если именно в этом направлении они намерены вести «мутацию русского духа», то отличие от «прогрессивных» представлений XIX века (а в какой-то мере и от неосуществленных идеалов «Коммунистического манифеста») здесь не слишком велико...»

3. В любом случае: не вредит ли это отношениям между русским и американским народами, а также подлинным национальным интересам США, поскольку большая часть американцев — христиане?

«От этого зависит не только отношение центрального народа России к Америке... Нельзя не видеть, что Россия в своей катастрофе осуществила один из вариантов судьбы всего мира — продемонстрировав «малый апокалипсис» (Бердяев) в истории духовной болезни человечества, длящейся несколько веков. Непонимание общечеловеческого смысла этого опыта может привести к завершению той же болезни в ином виде — в апокалипсисе большом... Хочется надеяться, что совесть американских христиан не останется спокойна при виде разительного несоответствия подобного отношения к попавшему в беду русскому народу — моральным принципам христианской цивилизации».

Эти вопросы волнуют многих. Вот примеры за последний год. Было обращение в конгресс США шести независимых деятелей из Москвы (свящ. А. Аверьянов, свящ. Д. Дудко, В. Аксючиц, Г. Анищенко, В. Сендеров, В. Тростников) — см. «Посев» № 9 и «Русскую мысль» от 28.7.89 (там стоит и подпись Ф. Светова). Был протест из Оптиной пустыни. Отказался от сотрудничества с радиостанцией А. И. Солженицын. Попросил не использовать его прежние радиозаписи священник Русской зарубежной Церкви о. Николай Артемов. Православные 1270 приходов Львовско-Дрогобычской епархии в «Московском церковном вестнике» (№ 16, 1989) пишут, что «пропагандисты унии с помощью радиостанции «Свобода» публично хулят нашу Русскую Православную Церковь». Негативных оценок РС много и в непочвеннических изданиях, например, «Молодежь Эстонии» (25.1.90) резко упрекает РС в «разжигании националистических страстей» в Закавказье, в стремлении «обратить прицельный огонь против Москвы». Даже в «Новом русском слове» (17—24.11.89) Д. Штурман поддержала обращение шестерых мосвичей. На самом РС в 1989 г. был случай, что диктор отказался читать в эфир текст, оскорбляющий Русскую Церковь, а один из ответственных сотрудников, Н. Петров, подтвердил в отчетном докладе, что антирусские тенденции на РС наносят вред престижу Америки.

Но вашингтонская администрация молчит и бездействует. Мне ничего не остается, как искать ответы на свои вопросы самому. Начну с аргументов, которыми объекты критики пытаются аннулировать проблему.

— «Письмо Назарова антисемитское и опубликовано в нацистской газете: такую критику следует игнорировать» (Л. Ройтман и др. на совещаниях РС):

На этот «аргумент» можно было бы не обращать внимания: он не имеет отношения к содержанию письма. В моем письме речь шла о взаимоотношениях русского и американского народов, а не о еврейском. Это не моя проблема, что цитированные мною высказывания звучат из уст сотрудников еврейского происхождения. Это проблема радиостанции, что у нее такие сотрудники. Но поскольку этот аргумент выдвинут главным, видимо, без рассмотрения этой проблемы не обойтись.

Прежде всего это дает еще одну иллюстрацию зачисления почвенников в экстремисты от бессилия возражать по существу. Обвинения в «антисемитизме» — давний прием на РС для дискредитации оппонентов как в эфире, так и в Вашингтоне. Так, в программе «Поверх барьеров» Б. Хазанов и Б. Сарнов полчаса доказывали «антисемитизм» у Солженицына (20.8.89). А в вашингтонском русле борьбы против солженицынских идей Л. Ройтман обнаружил «антисемитизм» даже у автора-еврея и «Докладной запиской» призвал конгрессменов принять «соответствующие меры» против «расистского, биологического отношения к евреям, которое в этой стране, Западной Германии, запрещено законом» («Литературный курьер», № 11, 1985, США).

В цивилизованных странах законы призваны оберегать достоинство людей любой национальности. Но для обвинения требуются доказательства. Бездоказательное использование порочащих обвинений — тоже нарушение закона. Помнится, сотрудница РС Р. Федосеева возбудила дело против своих коллег, обвинив их в антисемитизме, но суд отклонил иск как необоснованный, возложив на нее судебные издержки («Голос Зарубежья» № 9, 1978). А штраф, наложенный на газету «Франкфуртер рундшау» за подобное обвинение против издателя журнала «Вече» (РНО в ФРГ) — показывает, что уважение закона могут требовать и «обвиняемые» (см. «Вече» № 32, с. 215).

Что же касается использования такого критерия в радиовещании, то вот что об этом пишут умные евреи: «...надо помнить, что еврейский вопрос — не единственный и не главный в жизни других народов, особенно в жизни современной России, ...нельзя по всякому поводу и без повода во всю бухать в колокола „борьбы с антисемитизмом"» («Литературный курьер» № 11, 1985).

В том же журнале на эту тему высказался Н. Коржавин: «...меня возмущает и оскорбляет поведение этих людей», поскольку их цель — «мешать проникновению в эфир взглядов, противоположных своим, ...под видом борьбы с антисемитизмом»; «...особенно меня не устраивает, когда такие попытки предпринимаются как бы от имени и во имя еврейского народа, из которого как-никак я тоже происхожу. Все равно, почему это делается — из близорукости, темных расчетов или маниакальности».

Думаю, что независимо от причин, это делает большинство сотрудников «русской службы» РС профессионально непригодными для столь ответственной работы. Их «анти-антисемитизм» приводит к противоположному результату, поскольку по их поведению кто-то судит обо всех евреях. Поэтому, используя еще одну цитату из «Докладной записки» Л. Ройтмана, я бы советовал конгрессу и еврейской общественности в США подумать, «предназначены ли ассигнования, получаемые РСЕ/РС, для передач такого рода».

Основной порок анти-антисемитов — бездуховность. А еврейская проблема именно духовная, в ней религиозная «ось мировой истории» (Соловьев, Бердяев). Евреи действительно богоизбранный народ — избранный для воплощения Сына Божия, и в малой своей части он осуществил это призвание для всех людей. Однако в большинстве своем не понял его смысла, отверг Христа — отсюда все беды еврейства, его неприкаянность в истории (см. Втор. XXVIII, 64—65; Рим. XI), «„нерастворимость" еврейского народа в диаспоре и драматизм его внешней ассимиляции для окружающей его среды» (отклик Р. Гальцевой на доклад Н. Струве, «Новый мир» № 11, 1989).

Эта несовместимость с христианским миром проявляется у разных частей еврейства в разных формах. В частности, оно активнее других втянуто в общечеловеческий секулярно-космополитический процесс: в этом суть несчастного, беспокойного, не понимающего свою беду «малого народа», описанного И. Шафаревичем в «Русофобии» (жаль только, что это сделано без религиозного фона проблемы и без подразделения еврейства на различные типы). Учитывая, что это лишь один из типов, не будет обидным для всех евреев сформулировать обсуждаемую проблему так: «Радио Свобода — малого народа».

Конечно, убеждения таких сотрудников — их личное дело. Но когда они выдвигают их в виде критерия судеб России — вряд ли с этим можно примириться. Именно это вызывало протесты иерархов Русской зарубежной Церкви, в частности, в связи с оскорбительными для христиан радиопередачами. Именно об этих людях архиепископ Женевский и Западноевропейский Антоний писал в 1981 г. президенту США Рейгану: «Во всех национальных редакциях РСЕ/РС работают представители того народа, которому предназначаются радиопередачи: в польской — поляки, в болгарской — болгары, в эстонской — эстонцы... Почему только в единственной русской на 23 пишущих приходится всего 4 или 5 русских? Почему русское радиовещание перестало быть диалогом русских и превратилось в монолог «третьей волны»?» В том же году епископ (тогда Мюнхенский и Южногерманский) Марк обращал внимание руководства РС на то, что допускаемые по радио кощунства и бестактности провоцируют антисемитизм. Но «малый народ» считает антисемитами всех, кто не разделяет его понимания как русскости, так и еврейства.

Показательно, что в 1985 г. именно эти сотрудники встретили в штыки проект создания в рамках РСЕ/РС еврейской радиостанции «Маккоби», которая занималась бы проблемами евреев в СССР. Это «позволило бы решить проблему к удовлетворению обеих сторон и снять тему антисемитизма с повестки дня», — поддержала решение еврейская газета («Allgemeine Judische Wochenzeitung», 29.3.1985): «Русские обращались бы к своим единомышленникам в России, евреи — к своим». Однако сотрудники РС, видимо, и этот проект сочли «антисемитским» и, за незнанием еврейской культуры, отстояли свое право подгонять «русскую службу» под свой уровень русскости... Думается, если бы на РС работали Мартин Бубер и Семен Франк — подобных проблем не возникало бы.

Для осознания своего облика сегодняшним сотрудникам РС следует прочесть хотя бы работы основоположников сионизма (Герцль, Жаботинский, Нордау, Ахад-ха-Ам, Гордон). Они ощущали неизбывность еврейского вопроса в диаспоре — почему и видели выход в собирании евреев в отдельном государстве (как это осуществляется — другой разговор). В историософском плане о еврейском вопросе написано много серьезных работ как русскими (Бердяев, о. Сергий Булгаков), так и еврейскими мыслителями (Мартин Бубер, Кук). Но «анти-антисемиты» не способны говорить о своем народе в категориях, достойных его величия. Вряд ли они и в богоизбранность евреев верят, поскольку не верят в Бога, поэтому их взору недоступно ни призвание еврейского народа, ни его историческая драма. Поэтому и «отпор антисемитизму» в программах РС идет на примитивно-навязчивом, никого не убеждающем, уровне*.

То же касается их борьбы против экстремизма в целом. Преувеличивая влияние незначительных группировок экстремистов и озлобляя их — РС лишь поощряет экстремизм. Главная причина та же: неверующему трудно понять природу зла в человеческой душе. Надо отделять зло, то есть грех — от грешника. Человек создан по образу и подобию Божию — поэтому надо стараться его переубедить, а не осыпать ругательстаами. Для христианина водораздел проходит не между людьми, а между злом и добром в душе каждого. И эта линия может меняться в течение жизни.

Поэтому неважно, в частности, что́ тот или иной человек писал в прошлом — например, тот же глава русскоязычной службы РС, будучи советским журналистом. Но и он должен понимать, что неэтично бороться против почвеннических взглядов писателя, напирая на грех его молодости (участие в осуждении Пастернака), если он сам, В. Матусевич, в те годы утверждал такой критерий искусства: «хранить в чистоте бессмертные идеи коммунизма и бороться за них» («Комсомольская правда» 7.3.1957)... Тот писатель в своей книге счел необходимым покаяться в «коллаборационизме» с «антинародной властью». Можно узнать, где выразил что-либо подобное В. Матусевич?

— «Однако, РС передает и русские, православные материалы».

В своем письме я отметил, что эта критика не касается «коротких религиозных программ» и «многих правдивых материалов — плодов труда многих порядочных людей». Работу их можно приветствовать, но они не имеют возможности вступать в полемику с описанной главной тенденцией и противодействовать ей. Тем более нет этой возможности у внештатных авторов, как, скажем, у о. Николая Артемова, чьи передачи, записанные 6—7 лет назад, идут в эфир до сих пор. Русским программам в «русской службе» РС дается лишь возможность пассивного присутствия, символической демонстрации плюрализма, в стороне от активной политической линии РС.

— «Причины для критики РС существуют, но мы постараемся исправить положение», — обещал директор РС Иян Эллиот во время встречи с Глебом Анищенко и мной в ноябре 1989 г. То же самое он обещал в Москве другим авторам упомянутого письма шести.

Еще в июле г-н Эллиот не был согласен с моими «необоснованными утверждениями» («allegations»), что я узнал из полученной при встрече копии его ответа

* В нескольких абзацах трудно изложить свою точку зрения на еврейский вопрос. Отсылаю заинтересованных к книге «Русские и евреи в драме истории» (готовится к публикации), в которой я стваракось понять историософский масштаб этой духовно-религиозной проблемы. Для уяснения взглядов сионистов рекомендую книгу Шломо Авинери «Основные направления в еврейской политической мысли» (Библиотекв-Алия, 1983, Израиль).

(который до меня почему-то не дошел). С ростом критики он отнесся к делу серьезнее: пообещал наказывать нарушителей Профессионального кодекса и начать новую почвенническую программу с возможностью полемики. Нет оснований не верить в искренность его намерений. Но тогда приходится сделать вывод, что реальных инструментов власти у г-на Эллиота тоже нет, ибо с тех пор ничего не изменилось. Ниже примеры из эфира уже после написания моего письма.

Матусевич по-прежнему подверстывает: «российские патриоты, то есть почвенники и сталинисты, национал-радикалы и национал-большевики» (14.10.89). Сохраняет все тот же уровень полемики, давая отпор «смрадным черносотенным изданиям; воинствующему шовинизму, народоненавистническому подстрекательству... российских патриотических, в кавычках, изданий» (17.10.89) — не утруждая себя ни малейшими доказательствами этих характеристик, как и «мракобесия распутиных и куняевых» (12.10.89).

В Малинкович пускает в эфир статью, в которой утверждается наличие «стремительной консолидации на единой платформе» «консервативного национализма (Шафаревич, Распутин, Белов и пр.) и сталинистско-охранительного национал-коммунизма» (3.11.89).

Передается интервью корреспондента «Вашингтон пост»: «Русские писатели открыто поддерживают идеи шовинизма и русского превосходства, и конечно, антисемитизма» (19.1.90).

О том, как РС «не принимает сторону той или иной группировки», свидетельствует взятое В. Матусевичем интервью у В. Коротича: «...за мной стоят два миллиона моих избирателей. За Распутиным стоит двести с чем-то членов пленума Союза писателей, выбиравших его» (30.10.89).

Наглядное разоблачение своих целей Матусевич дает, цитируя Горбачева: «В последнее время порой приходится слышать суждения, будто прошлые деформации и нынешние трудности страны исходят прежде всего от России, которая при этом отождествляется с центром. Скажем прямо, подобные суждения противоречат и правде истории и простой человеческой объективности» (12.12.89). Эта цитата приводится лишь затем, чтобы ее оспорить и «партаппаратчиков консервативно-охранительного толка» снова представить в виде «воинствующих русских националистов». Матусевич сознательно обрывает цитату в том месте, где даже Горбачев признает вину системы: «Не русские, как и представители какой-либо другой национальности, виноваты в наших бедах,... а сталинщина, командно-административная система, тяжесть которой испытали на себе все народы».

Такая борьба РС за «национальное возрождение» малых народов, при отрицании того же права у народа большого — лишний раз доказывает, что ее ведущие не чувствуют духовную ценность нации как таковой. Национальные проблемы интересуют их как точка приложения сил для своих политических целей: расчленения и космополитизации России. Неудивительно, что русскоязычная служба РС охотно поддерживала Нагорный Карабах, пока это был первый прецедент для изменения границ в СССР; с появлением же антирусского Народного фронта Азербайджана симпатии — несмотря на зверские погромы армян — переместились на азербайджанскую сторону.

Заходит речь о расчленении не только СССР, но и РСФСР. В предвыборной платформе российских общественно-патриотических движений Ф. Салказанову (26.1.90) возмущает сама возможность сохранения многонациональной России, которая будет распространять свой суверенитет «на все исконно принадлежащие ее многочисленным народам земли». Может быть, лучше оставить этот вопрос на усмотрение самих народов?

Программа «Судьбы Сибири» нацеливается уже на разделение русской земли, поощряя «сибирскую автономию» как вид «деколонизации» (!). Играя на неблагополучии в стране и наивности неформалов, РС провоцирует отталкивание от «центра», который «эксплуатирует Сибирь». Сепаратизм в годы Гражданской войны приводится как пример, достойный подражания, причем замалчиваются его подлинные причины: отталкивание от террора большевиков, а не от России* (2.12.89). Даже в тексте, поданном как «Доводы против», лишь отмечалась неподготовленность для этого Сибири — в отличие от Прибалтики.

В области «мутации русского духа» (программа «Русская идея») Парамонов выдвигает упрек религиозным философам (о. Павлу Флоренскому, о. Сергию Булгакову, Бердяеву), что ими «не была понята» «толстовская антицерковность», «толстовская протестантская революция», создающая «новый тип русского человека». Призывая Россию вернуться на эту стезю, Парамонов прямо формулирует задачу: нужно «русского человека выбить из традиции» (3.12.89).

На религиозных мыслителей возлагается и ответственность за революцию: Парамонов выводит ее «из русской и только русской традиции... но с одной непременной корректировкой. Традицию нужно вести не столько от темного русского мужика, сколько от высокопросвещенных философов и поэтов...»; «Минводхоз, успешно губящий родную землю, тоже вышел оттуда же: из высокоумных построений Соловьева и Бердяева»; «...в конечном счете в бедах революции оказывается виновной не культура, а все-таки почва, таких, а не других гениев вырастившая. Их голосом говорила какая-то надчеловеческая стихия, и стихия в данном случае русская» (10/11.12.89).

Позволительно спросить: а где же в это время были марксизм и революционеры? Лишь вынося за скобки основной водораздел эпохи — отношение к абсолютным духовным ценностям — Парамонову удается заключить, что в революции сказался именно «русский соблазн», «родовой соблазн». Религиозная координата православных мыслителей Парамонова не интересует: поэтому у него «русская идея — миф, иллюзия» (2/3.3.90), а славянофилы создали лишь «утопию»**. Зато когда говорится о фанатизме левой интеллигенции, он называет это «религиозным пылом» (4/5.7.89), — об этом я уже писал в «Литературной России», отмечая: «Нравственный максимализм русской интеллигенции, переродившись в фанатизм, конечно, стал катализатором разрушительных марксистских идей, но ведь именно в силу его безрелигиозности (см. «Вехи»)...»

* Вот цитвта из послания временного Сибирского правительства Совету Народных Комиссаров (10.6.1918 г.): «Власть большевиков в Сибири уничтожена... Временное Сибирское правительство не стремится к отделению Сибири от России, оно думает и печвлится о тяжелом положении общей родины России. ...мы, уполномоченные временного правительства, готовы обеспечить скорейшую и непрерывную отправку продовольствия в голодающие губернии России и вступить в переговоры относительно условий снабжения Великороссии, которую временное Сибирское правительство считает неразрывно и кровно связанной с Сибирью» (Цит. по: «Декреты Советской власти», т. II, М. 1959, с. 409).

** Хотелось бы все же знать, где Б. Парамонов выражается искренне: поступив работать на РС — или в «Гранях» № 135, где при всем своем скептицизме он в 1985 г. писал:

«...русский марксизм» — «русский в смысле местопребыввния и никаком ином» (с. 220). «Большевизм паразитирует на русском теле» (с. 227). «Славянофильство может мыслиться не только как реминисценция, но и как программа постольку, поскольку человечеству, и России в том числе, суждено вернуться, во всех измерениях культурно-исторической жизни, к источникам бытия, создать новый религиозно-культурный синтез, восстановить связь с Богом» (с. 257).

Там же он судил о протестантстве как о религии «моралистически-рвзжиженной» (с. 248). А в связи с нынешними его рвссуждениями об «антисемитизме Шафаревича» можно привести пврамоновские слова о состоянии еврейства как «рвспада и разрыва с первоначальной целостностью бытия», который «особенно подчеркнут, повышенно экспрессивен (диаспора)» (с. 256).

Чем объяснить происшедшую смену взглядов? Когда В. Распутин сопротивляется «мутации русского духа», Парамонов находит у него «психологню слуги... если не Смердякова, то чеховского Фирса» (9 и 11/12.2.90). Но Распутин и до «перестройки» мужественно отстаивал те же взгляды. Так что брошенное ему оскорбление, пожалуй, бумерангом возвращается к сотруднику «русской службы» РС...

Истинный критерий русскости узнаем от А. Пятигорского: «Настоящие русские интеллигенты в 20-е называли себя интернационалистами, а в 40-е их называли космополитами». (20.1.89). По этой логике, в 80-е и 90-е годы «настоящими русскими интеллигентами» следует, видимо, считать парамоновских «мутантов». Вот их автопортреты (из восходящих в СССР радиозвезд цитирую двух, заслуживших наибольшую похвалу в программе «Аспекты» И. Каневской):

Д. Волчек: «мне ненавистны» нравственные функции литературы (24.1.90). А что касается «сексуальной эмансипации»: «стремление сорвать с себя ненавистную казарменную униформу и попрыгать в чем мать родила — вполне оправданно и заслуживает всяческого сочувствия» (27.10.89).

Т. Щербина: «однопартийная система, она же партия, она же монархия, а в условиях XX века — тоталитаризм, имеют одно вот это общее — имперское устройство. Вероятно, в России иное устройство и невозможно: здесь всегда на костях да на крови, а добром российский народ не умеет». Поэтому «демократы-антисталинисты-западники ведут традиционный психологический спор с партийными-монархистами-славяно-центристами» (27.10.89).

*

...Такова сегодня «русская служба» Радио Свобода, финансируемая американскими налогоплательщиками. Конечно, это дело американцев, как тратить свои деньги. Никто не протестовал бы, если бы США финансировали только беседы Щербины и Каневской о лучшем качестве западного собачьего дерьма и размышления Матусевича о презервативах (3/4.2.90), пошлую саморекламу Савицкого, псевдоинтеллектуальную тягомотину Померанцева и восторженную пустоту «Инны Светловой»... Но ведь, помимо этого, они пытаются диктовать и судьбы России, ведя ее к повторению хаоса 1917 года. Не символично ли, что позывные РС — гимн, написанный в период бездарного Временного правительства, шедшего на любые жертвы ради услужения Западу?

На этом фоне вопросы о возможности перемен политики РС звучат, конечно, риторически. Может ли «русская служба» быть иной, если национальным вопросом в СССР там руководит редактор украинского сепаратистского журнала? Если ее нынешний глава в конце 1970-х годов уже удалялся с аналогичного поста, после обвинений* в богохульстве и в фальсификации документа, — но в 1987 г. возвращен с еще большими полномочиями? Если его кредо: передачи РС «ведутся не для русского народа, а для советского — на русском языке» (совещание на РС от 29.8.1975), против чего протестовал даже Собор Русской зарубежной Церкви в письме президенту США Картеру. В начале 1980-х годов не раз на эту тему высказывался и А. Солженицын (Собр. соч., т. 10 с. 403-434, Париж, ИМКА-Пресс). Но с тех пор положение еще более ухудшилось.

«Подобного рода передачи являются логическим плодом того, что... на ключевых постах стоят люди не русского происхождения, не православные, советского воспитания: без должного знания русской истории, культуры, атеисты и зачастую русофобы», — заключал в 1979 г. епископ (тогда Штуттгартский и Южногерманский) Павел в письме президенту РСЕ/РС.

Но почему же американская администрация, выслушивая столько лет критику, ничего не меняет? Одни объясняют это «крайним недомыслием» американцев и надеются раскрыть им глаза. Другие видят причину в мафиозном влиянии на самых верхах, приводя пример (1989 г.), как важный чин радиостанции может по звонку некоего деятеля срочно лететь к нему, в третью страну, с извинениями за промашку в освещении политики то ли израильтян, то ли палестинцев... Третьи усматривают здесь сознательно антирусскую политику своих США — основания для этого дает, например, З. Бжезинский, упорно твердящий о «русском господстве» («Родина» № 10, 1989) и прямо признающий, что нарастающий хаос в СССР в интересах Запада («Русская мысль», 16.2.90).

Думаю, объяснение следует искать на двух уровнях: исходя из места РСЕ/РС в американской политике и из нравственного уровня самой политики.

Уже факт финансирования сразу двух радиорупоров — «Голоса Америки» и РСЕ/РС — свидетельствует о том, что второму придаются иные функции, выполнимые лишь под эгидой «независимой радиостанции», не отождествляемой с открытой политикой правительства США, даже если эту станцию снабдить благозвучным Профессиональным кодексом. Правда, РС было создано в 1953 г. как антикоммунистическая станция, там работало много русских патриотов, сделавших немало полезного для отечества. Лишь по мере укоренения в ней «третьей эмиграции» — радиостанция из «подрывной» антикоммунистической выродилась в антирусскую. Но так же, как стратегическим целям США раньше не противоречил русский патриотизм, направленный против идеологии монолитного режима, так и сегодня этим целям не противоречит русофобия, разъедающая трещины былого монолита.

То есть, фраза Профессионального кодекса, что деятельность РСЕ/РС «не противоречит общей внешнеполитической концепции США» — допускает наполнение передач РС разным содержанием. Но цель их одна: ослабление политического соперника, ибо Радио Свобода изначально мыслилось как деструктивный инструмент, а не как конструктивный (какие у каждого государства тоже есть). Этот первородный грех РС и обнажился особенно наглядно сегодня, когда Россия начала поворот к традиционным ценностям и нуждается в помощи, а радиоинструментом овладели антирусские силы, использующие его в своих целях разрушения.

В допущении такого использования РС (что настраивает русских враждебно к Америке) — можно видеть «крайнее недомыслие» американцев. Но беда в том, что это «недомыслие» тоже не противоречит внешнеполитической концепции США. И дело не только в примитивной советологии. Это «недомыслие» неисправимо, оно коренится в эгоизме человека. Скажем, против отождествления русского народа и режима можно протестовать и кого-то даже выслушают, — однако, не надо питать иллюзий: для правительства США это удобный прагматический облик потенциального врага. Объяснять своим солдатам, что во вражеском стане, помимо коммунистов, есть измученный христианский народ — создает для них излишнюю психологическую нагрузку.

Раньше этот цельный облик врага был нужен для мобилизации общественного мнения против коммунистической угрозы; сейчас, в эпоху краха коммунизма, это скорее нужно для оправдания инстинктивного соблазна покончить заодно и с «последней империей». Опять-таки, можно уверять, что мы выздоровеем и сами решим национальные проблемы референдумом, без риска всеобщего обвала и крови... Но наша страна уже своими огромными размерами вызывает неприязненное отношение сильных мира сего (даже объединение Германии вызывает у них такие опасения). Это было заметно в годы революции по отношению к России ее недавних союзников. Это заметно и сегодня по радиовещанию. Сейчас в международной политике тем более существует некое враждебное поле (созданное совместно коммунистической агрессией, советологией, третьей эмиграцией и описанным инстинктом), которое заставляет западных политиков вести себя так, а не иначе, даже если они, как г-н Эллиот, вполне добропорядочные люди и не испытывают личной неприязни к русским. Ситуация изменится, когда человечество поднимется на новую нравственную ступень в своих взаимоотношениях, к чему призвал А. Солженицын в Темплтоновской речи и к чему первую попытку сделал император Николай II (Гаагская конференция по разоружению 1899 г.). Думаю, это будет возможно, лишь если изменится сама Россия и сможет нравственным примером влиять на общественное мнение Запада.

* Протест епископа Венского и Австрийского Нафанаила; заявление В. Г. Семеновой-Мондич.

*

Кто-то скажет, стоит ли уделять РС столько внимания? Думаю, да. Снятие глушения превратило РС в мощное внутреинее радио в стране с духовным вакуумом. А неопытным общественным сознанием можно манипулировать. Черно-белое мышление («если у нас все лживо, значит в свободном мире все правдиво») может плодить опасные иллюзии. Учитывая такое влияние РС в России и за неимением других возможностей, я решил противодействовать этому тоже изнутри страны хотя бы публикацией.

Раньше у меня с РС была некоторая общая платформа (против тоталитаризма). Но сегодняшняя необходимость положительных целей требует более четкой позиции. Информации отрицательного характера достаточно и в официальных средствах информации; нужна оздоровительная мысль, а ее от РС ждать не приходится. Поэтому я отказался от сотрудничества с РС. Необходимы иные мощности влияния, и стаиовление коиструктивных сил в самой стране дает шанс на отстройку таких мощностей там.

II. «НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ...»

— «Действительно, ... оскорбительные выпады против России, русского народа, русской истории и культуры стали в русской редакции этой станции хорошим тоном. Но если бороться с этим, то не в советской же прессе!» «Назаров... недостаточно четко отличает «гласность» от свободной прессы» (Ю. Б. Брюно, председатель ИБ Совета НТС, «Посев» № 12, 1989).

— «Этична ли жалоба органу комвласти на другой, антикоммунистический»? (Из письма гл. редактора одного из журналов).

Это уже отклики друзей, которые, среди прочего, советуют, как нужно было поступить правильно (как, кстати, я и поступил, но письмом не заинтересовались ни американские инстанции; ни зарубежные, ни самиздатские издания, в которые я его предлагал). Лишь после этого, по совету известного ученого из Москвы, я предложил свое письмо одному из наиболее смелых почвеннических органов печати — «Литературной России», и благодарен ее сотрудникам, опубликовавшим текст с сохранением моей политической позиции. (Именно это и привлекло внимание на РС, ибо критика «эмигрантских листков», как заявил Л. Ройтман, сотрудников РС «не волнует»: малотиражные истины не угрожают их окладам: истину они привыкли оценивать в цифрах...).

Поэтому отвечу друзьям встречным упреком: мне кажется, что они сами «недостаточно четко отличают» здоровые силы в стране, расширяющие границы гласности — от их противников, стремящихся заключить слово «гласность» в кавычки.

Когда-то резолюция Совета НТС отметила наличие «конструктивных сил в правящем слое» («Посев» № 3, 1978). В эмиграции был скепсис относительно существования таких сил вообще, с чем НТС полемизировал. Сегодня, когда конструктивные силы в России открыто действуют на всех уровнях, странно дискутировать с руководителем НТС о допустимости сотрудничества с ними на уровне литературного еженедельника (кстати, органа правления Союза писателей РСФСР, а не органа комвласти)...

Мне кажется, пора различать в советской прессе разные составляющие. Думаю, именно поэтому Солженицын счел возможным напечатать в СССР свои произведения — что я считаю общей победой здоровых сил российского общества, важиой для процесса перемен. Помимо Солженицына, использовать советскую прессу для участия в этом процессе стали Н. Струве, Ю. Кублановский, Т. Горичева, Н. Коржавин, С. Солдатов... О леволиберальном фланге эмиграции я уже не говорю — здесь братание через границы произошло полное, причем Радио Свобода стало их совместным рупором*. Почему же нельзя почвенническому флангу оказывать сопротивление их натиску, тоже объединяясь независимо от границ? А если «не в советской же прессе!» — то мог бы Юрий Борисович сказать, какие другие средства массовой информации есть сейчас для этого?

Ведь речь идет не просто о защите от оскорблений. Сегодня, когда тоталитарная идеология обанкротилась и находится в безнадежном отступлении, все большее значение имеет борьба не только «против чего», но и «за что». И я не понимаю, почему позиция богохульника и русофоба из «антикоммунистического органа» должна быть мне ближе, чем позиция верующего русского патриота, автора работы «Читая Ленина», «члена КПСС» В. Солоухина?**.

Вот что пишет в этой связи В. Бондаренко в той же «Литературной России» (29.9.1989), напоминая знаменитые слова П. А. Столыпина: «Те, кому нужны великие потрясения, уже объединились, настала пора объединяться тем, кому нужна великая страна. Думаю, это надежиая платформа для объединения людей разных политических взглядов. Можно быть ярым противником социализма...», и в то же время желать блага России.

Мне кажется, это вполне соответстает духу упомянутой резолюции НТС: во взаимной поддержке «конструктивных сил в правящем слое», независимой общественности и политической оппозиции — «ключ к освобождению и сохранению России». Освобождение без сохранения — стремится ли кто-то к этому сознательно или по глупости — вряд ли приемлемо для здравомыслящего гражданина.

С этой точки зрения сегодня правильнее говорить не о «советской прессе» вообще, а дифференцированно — о тех или иных изданиях, публикациях, их целях и результатах. Или, может быть, руководитель НТС настаивает на принципе, что «конструктивные силы» должны сотрудничать с нами, публикуясь нашими тысячными тиражами, но мы обращаться к своему народу, пользуясь их миллионными тиражами, не должны?

Конечно, главное не в том, гдé опубликовано, а в том, чтó опубликовано. Из «Посева» (№ 5, 1988) известно, что и руководство НТС посылало материал в орган ЦК КПСС — газету «Советская Россия». Не стану сравнивать ее название, принадлежность и уровень конструктивности с «Литературной Россией», потому что в любом случае считаю такие попытки правильными. Спрошу только: значит, допустимо публиковать в советской прессе лишь материалы в защиту НТС от комвласти, а в защиту русского народа от его отождествления с комвластью нельзя? Ведь именно в этом я упрекаю редакторов РС. Без этого критика «антикоммунистического учреждения» выглядела бы в советской прессе и в самом деле двусмысленной.

Конечно, возможности откровенного анализа по разные стороны границы разные. Но порою наш максимализм отсюда в отношеиии тех, кто пытается раздвинуть границы гласности там, может выглядеть как высокомерие. Целесообразнее понимать важность специфики друг друга в общем деле и создавать общую цель для будущего. Речь идет о достижении того самого общенационального согласия, через которое будущая Россия может создаваться уже в сегодняшней.

---

* Несомненно, это произошло не без содействия сверху. Так, первый, «исторический» визит представителей советских западников на Рвдио Свобода в феврвле 1988 г. в Мюнхене объясняли разрешением А. Яковлева — в то время секретвря ЦК КПСС, ответственного за пропагвнду. Этот визит был прокомментирован в информационном бюллетене Рвдио Свобода (Shortwaves, февраль 1988) следующими словами.

«Г-н Матусевич выразил мнение, что столь известные представители советской культурной жизни не согласились бы участвовать в рвдиопередаче РС без разрешения вышестоящих влвстей... Г-н Мвтусевич сказал, что не отбрасывает возможности того, что сторонники реформ Горбачева хотели использовать большую вудиторию слушателей Радио Свобода для поддержки гласности — в этом возможное объяснение неожиданного визита».

** В возглавленный В. Солоухиным Фонд восстановления Храма Христв Спасителя передан гоиорар за публикацию М. Нaзврова в «Литервтурной России». *Ред.*

В сущности, здесь представлены две позиции, партийная и непартийная, каждая из которых правомерна и нужна. Об этом я уже писал в самиздатском журнале «Выбор» № 8:

1) первая позиция, предельно принципиальная, необходима оппозициоиной партии — для сохранения истинной точки отсчета в бескомпромиссном отрицании зла;

2) вторая позиция направлена на поиск и объединение добра; она свойственна «людям, по своему духовному складу не претендующим на политическое водительство и не склонным резко делить общество на партии, на своих и чужих, а готовым различать «черное» и «белое» в любом человеке, в самом ходе событий, и стараться объединять это «белое».

«Утрирование первой позиции грозит политическим материализмом, партийной узостью при утрате общенациональной цели служения. Утрирование второй — чревато безответственной сентиментальностью и утопизмом. Истина же, наверно, в правильном сочетании того и другого: бескомпромиссности убеждений — и христианской любви в действиях по их претворению в жизнь. В этом две стороны того мудрого патриотизма, который необходим стране».

Привожу цитату, чтобы подчеркнуть: моя публикация в «советской газете» — сознательный шаг, а не политическое недомыслие, как кажется моим друзьям.

— Сотрудничать с РС Назарову «стало стыдно», но не стыдно ли печататься в почвеннических изданиях, где процветает национал-большевизм, т. е. восхваление Ленина, «социалистического» Отечества и т. п.? (Вопрос московского литератора, сотрудничающего с РС).

Контрвопрос: а напечатали бы мой материал «Огонек» или «Аргументы и факты»? (Последние в № 45/1987 писали обо мне как о «беспринципной и бесчестной» личности, полагая, что патриотом своей страны можно быть только по указке либо КПСС, либо ЦРУ). И нет ли на западническом фланге сходного «интернационал-большевнзма» — в выступлениях М. Шатрова, Р. Медведева, Т. Ивановой (см. «Книжное обозрение» № 44, 1989), В. Коротича (см. «Комсомольское знамя», Украина, 21.2.1990)? Такова вся советская печать. Вообще, когда не имеешь своего органа печати, остается лишь везде писать то, что думаешь. Но если уж быть принципиальным, то более строгие требования следует предъявлять тем редакциям, которые существуют в условиях свободы, а не тем, которые вынуждены соблюдать «правила игры» в еще несвободной стране. И лучше судить о них по стратегическому замыслу, а не по тактике.

Где-то национал-большевизм процветает, где-то нет. Но в в любом случае это — противоестественный союз почвенничества с коммунистической идеологией. Он нежизнеспособен и может существовать лишь по вынужденной необходимости с обеих сторон. Автор РС А. Стреляный назвал «русский национализм... последним тайным оружием русского коммунизма» (3.1.90) — но так было при Сталине. Думаю, в сегодняшнее смутное время для кого-то возможна обратная зависимость: структура существующей власти — как стабилизирующее тактическое оружие в руках русского национализма. Об этом писал в «Вече» № 35 В. Карпец, которого в национал-большевизме упрекнуть нельзя. Для почвенников этот «союз» оправдан тем, что они в наступлении, а не марксизм, который себя исчерпал, почему и партия сегодня уже несколько другая.

Правда, это оружие в конечном счете негодное, ибо стабилизирует оно «подмораживанием», не решая проблем. Это дает западникам повод отождествлять почвенников с противниками реформ. Это способствует отождествлению коммунистического режима с русскими, поощряя русофобию и центробежные тенденции в национальном вопросе. На этом почвенники теряют союзников, поэтому им надо как можно скорее обходиться без компартии — иначе нарастающее нетерпение общества, на волне которого идут к власти западники, перечеркнет все стабилизующие расчеты.

Гипотеза Карпеца работала бы, если бы в обществе не было других сил и если бы партия действительно отказалась от идеологии: но он сам сознает, что это было бы для нее и отказом от легитимации власти, на что она пойти не может. Для партии эта задача была бы выполнима через наполнение социалистической терминологии иным содержанием, перенесением легитимации на линию Советов и через личное покаяние лидеров (см. мою статью «Задача для сталкера: перестройка», «Выбор» № 8 и «Вестник РХД» № 157), но шансы на это падают вместе с падением авторитета партии. Более национальным стабилизатором теоретически могла бы быть армия, но ей лучше перенимать власть заблаговременно и предлагать конструктивный союз благодарному обществу, чем запоздало вступать в борьбу с общественным разложением и хаосом.

Сейчас почвенники заняты прорастанием через «полумертвую идеологию» (как ее назвал В. Распутин) и через старые структуры власти. Ради этого некоторые компромиссы оправданы. Другое дело — какие, и везде ли они необходимы, ведь уже за язык никто не тянет, а о «социалистическом Отечестве» все еще приходится читать... Лишь отмежевание от коммунистической терминологии способно придать почвенникам собственный стабилизирующий авторитет.

Однако нас беспокоит в этом противоестественном сочетании разные стороны: мне не нравится «полумертвая» составляющая, а моим оппонентам на РС больше не нравится национальная, жизненная. Сравнивая недостатки почвеннической печати и РС, это следует учесть прежде всего. В объединении всего живого ради освобождения и сохранения России в наши труднейшие времена я и вижу смысл консолидации русских сил.

В виде послесловия к статье привожу несколько цитат из советской печати, которые предлагаю самим читателям оценить в свете вышесказанного.

«Собеседник» (№ 34, 1989): «РС с давних пор считалась чем-то вроде «идеологического филиала ЦРУ». Но времена меняются», — пишет редакция и приводит высказывание директора русской службы РС В. Матусевича: «В идеологии под пропагандой понимают тенденциозность, то есть сокрытие одних фактов и чрезмерное выпячивание или обыгрывание других. Думаю, такого рода пропагандой «Радио Свобода» не занимается».

В «Известиях» (31.III.90) Л. Шинкарев сообщает, что «На РС привыкли работать в обстановке бесцензурного свободного слова,... не следуя чьим-то директивам, но руководствуясь здравым смыслом и собственными нравственными правилами». Говоря об освещении радиостанцией национальных конфликтов, Л. Шинкарев был «приятно поражен, как у микрофона твои недавние собеседники поднимаются над собственными привязанностями,... помня, что драматические события происходят все-таки в их стране». Высокая оценка дана В. Матусевичу: «Его принцип:... критикуемые им политические или другие силы отделены от слушающих передачу людей. Никто не вправе бросить тень на их достоинство»; его слова: «боже нас упаси вносить лепту в конфронтацию»... (сохраняю орфографию корреспондента «Известий» и директора русской службы РС).

Несмотря на растущее возмущение политикой РС в русском зарубежье, президент США дал ей высокую оценку, сказав, что Радио Свобода / Радио Свободная Европа «могут быть эталоном для всего мира» и «нужны сегодня своим слушателям более, чем когда либо» (передача от 2.IV.1990). Это можно считать и косвенным ответом на мои вопросы, заданные американской администрации.

Не буду спорить с американским президентом, у которого свои критерии нужности РС. Не надеюсь также переубедить тех авторов в СССР, сотрудничающих с РС, которые отличаются от «третьеэмигрантского» персонала радиостанции лишь тем, что одни уехали, а другие не уезжали. Но буду рад, если опубликованный материал поможет создать более точное представление о «Радио Свобода» у слушателей, для которых это радиовещание предназначено.



Чарльз Рууд в квартире-музее И. Д. Сытина. Фото А. Бомзы.

ГЕНИЙ БИЗНЕСА

Библиография книг о И. Д. Сытине невелика. Как, впрочем, и о других ярких личностях российского предпринимательства, чей пример деятельности и, главное, работы во благо народа мог бы сильно помочь становлению заново нарождающегося у нас свободного рынка. В этой связи приятной неожиданностью явился выход в Канаде книги профессора Чарльза Рууда «Русский предприниматель — издатель Иван Сытин», которую на суд советских читателей намеревается представить издательство «Книга». Однако, не умаляя труд ее автора и предваряя беседу с ним, хочется с недоумением спросить отечественных экономистов и книговедов: а отчего же они как следует не возьмутся за почти не тронутые рукой исследователей богатейшие архивы русских издателей, типографов и книготорговцев прошлого, которые по изобретательности и уровню работы, пожалуй, не уступали своим коллегам из Западной Европы и Америки?

Наша встреча с Чарльзом Руудом состоялась в музее-квартире И. Д. Сытина, и, казалось, знаменитый издатель был незримым участником этого разговора. Мог ли он когда-нибудь предполагать, что книга о нем выйдет в Канаде... И я прежде всего спросил своего собеседника:

— Как оказался на вашем пути русский предприниматель Сытин?

— В университете канадского города Лондон я веду курс европейской истории. Обратившись к изучению новой темы — деятельности царской цензуры — неожиданно открыл для себя прелюбопытную газету — «Русское слово». Издателем ее был Сытин. Что больше всего меня в ней поразило? Оказывается, в те времена якобы засилия царской цензуры почти беспрепятственно печаталась газета с весьма прогрессивными взглядами. Это знакомство и стало причиной моего интереса к личности Сытина.

Книга моя о царской цензуре вышла несколько лет назад, однако Сытин остался в памяти. В конце концов я решил как можно больше узнать об этом издателе. И первое, что удалось сделать, — познакомиться с его очень колоритными воспоминаниями «Жизнь для книги». Но они, как и всякие мемуары, многое оставили, как говорится, за скобками. Решил поехать в Москву, чтобы вплотную заняться более подробным изучением. И, надо сказать, мне повезло — в архиве сытинской квартиры-музея обнаружил массу интересных, в том числе неопубликованных материалов. Увлеченно засел за работу и завершил ее чуть более года назад.

— Что же вы считаете особенно примечательным в деловой деятельности Сытина?

— Он как бы самой природой был определен для дела, которое стало его единственной целью, смыслом его одухотворенной высоконравственной идеей жизнедеятельности. Это человек исключительный даже в мировом масштабе. Без натяжки его можно сравнивать с крупнейшими предпринимателями Западной Европы и Америки, где, кстати сказать, в отличие от вашей страны, давно и регулярно появляется чрезвычайно много всевозможных публикаций по истории, в том числе и русского бизнеса. А ведь деятельность Сытина — примечательная страница этой истории, и сам он является одной из ее ярких фигур. Жаль, что пока о нем так мало сказано!

Еще в 1911 году на Западе вышла очень интересная книга австрийского экономиста Йозефа Шумпетера (в 1932 году он уехал в США, где преподавал в Гарвардском университете). Шумпетер справедливо полагал, что такие люди, как Сытин, настойчиво создавая в самых разных областях что-то новое, приносят благо, улучшают условия жизни людей. И не надо доказывать, что Сытин был деятелем именно такого типа. Его вклад в просвещение русского народа следует оценивать по самым высоким меркам.

— И что же это новое, с вашей точки зрения человека западного мира?

— Прежде всего Сытин сумел наладить тесное сотрудничество между деловыми людьми России и теми секторами экономики, в которых активно действовал. Благодаря своим блестящим организаторским способностям он построил и прекрасно оборудовал большие типографии, наладил их четкую работу, внедрил в русскую жизнь демократическую, то есть общедоступную систему распространения книг. Для этого ему потребовалось привлечь лучших представителей отечественной интеллигенции, сплотить их в компанию единомышленников-энтузиастов. Сытин, как никто в России, привнес в ее издательское дело народность, всеохватность. Книги его Товарищества читала вся страна — царская семья, высшее общество, фабричные рабочие, деревня. Но еще прежде он понял, что для этого необходимо было объединить производство книги и ее распространение в одних руках — руках издателя.

Умело использовал Сытин и прибыль, проценты на капитал, направляя большую их часть, иной раз без особой выгоды для себя, а то и вовсе бескорыстно, на дальнейшее развитие издательского дела. Недаром его девизом был принцип: выпускать лучшие в России книги, лучшую в России газету; и все это — самое дешевое, при качественном полиграфическом уровне. Как говорится, высоко держал честь своей марки.

Что принципиально важно — Сытин абсолютно не брал в расчет интересы различных партий, которые уже тогда существовали в России, а лишь стремился дать каждому читателю именно то, что тот хотел. Ему удалось собрать вокруг себя блестящих журналистов, независимо от их политических взглядов: Дорошевича, Амфитеатрова, Яблоновского, Потресова, Валентинова. Это были разные люди, но Сытин осознал еще в начале двадцатого века, что вкусы русского общества быстро меняются — оно хотело иметь радикальную газету, и он такую газету ему дал, сделав Валентинова, революционера, талантливого журналиста и писателя, ее видным сотрудником. Так что главный смысл деятельности Товарищества Сытина заключался вовсе не в том, чтобы произвести благоприятное впечатление на правительство и любой ценой схватить прибыль...

Сытина вполне можно сравнивать с крупнейшими американскими издателями того времени, которые держали несколько независимых газет для массового читателя, выходивших огромными тиражами. Его сближает с ними не только предпринимательский размах, но и глубокая проницательность, интуиция — он верно и вовремя улавливал перемены в читательских вкусах, соединив в одном предприятии выпуск для народа книг, журналов и газеты, правильно считал, что его «Русское слово» дает лишь направление мысли, а развивает и углубляет эту мысль книга. Так что Сытина без всяких натяжек можно считать родоначальником нового политического направления в русской прессе — демократического.

— Однако известно и то, что многие русские издатели делали большие деньги на лубочной литературе. В начале своей деятельности занимался лубком также Сытин, мог на этом безбедно жить, однако предпочел другое продолжение пути...

— К чести Сытина, он многое совершал не только по собственному разумению. Ему чужды были зазнайство, самонадеянность купца-самодура — он умел слушать других, не стеснялся советоваться по любому вопросу. И ему охотно помогали советом лучшие люди России. Достаточно напомнить, что среди них был Лев Толстой со своей гуманной идеей создания «Посредника» — издательства для народа. Правда, Сытин скромно считал себя лишь помощником Толстого, хотя в действительности стал настоящим посредником между интеллигенцией и крестьянством, рабочими. Вдохновившись толстовской идеей добра, он придал своей деятельности еще более высокое нравственное начало.

— К сожалению, многие современные издатели больше склоняются к другому — печатают, можно сказать, деньги, то есть прежде всего думают о максимальной прибыли, ничуть не заботясь о духовном развитии читателей.

— О Сытине такого не скажешь, хотя ему нельзя отказать в умении считать деньги. Например, выпуски «Посредника» шли по восемьдесят копеек за сотню, к тому же были привлекательно оформлены и очень быстро печатались, а расходились в миллионах экземпляров. Думаю, дешевизна большинства книг Сытина объясняется его жизненной философией. Он воочию видел, сколько в русской деревне пьянства, невежества, бедности. Поэтому и пускал по рукам крестьян небольшие, доходчивые книги о честной, праведной жизни. Сытин с юных лет уверовал в огромную власть слова, справедливо считал, что коль человек много знает, он может лучше устроить свою жизнь. Но Сытин отнюдь не был идеалистом — понимал, что привлечь малограмотного к книге не так-то просто. Поэтому издание дешевых книг сочетал с выпуском лубков, сопровождавшихся небольшим текстом, верно рассчитав, что от незатейливых картинок деревенский читатель постепенно потянется к чтению книжек «Посредника». Собственно, это и была сытинская система внедрения книги в народ. Мне кажется, она не устарела и сегодня. И не только у вас, но и в мире.

— А возможны ли сегодня Сытины в нашей стране?

— Конечно. Во главе акционерных товариществ нужны именно Сытины, способные создать универсальные издательства со своими типографиями, с достаточными ресурсами бумаги, с собственными книжными магазинами, с добросовестными работниками, дорожащими честью фирмы. Они выпускали бы в достаточном количестве именно то, что интересует народ, самостоятельно определяли бы свою программу. Так работают все издатели Запада. А ведь им, как и Ивану Сытину, не откажешь в патриотизме.

Но у Сытина был и свой особый принцип — основную часть прибыли расходовать на улучшение типографий. Он даже прибегал для этого к банковским займам, жалуясь, что русские банкиры слабо поддерживают развитие полиграфии и бумажной промышленности. Тем не менее Сытину удалось купить часть бумажной фабрики в Петербурге, он искал бумагу за рубежом (и уже в советское время ездил за ней в Германию, прибегнув к старым связям). Но лично для себя брал очень мало и не доходом жил, а скромно. Несмотря на это еще недавно на Сытина у вас преимущественно смотрели как на обычного капиталиста, который угнетал рабочих и норовил потуже набить карманы. Действительно, даже в западном представлении он может быть назван гением бизнеса, потому что обладал хваткой, редкой интуицией в коммерческих делах, был блестящим организатором, но никогда не упускал главного в своей деятельности: духовное просвещение народа и заботу о благоденствии своих сотрудников. Сытин считал, что должна быть постоянная связь между интересами предпринимателя и его работниками — сообща они должны стремиться к совершенствованию труда, технологии производства, улучшению своего благосостояния. Конечно, и ему приходилось хитрить, изворачиваться, но без этого не обойтись деловому человеку.

— Как же построена ваша книга о Сытине, какие выводы в ней главные?

— Его жизнь — от начала до конца — это путь горячего патриота России, без которой он просто не мог существовать. Уже в 1924 году, в Америке, куда он ездил, ему предлагали работу, уговаривали остаться и в Германии — сытинская деловая хватка была известна не только в России. Но Сытин не поддавался ни на какие уговоры — он надеялся, что и на родине ему еще помогут поработать в полную силу. Надо сказать, что он мечтал о тесном соединении американского практицизма, передовой технологии с русской сметкой и воспитывавшейся веками духовностью. Но на деле ничего не получилось. Новые бюрократы не хотели с ним, «человеком старого мира», сотрудничать...

Позволю себе утверждать, что будь Сытин жив, его считали бы человеком перестройки. И пусть моя книга явится маленьким вкладом в нее — ведь вы сейчас остро нуждаетесь в энергичных людях сытинского образца. В этой связи советским авторам полезно обратить внимание на ныне забытые фигуры из среды московского и петербургского купечества. У них имелось не меньше, чем у западных предпринимателей, оригинальных практических идей и начинаний. К сожалению, они были поспешно объявлены вредными для нового строя, якобы навсегда отринутыми формами русской жизни, хотя, как известно, ваша экономика предреволюционных лет быстро развивалась и ее успехи достаточно высоко оценивались на Западе. Предприниматели сытинского толка справедливо видели себя двигателями общественного прогресса. Когда в 1905 году в связи с известными революционными событиями Сытину пришлось вести переговоры с рабочими, он им сказал: я не политик, я думаю и забочусь о другом — чтобы то, что мы делаем, было не моим личным, а нашим общим делом.

В заключение выскажу такую мысль. Я — человек, выросший и живущий в принципиально отличных от ваших политических и экономических условиях. Однако уверен, что без независимых издательств и типографий вам будет невозможно культивировать и развивать дальше свободу печати. Лишь при свободном рынке писатель сможет создавать, а издатель выпускать то, что каждый считает нужным. Разумеется, сообразуясь с законами, но отвечая за свои действия только перед судом. Не будем забывать, что именно на такой основе процветало знаменитое Товарищество Сытина.

Вел беседу
ЮРИЙ ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ.



Организаторы и участники выставки русского искусства в нью-йоркском Гранд Централ Палас. 4 марта 1924 г. Слева направо: Т. Захаров, К. Сомов, И. Сытин, И. Грабарь, И. Трояновский, С. Виноградов. Публикуется впервые.

ИВАН СЫТИН

ТЫ НАША МЛАДШАЯ СЕСТРА...

В 1923 году И. Д. Сытин, согласившись помочь, по его выражению, «в качестве антрепренера» группе нуждавшихся русских художников, организовал в Нью-Йорке выставку-продажу их картин. Вскоре, в 1925 году, он набросал заметки об этой поездке, до сих пор не опубликованные и хранящиеся в Московском выставочном центре «У книгоиздателя И. Д. Сытина». Написанные фрагментарно, на разрозненных листках, они создают своеобразную картину впечатлений Ивана Дмитриевича о его встречах с Америкой. Любопытные приметами того времени, подмеченными наблюдательным человеком, заметки И. Д. Сытина поучительно читать и сегодня. Потому что они показывают, как предприниматель, после революции фактически отстраненный от характерной для него масштабной деятельности, не утратил интереса к любому проявлению деловитости, непременно «примеряя» ее к широким возможностям и богатейшим традициям России.

Ехать в Америку страшно хочется. Это незадолго до смерти особенно приятно. Препятствие тяжелое — право на разрешение тянется два месяца: и да, и нет. И в собственном сознании: ни да, ни нет. Да может и лучше, если не поеду. Но все-таки после двухмесячной проволочки состоялось и дано разрешение. Сборы — пустяк. Все как будто хорошо. Дома нет во мне ничего, кроме ноющего тяжелого бремени.

Первая остановка — Рига. Что за прелесть эта наша милая Рига! Все тут то же, те же друзья-книготорговцы. Ничего не изменилось. Издают и тяжко сетуют, что Русь не производит русских книг, но зато и они ничего не покупают. Простота, дешевизна жизни, но сбыта мало.

Делаю формальности с визою на проезд через Берлин — Париж в Америку. Последняя трудно разрешает. После всех справок дают разрешение: поднимите руку и дайте обязательство и обещайте честным словом говорить правду по вопросам вам предложенным. Это напоминает нашу присягу. Даю требуемый обет, разрешение даю, еду дальше, в Берлин. Милые немецкие бюргеры, как старые друзья, но более осторожные и сухие. Дальше — Париж. Там еще труднее оживить себя — вся деловитость застыла в вопросе: что ты мне дашь, а я тебе. Ничего, скорее в Америку! Еду, сажусь в самый большой пароход в несколько этажей. Это было 15 января 23 года...

Очаровательная поездка, не только удовольствие, но и страшно полезно и здорово. Прекрасные удобства, постель, каюта, воздух, прогулка, питание. Никакая качка не вредит, мало заметно колебание. Музыка. Танцы. Все удобства роскошного клуба, библиотека, все новости. Семь дней в море незаметно проходят, как праздник. На седьмой день знаменитый Нью-Йорк.

Это город совершенно особого мира. Здесь все иное. Сам доллар за себя говорит — вместо двух рублей. Страшно головокружительная суета и движение. Тут на каждых трех жителей собственный автомобиль. Поезда в три этажа. Автобусов — в огромном количестве. За пять центов хоть все 30 верст езди. Кушать вам дают как нигде и дешево и изящно. И на всех языках говорят и спрашивать можно. Это мировой рынок. Если вы приехали в Америку, вы американский гражданин, совершенно свободный человек. Условия жизни поставлены поразительно, во всех отношениях свободно. Все ваши возможности пристроиться к делу возможны. Только легко найти физическую силу, значительно труднее интеллигенту, но знакомство легко завести, и скоро. Все народности имеют здесь соотечественников, которые имеют свои учреждения для помощи соотечественникам...

Американцы безразличны, они ничему не удивляются и вы ничего для них не дадите нового. Они живут уроком своей ежедневной усиленной работы, все охвачены работой сегодняшнего дня. Их день весь посвящен тому, чтобы всячески усилить свою продуктивность в деле. Это живая машина с 10 до 6 часов. Американца интересует только доллар, доллар и доллар. Остальное время — семье.

Надо признаться, демократия полная во всем — от миллионера до низов... 90 процентов тех миллионеров, которые имели особняки в Нью-Йорке, перебрались в общественные гостиницы и живут, не имея ни одной личной прислуги. Пользуются всей услугой гостиницы, имея автомобили в общественном гараже, сами без шофера правят и ездят всюду. Семейство имеет 2 и 3 автомобиля и все каждый себе служит. Такая милая демократизация жизни поразительно изменила все внутри умной страны и внутренне культурного народа. Быть без работы и без дела американцу нельзя, он это считает хуже смерти...

Больно и обидно, что мы их не используем — больно они богаты, им некуда девать машины и много у них долларов. И очень она, Америка, близка и похожа на нас по постановке рабочей силы. Я с радостью был там в больших типографиях и на текстильных фабриках. Рабочая сила Америки по движению в работе и в беседе, по вопросам труда и порядка ужасно похожа на русских. Обстоятельно, внимательно покажут, спокойно объяснят, вежливо покажут все достоинства и недостатки машины, какой возможен еще усовершенствованный способ применить в работе...

Другое дело в Германии. Там — твердый автомат, очень скуп на слова. Говорит неохотно, точно боится конкурента, отвечает одним словом или: «Спросите в конторе».

Француз еще менее даст вам внимания: во время работы он суетливо занят своим делом, его движения у машины настолько безостановочны, что он постоянно в движении. Вы спросите, он остановится на минуту и ждет — что вы хотите. Затем одним словом ответит вам и вы чувствуете, что это его не интересует...

В Лондоне, в больших типографиях, еще недружелюбнее смотрят на посетителей. Там позволительно только ходить с представителем от конторы, который объяснений не дает, а только проводит по мастерским и просит его не задерживать, так как у него стоит дело. Интересно, чисто, богато, но тяжело, массивно...

Америка стремительно летит к совершенству техники. Там так поразительно идет рост машин, оборудование и усовершенствование фабрик всех отраслей, что прожил в Нью-Йорке четыре месяца. Что мне показали новое для меня? Три месяца видел уже совершенную новость — большие ротационные машины. Я говорил с фабрикантами и техниками: как вы озабочены — это же стоит денег. Они удивляются: как можно о такой мелочи думать, мы — строители машин, сами заинтересованы и не считаемся с потребителями машин, а ими руководим. Сами совершенствуем заводы полиграфических машин всех видов, больших и вспомогательных; все, что появляется новое в этой области, совершенствуем, сейчас же знакомим с ним потребителя и принимаем все меры, чтобы всем новым его снабжать. Мы, фабриканты машин, озабочены тем, чтобы давать все самое совершенное, потребителю необходимо иметь самое лучшее и ежегодно совершенствовать производство в той или другой части. Это наше фабричное дело заботиться, чтобы машины были самые выгодные по быстроте, простоте и изяществу работы. Это не одна отрасль, а все отрасли машиностроения.

Они так озабочены, что это дает чрезвычайное удобство вести дело печати. Для каждого дела должен быть состав служащих, умело подготовленных. Я рад, что видел это в Америке, где весь склад людей, постановка, само обращение с работой ужасно напоминает русских... Американец изучает работу машины до мелочей, пользуется ей, как любимой женщиной, любовно покоит, бережно следит, относится внимательно. Все как часы исполняют свое дело, и машина идет плавно, быстро...

Такой же прием во всей американской промышленности — все спаяно интересами между собой. Фабриканты производства готовят, что вам нужно фабриковать, машины вам дадут и научат, как пользоваться машинами. Для этого надо только изучить предмет, который нужно производить, и рынок сбыта. Если вы знаете, изучили в предшествующей жизни предмет снабжения, то смело становитесь фабрикантом. Производству же вас научат сами фабриканты машин, и вы получите кредит фабриканта и банка для покупки сырья...

Ездил по Европе три раза. Все видел, везде мило беседовал: все страшно желают работать, но особенно Америка. Это моя любовь. Широко, умело, красиво, все построение новое.

К великой радости я там встретил наших родных русских людей, которые по своим способностям к труду, своему русскому по духу умению быть полезными оказались блестящими руководителями всего, что и мы могли бы им поручить делать для нашей страны, начиная с начальной школы и кончая рабочими и университетом. Таково же желание и профессоров Нью-Йоркского университета. Они говорят нам: возьмите у нас все науки и методические пособия, включая учебники и наглядные пособия. Устраивайте у себя выставку — мы вам пришлем все: мебель, чертежи, образцы всех работ, дадим полную картину всего, чем Америка богата — от начальной школы до университета, включая технические и сельскохозяйственные институты.

Наши проблемы побуждают меня сказать, что какие мы маленькие, старенькие, серенькие мужики. Ведь давненько Ермак завоевал нам Сибирь, а мы доселе ее не знаем, что́ у нас есть везде и во всем. Топчемся на одном месте и все ноем о земле и тесноте, вот уж истинно собака на сене.

Долго крепко спал наш мужик. Встань, проснись, подымись, посмотри на себя: ведь соседи твои работают давно! Младшая сестра твоя Америка сделала чудеса. Ты — старшая сестра, у тебя все части света необъятные, благодать, сокровищ везде и во всем. А ты прокормить умело и сытно себя не можешь.

Была беда — стало тяжким сном крепостное право. 64 года прошло твоей воли. На свободе дали тебе две десятины земли. И все 64 года была борьба за школу грамоты. Ты не знал ничего, кроме четырех действий арифметики. Теперь ты хозяин всего Великого наследства Великой России. Твое пространство на земном шаре больше всей Европы и Америки. Что нужного надо сделать не только тому поколению, которое ты имеешь? Тебе хватит семечка, чтобы заполнить и обработать все пространство на многие сотни лет. Для этого надо знание. Познай са-

мого себя, человек маленький, сила твоя в единении необъятна, могущественна. Мало учиться, надо прилагать свои знания в жизнь.

А ты, брат американец, счастлив тем, что до тебя эта старшая сестра тебе многое богатство в недрах скопила. Подходи, буду с тобой делиться. Твое счастье — у тебя много хорошего, нового. Но, друг мой, у меня тоже слишком большая драгоценность — моя страна знаменита тем, что она исторически ценна своей великой мудрой историей. Ведь кто совершает мудрость, у того нет предела во времени. Мы не знаем, где начало и где конец. Великое счастье — уразуметь смысл жизни.

Мой милый заокеанский сосед, Америка, как ты наглядно заманчива, величественно хороша и так чувствуется близкое с нами братство. Ты счастливая, светлая, новая страна. В тебе собрались сильные люди. Сами приехали, устроились и работают. Мы же первобытно стары. Тяжко жили долгие подневольные века. Пережиток тяжкой исторической неволи воспитало многие столетия жестокое дворянство. И все-таки выжили. И вдруг заря и светлое солнце, яркое светлое северное сияние со всем своим блеском. Весь народ, делившийся на классы царей, министров, бояр, генералов и рабов, превратился в людей без всяких чинов, величество все пропало. Остался один человек. И никого больше. Великое счастье — какое чудо Человек!

Два месяца ходил я по твоим сокровищам, милая Америка. И все не находил подхода, все мне казалось, что все это мелко, скучно, базарно — просто весь твой рынок, афиши, базары, магазины с массой раскиданных товаров для толпы казались мне мало занятными. И вот, когда я подошел к моменту написать тебе и о тебе, то вспомнил: Боже, да ведь ты наша младшая сестра, наши интересы с тобой близки, ты нам очень близка по духу — наша русская натура страшно близко смыкается с тобою. Видно, какое теплое чувство у наших русских, у тебя к ним, а у нас к тебе...

Что нам у тебя нравится — это последнее достижение культуры. Но наша великая богатая история страшно интересна — это жизнь зверька, одаренного всеми благами великого идеала от природы. Но так мил этот зверек, рожденный на благодатном севере, что он был приручен и окружен животными потребителями, считал всякое малое деяние Благом, все делал, чтобы главный великий светлый дух жизни в человеке пробуждался в смирении, милосердии, всепрощении и нерадении к себе, самопожертвовании. Вся великая масса народная под влиянием ожидания будущих благ смиренно переживала в детском и старческом благочестии целые академии подвижничества, вырабатывала руководителей и последователей.

Эти качества имеют свою Великую Мировую Задачу — отрицательную и положительную. Жаль, что этот богатейший смиренный добродетельный материал не использован под тем же влиянием добра и права, как он воспитывался у меня до пятнадцати лет. Если развить в человеке знания практических работ, пользоваться ими, учить, не забивать, давать простор в работе, быть с ним другом и братом, он тебе даст великую и счастливую жизнь. Только цени строго, развивай в нем чувство долга. Воспитывай и себя на его опыте — учи и сам учись.

Именно этот величайший радостный университет мне дал смелость гордиться и радоваться за себя. Все 2500 человек моих рабочих и служащих друг друга воспитали, окружили себя всеми системами начальных школ и всеми практическими техническими, сельскохозяйственными академиями и университетами, чем и достигнуто счастье в деле печати. А почему нельзя то же делать в текстильной, механической промышленности, на всевозможных фабриках и в мастерских, в особенности сельскохозяйственных? Надо расширять школы, опытные мастерские, применять и усовершенствовать новые способы труда. Только дать рабочему немного права и поощрять его интересом дела. Тогда он охотно сделает все, чтобы его машина была в совершенстве. Для этого потребуются лекторы, мастера, механики по всем способам, необходима хорошая литература и образцовое усовершенствование работы по самым современным образцам.



Портрет И. Д. Сытина, работы художника А. В. Моравова.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Напоминаем читателям, что под рубрикой «Встречи в доме Сытина», начатой в №№ 6, 8 и 9 «Слова» за текущий год, мы заявили о своем намерении рассказывать о знаменитом русском предпринимателе, используя материалы его архива и библиотеки Выставочного центра «У книгоиздателя И. Д. Сытина» (Тверская улица, 12), встреч и бесед в стенах этого дома. В будущих номерах журнала будут продолжены публикации не известных еще воспоминаний и документов Ивана Дмитриевича, отрывков из выпущенных им книг, размышлений общественных деятелей, ученых и книгоиздателей.

О Т Р Е Д А К Ц И И

ПИСЬМА С ВОЙНЫ

Год назад наш журнал опубликовал тридцать одно письмо из Афганистана солдата Павла Буравцева («Слово», 1989, № 5, 7). Первое из них датировано 30 апреля 1985 года, а последнее — 18 ноября 1985 года. В тот день «оловянный солдатик Пашка» (так подписаны многие его письма) обращался к своему «Галчонку»: «Напоследок я хочу написать тебе, родная, строки замечательных стихов, которые я долго искал и случайно нашел. И сейчас посвящаю их тебе». А далее шло полностью, от строчки до строчки, переписанное им стихотворение «Жди меня, и я вернусь...» Заканчивалось же письмо словами: «Жди! Как ждали они!» Оно написано за четыре дня до гибели Павла Буравцева в бою с душманами 22 ноября 1985 года.

Павел не вернулся к любимой. Но остались его письма, обжигающие ныне наши очерствелые души такой искренностью и чистотой, которую уже трудно встретить не только в жизни, но и в литературе. Особенно в литературе об Афганистане, захлестнутой так называемой «чернухой», выдаваемой за правду жизни. Но ведь письма Павла Буравцева — это тоже правда жизни. Горькая правда, существовавшая не благодаря, а вопреки всему, что не мог не видеть вокруг себя девятнадцатилетний солдат, рассуждавший (письмо от 16 июля): «Говорят, что любовь не нужна и бесполезна. Но я все равно отстаиваю свою точку зрения. Ведь без любви, мне кажется, невозможна жизнь, ведь только любовь дает право на жизнь, только любовь поднимает солдат в атаку, попирая смерть сапогами, и только ради любви стоит жить, только ради любви. Я иногда стал задумываться, почему люди такие жестокие и жадные, почему им всегда чего-то не хватает, ведь из-за этой жадности я нахожусь очень далеко от тебя, только из-за этого создана армия, вооруженная и живая сила (солдаты). Если бы люди могли жить в мире, то я бы и никуда не уезжал от тебя, и я просто не могу понять, неужели им нужно столько много. Ненасытные скотины».

Тогда, год назад, начав публикацию этих писем, мы не сомневались, что издательства тоже обратят на них внимание, они выйдут отдельной книгой. И вот такая книга перед нами. Она издана «Профиздатом», и в обращении к читателю значится: «Прибыль, полученная от реализации книги «Но мы не забудем друг друга», будет перечислена в фонд помощи воинам-интернационалистам. Приобретая эту книгу, вы помогаете пострадавшим в этой войне, тем, кто нуждается в такой помощи. В благотворительной акции принимают участие работники ВГО «Союзкнига». Что ж, иначе и быть не могло. Единственный вопрос, который невольно возникает: а почему эта книга до сих пор не вышла ни в «Воениздате», ни в издательстве ДОСААФ? Неужели «Профиздат» окажется единственным в нашей стране издательством, сумевшем увидеть в письмах солдата-афганца Павла Буравцева один из потрясающих человеческих документов нашего времени?..

К. ЛУГИН

«НО МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ДРУГ ДРУГА» / Сост.: Н. П. Буравцева. — М.: Профиздат, 1990. (Современник в письмах, документах, свидетельствах.)

ДУХ ВРЕМЕНИ

Один из его современников писал: «Чем он был, знаем только мы, близко его видевшие и слышавшие, а умрем и мы, о нем останется только смутное предание, как о чем-то необыкновенном...» Пожалуй, так и случилось. Сегодняшний читатель с уверенностью сможет сказать только то, что это был человек выдающийся. «Смутное предание» оставило имя Грановского в названии улиц, практически ничего не сообщая о нем самом. Между тем Тимофей Николаевич Грановский был действительно выдающейся личностью, одним из лучших умов своего времени, когда жили замечательные люди России — Герцен, Белинский, К. Аксаков, братья Киреевские... И поэтому книга о нем не случайно называется «Время Грановского. У истоков формирования русской интеллигенции».

Философ, пропагандировавший гегельянство, общественный деятель, активно противостоявший теории «официальной народности», историк, на примере прошлых веков помогавший понять настоящее, осознать роль своего народа и своей страны в истории человечества, профессор Московского университета, кумир студентов, для которых было великой честью называться его учеником... «Наша книга посвящена... Тимофею Николаевичу Грановскому, который, как никто другой, полно вобрал в себя все характерные особенности своего времени, его радость и боль, беды и свершения, став еще при жизни символом, олицетворявшим дух «замечательного десятилетия», — пишет автор книги А. А. Левандовский.

«Трудно переоценить значение, которое имела деятельность Грановского для «внутреннего освобождения» русского общества», — отмечает он дальше. В деспотичное николаевское время, когда духовная жизнь развивалась лишь в умах немногих мыслящих людей, Грановский и его сподвижники сумели стать борцами за «новую науку», свободную от раз и навсегда установившихся догм, потому что его поколение уже не могло удовлетвориться традиционными прямолинейными ответами на основные философские вопросы. Эта книга — не сухая скрупулезная биография отдельного человека, в этом ее достоинство. Она знакомит прежде всего с тем, что происходило в русском обществе в 30—40-х годах прошлого века. На ее страницах — сложности и противоречия идейной борьбы, разногласия между западниками, одним из лидеров которых Герцен считал именно Грановского, и славянофилами, отношение Грановского к идее социализма и переустройства общества, духовное просветление России, к которому стремились лучшие ее люди всегда, даже в самое жестокое время.

М. АСАЛИЕВА

Левандовский А. А. ВРЕМЯ ГРАНОВСКОГО: У истоков формирования русской интеллигенции. — М.: Мол. гвардия, 1990. — (Исторические портреты.)

О ТАТИЩЕВЕ

Одна лишь биографическая справка о Василии Никитиче Татищеве способна сказать о многом. Военный и дипломат, управляющий казенными заводами на Урале и Астраханский губернатор, приближенный Петра I и ссыльный. И ко всему прочему — ученый-энциклопедист: философ, географ, историк.

О столь заметной фигуре в небольшой книге в деталях не рассказать. Да автор и не ставит такой задачи. Он приглашает к размышлениям — не только о начале века XVIII, но и о дне сегодняшнем.

Нынешним «западникам», усиленно насаждающим комплекс российской неполноценности, не грех было бы получше познакомиться с Татищевым, первым русским просветителем, не уступающим европейским современникам ни образованностью, ни глубиною теоретических построений. Был ли он знаком с новейшими для его времени концепциями? — Несомненно. Заимствовал ли он «передовые идеи»? — Ни в коем случае. С. Перевезенцев подмечает весьма важное обстоятельство, подтолкнувшее Татищева к созданию «Истории Российской» — труда, без которого и поныне не обходится ни один исследователь. Им послужило поручение сугубо практическое — провести «планиметрию», то есть географическое описание государственных земель. Как оказалось, выполнить эту задачу невозможно без глубочайшего изучения истории страны. Можно только удивляться, что искреннее стремление Татищева разобраться в прошлом России и ее общественном строе надолго закрепило за ним в советской историографии репутацию консерватора. Впрочем, и поныне серьезное обращение к недавнему прошлому, свободное от нигилистических презумпций, надежно обеспечивает исследователю ярлык «ретрограда». Пример тому мы обнаруживаем опять же в судьбе Татищева. Реформатор, автор политических проектов, призванных обеспечить достойное существование всем сословиям, попадает в немилость к временщикам. Уже в те годы складывается печальная традиция самодержавия, которую век спустя выразил Николай I: «Русские дворяне служат государству, а немецкие нам». Режим бироновщины не мог смириться с независимой позицией крупного государственного деятеля. В результате — опала и ссылка. Впрочем, много ли помнит Россия реформаторов с удачливой судьбой?

В. ИЛЬИН,
кандидат исторических наук

Перевезенцев С. ОТЕЧЕСТВА ПОЛЬЗЫ ДЛЯ. — М.: Мол. гвардия, 1989. — (Б-ка журнала «Молодая гвардия».)



ИГОРЬ
ШАФАРЕВИЧ

ВРЕМЯ ШОСТАКОВИЧА

Фото ВИКТОРА АХЛОМОВА

Шостаковичу посвящена целая литература. Специалисты исследовали его симфонии, камерные и вокальные произведения, выяснили, кто из предшественников Шостаковича влиял на его творчество и какое влияние он оказал на развитие музыки. Написаны его биографии и воспоминания о нем и несчетное число отзывов об отдельных концертах.

Но дилетант может рискнуть на большее: попытаться увидеть, какой общий смысл, какая общая идея объединяет все творчество Шостаковича. Конечно, не для того, чтобы тут же на этот вопрос ответить — такая надежда была бы слишком легкомысленной даже для дилетанта — но чтобы нащупать, при помощи каких понятий можно такой вопрос обсуждать, и, особенно, чтобы оправдать осмысленность самого вопроса.

Действительно, с м ы с л всей творческой жизни художника кажется столь же расплывчатым понятием, как и смысл жизни каждого человека. Нам так ясно видно, от какого громадного числа случайностей зависит наша жизнь, что представляется бессмысленным искать для нее какую-то единую цель или смысл — она выглядит подобной броуновскому движению частицы, описывающей причудливую траекторию под влиянием случайных соударений с молекулами. Но является ли такая точка зрения единственной логически возможной? Напомним в этой связи одну знаменитую физическую концепцию — так называемый «принцип дополнительности» Н. Бора в квантовой механике. Согласно квантовой механике, все те данные о механической системе, которые мы принципиально можем получить из опыта, не определяют ее изменения в будущем. Только когда имеется много подобных систем, можем мы определить в е р о я т н о с т ь того, что каждая из них будет находиться в том или ином состоянии. Таким образом разрушается представлеиие о детермнированном физическом процессе, настоящее не определяет будущее. Однако механическую систему можно описывать и другим путем, при помощи так называемой волновой функции, являющейся точкой некоторого пространства, совершенно отличного от нашего физического пространства, даже не трехмерного, а бесконечного числа измерений. Но зато изменение волновой функции во времени — это вполне детерминированный процесс.

Трудно сомневаться в том, что понимание человеческой жизни требует по крайней мере столь же тонких логических конструкций, как и анализ квантово-механических систем. Нельзя ли предположить, что, аналогично «принципу дополнительности», тот аспект человеческой жизни, который мы наблюдаем, действительно во многом подвластен силе случая, но что существует другой аспект («в другом пространстве» или, как говорил Достоевский, «в мирах иных»), который не случаен, подчинен определенной цели и смыслу? Подобная точка зрения действительно была провозглашена:

> *«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц»* (Матф., 10, 29-31)

Эти же слова приведены и в Евангелии от Луки (12,6-7). По-видимому, они относились к числу тех мыслей Спасителя, которые особенно поразили Его учеников. Действительно, этот взгляд очень трудно согласовать с той властью случая, которую мы ежечасно видим в своей жизни. По-видимому, наблюдаемый нами аспект человеческой жизни слишком сильно отличается от того, подчиненного Высшей власти и смыслу аспекта, о котором говорится в Евангелиях; редкие избранные способны увидеть, что это лишь два отражения одной сущности. Но в творческой жизни гениального художника эти два аспекта гораздо ближе, один из них более зримо проникает в другой, и мы можем надеяться его различать. С такой точки зрения правомерно говорить о смысле творчества художника подобно тому, как мы говорим о смысле какого-либо романа — смысле, не совпадающем ни с его фабулой, ни с психологией героев, ни с языком, хотя во всем этом выражающемся.

А именно творчество Шостаковича нам особенно важно было бы понять, так как в течение длительной и драматической эпохи (20-е — 50-е годы) оно наиболее ярко выражало духовную жизнь страны. В то время музыка, ввиду неоднозначности ее истолкования и меньшей доступности для контроля властей, играла приблизительио ту же роль, что в последующие десятилетия — Самиздат. И ярче и глубже всего эта эпоха отразилась как раз в творчестве Шостаковича; как мне кажется, именно его, а не Прокофьева, который умел уходить в какое-то четвертое измерение красоты и иронии и оттуда посмеиваться и над пасомыми и над их властителями (как, например, в забавной оратории на слова классиков марксизма, написанной в 1937 г.!).

Шостакович хлебнул зелья, обильно разлитого в ту эпоху — и озлобленного, хулиганского нигилизма, так исковеркавшего стихи Маяковского (такое впечатление производит на меня, например, финал его I фортепианного концерта с демонстративно-пошлой «веселенькой» темой), и того «блеска эксперимеита» (например, в театральной работе с Мейерхольдом), пафос которого, как кажется, состоял в стремлении разрушить всякую культуру. Но сейчас это воспринимается лишь как малозначительные искривления его творческого пути — да и то в его начале. А в целом Шостакович очень мало поддался столь сильным тогда влияниям, его творчество идейно совершенно самобытно и несомненно является ценнейшим источником для понимания одной из ключевых эпох нашей истории.

Статья о музыке сталкивается со специфическими трудностями: здесь нельзя привести цитату, каждое произведение гораздо менее однозначно поддается интерпретации. Контрапунктическое и гармоническое построение произведений Шостаковича я не буду анализировать, во-первых потому, что на это не способен, а во-вторых (хотя достаточно и первой причины) потому, что вынужден был бы тогда обращаться к слишком узкому кругу читателей. С другой стороны, обычные описания с «глубокими лирическими раздумьями» и «сценами народного веселья» относятся совершенно одинаково ко всем произведениям и не выражают почти ничего. В этой статье я применяю следующий прием: я описываю те образы, которые у меня возникали при слушании произведения или потом, когда я задавался вопросом — «о чем это?» — то есть сочиняю нечто вроде его программы. Такое описание конечно очень неточно и неоднозначно; его цель — лишь в общих чертах передать мое понимание общей мысли или настроения этого произведения. Даже для меня самого яркость и четкость моей «программы» зависит также и от исполнения. Но я заметил, что те образы, о которых будет ниже рассказано, возникали у меня гораздо отчетливее, если исполнитель (или одним из исполнителей) был сам Шостакович.

Разумеется, такой прием не может служить основой для сколько-нибудь широкого анализа творчества Шостаковича. Поэтому я выбираю в качестве примера три его произведения, в которых особенно ярко проявляются те тенденции, на которые я хочу обратить внимание.

Работа делится на две части. В первой части я на примере трех произведений Шостаковича пытаюсь охарактеризовать тот комплекс мыслей и чувств, который кажется мне центральным в его творчестве. Во второй части я обращаю внимание на некоторые особенности русской культуры в XIX и XX вв., дающие, как мне кажется, возможность увидеть то особое место, которое Шостакович занимает в развитии этой культуры.

Имя крупнейшего математика, лауреата Ленинской премии, члена-корреспондента АН СССР, действительного члена многих иностранных академий Игоря Ростиславовича Шафаревича ныне достаточно хорошо известно в нашей стране по историко-философским и публицистическим работам, таким как «Социализм как явление мировой истории» и знаменитая ныне, вызывающая бурные споры «Русофобия». И. Р. Шафаревич — постоянный автор нашего журнала (см.: 1989, № 11; 1990, №№1, 7). Публикуемое эссе о творчестве Д. Д. Шостаковича входит в книгу И. Р. Шафаревича, которая выйдет в издательстве «Советский писатель».

а) **XIV симфония.** За несколько лет до своей смерти Шостакович написал симфонию о смерти. Рассказывают, что на первом исполнении этой симфонии он вышел и сказал, что написал ее, ибо каждый человек в преддверии смерти должен задуматься над смыслом своей жизни. Поэтому можно предположить, что эта симфония способна многое нам разъяснить в его мировоззрении.

Однако первое впечатление — что симфония есть собрание загадок. Начиная с названия этого произведения: называется оно симфонией, но состоит из одиннадцати песен, которые исполняются сопрано и басом в сопровождении оркестра.

Тема всего цикла — Смерть. Что хочет сказать автор? В самой расшифрованной форме ответ, казалось бы, содержат тексты песен. Но они-то и не помогают, скорее сбивают с толку. Особенно те, которые взяты из Аполлинера: их внешняя красивость, бессодержательное жеманство, сейчас раздражает и коробит. За Лорелеей идут толпы томящихся любовью мужчин, а она бросается в Рейн, тоскуя по возлюбленному... Самоубийца — в могиле без креста, из его тела растут три прекрасные лилии, красота которых проклята... Все это такие примелькавшиеся, находившиеся в долгом употреблении образы Узник замурован в темнице, где «есть только двое: я и рассудок мой»... Эта сочиненная фигура настолько бледнее тех бесчисленных реальных узников, о которых мы знаем! Да и какое это вообще имеет отношение к Смерти? И, наконец, как венец непонятности, среди трагического цикла вдруг «Ответ запорожских казаков Константинопольскому султану». «Нечистотами вскормленный», «весь ты в ранах и струпьях», «окривевший, гнилой и безносый», «зад кобылы и рыло свиньи» — как все это вписывается в симфонию о Смерти?

Можно было бы перестать думать об этой симфонии, решить, что она, видимо, не удалась, если бы не оставляемое ею ощущение сильнейшего воздействия. Многие дни и недели спустя она вспоминается — слышится и видится в образах. От мыслей о ней невозможно избавиться (чему одно из доказательств и эти заметки).

Более того, в симфонии чувствуется сложность и «глубина», кажется, что, думая над ней, можно углубляться все дальше и дальше, что в ней есть какая-то «философия». В этом отношении интересно сравнить ее с другими произведениями на ту же тему: «Песнями об умерших детях» Малера. Воздействие «Песен» Малера не меньше, но остается впечатление, что это произведение «двумерное». Встает образ страшной черной дыры, поглощающей жизнь, — но это и все, дальше ни мысль, ни чувство никуда двигаться не могут.

Остается поискать другого пути для понимания симфонии — не через тексты. Ведь если бы тексты полностью выражали мысли автора, то ему нечего было бы трудиться писать музыку. Тогда симфония была бы только иллюстрацией к стихам, то есть давала бы упрощенное и огрубленное изложение уже содержащихся в них мыслей.

Музыка, написанная на текст, только тогда действительно значительна, когда она использует текст лишь как материал и так придает ему новый смысл, который в нем не был заложен. Тогда текст, сам по себе слабый, может прекрасно выражать этот н о в ы й смысл.

В одном музыка и текст согласуются вполне — что тема симфонии — Смерть. Что хочет сказать об этом предмете автор?

Пожалуй, первым препятствием, мешающим нам понять это, является он сам, автор, известный нам не только как композитор. В частности, по поводу этой симфонии Шостакович сказал корреспонденту «Правды»: «Мне очень близки слова Николая Островского: «Самое дорогое у человека — это жизнь» ⟨...⟩ Я хочу, чтобы после исполнения симфонии слушатели уходили с мыслью: жизнь прекрасна».

Судя по этому, как и по многим другим высказываниям, автор придерживается того рационалистического и атеистического мировоззрения, в котором воспитана большая часть современного интеллигентного человечества. И оно не дает никакой точки опоры для размышлений о Смерти.

С этой точки зрения смерть — чисто пассивное, отрицательное понятие — отсутствие жизни. Можно констатировать как закон биологии, что живые существа (по крайней мере, многоклеточные) имеют конечную продолжительность жизни, то есть смертны, а как закон психологии — что представление о смерти вызывает у человека сильное чувство страха. Последнее можно, вероятно, объяснить как дополнительный страховочный механизм, который полезен для сохранения индивидуума, так как заставляет его напрягать до предела все силы в момент опасности. Правда, эта «тоска по бессмертию» сильнее всего не в момент наибольшей близости смерти, а в молодости, в расцвете сил. Этими словами Рильке кончается симфония Шостаковича:

В час высшей жизни она в нас страждет,
Поет и жаждет
И плачет в нас.

Почему «в час высшей жизни»? Я не могу представить себе, чтó это мировоззрение может на такой вопрос ответить.

На почве господствующего сейчас мировоззрения все мысли о смерти сразу же натыкаются на стену. С этой точки зрения здесь и вопросов нет — есть только констатация факта. Этот факт с поразительной силой констатируют, например, «Песни об умерших детях» Малера. Но п р о б л е м а смерти теряет смысл.

Вот и еще одна загадка! Как может автор, который, судя по всему, что мы о нем знаем, стоит на этой точке зрения. сказать о смерти что-то столь несомненно значительное?

Гораздо легче было бы попытаться понять симфонию Шостаковича исходя из религиозной точки зрения. Это мировоззрение, в частности, содержит и совершенно другой взгляд на смерть. Вопрос о смерти выдвигается в число нескольких самых важных для человека вопросов.

Проблема Смерти стояла еще перед неандертальцами, воспринималась ими религиозно. Об этом свидетельствуют их захоронения: в мустьерский период, не менее 50 тысяч лет назад, люди хоронили покойников, окрашивая их красной охрой и кладя рядом с ними каменные орудия.

Для ближайшего к нам христианства жизнь и смерть являются активными и борющимися силами. Обе эти силы обладают столь тонкой и сложной структурой, что их можно воспринимать как индивидуальности — это Христос и Дьявол. С особенной яркостью такая точка зрения выражена апостолом Павлом. В первом послании к Коринфянам он рассматривает воскресение Христа как поворотный момент мировой борьбы жизни и смерти. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживают».

На другом конце цепи христианских мыслителей можно указать русского философа Федорова, автора концепции «общего дела» христианского человечества — воскрешения предков.

Я привел только эти примеры из громадного их числа, чтобы напомнить, что религиозное мировоззрение (и, по-видимому, только оно) дает основу для все более глубокого, до бесконечности углубляющегося понимания Проблемы Смерти. Не предположить ли тогда, что именно это мировоззрение составляет духовную основу четырнадцатой симфонии? Может быть, такая точка зрения несколько рассеет ее непонятность?

Посмотрим, что дает для ее понимания этот взгляд, и начнем сразу с того места, которое казалось самым непонятным: «ответ султану». Но исходить теперь попробуем из музыки, глядя на текст лишь как на ее иллюстрацию.

Как далека эта музыка от настроения терпкого украинского юмора, знакомого по картине Репина! Резкие звуки струнных создают впечатление хлопанья гигантских крыльев, какого-то ледяного вихря. На ум приходят химеры со старинных готических соборов.

Музыка вводит нас в совершенно иной круг образов. Теперь и текст приобретает другой смысл. Все эти образы знакомы — только в контексте, который не приходил на ум. Таким издавна представляли себе Князя Тьмы — Сатану. Он гнездится в могилах, среди нечистот, крови

и струпьев (как говорит Евсевий), вид нечистых животных: верблюда, свиньи (говорит св. Иероним), отравляет воздух (говорит Лютер). Таким он изображен на многих средневековых фресках. А чтобы понять связь этого образа с темой четырнадцатой симфонии, вспомним, что одно из его употребительных имен — Князь Смерти, и в Евангелии он называется «человекоубийцей от начала». Да ведь и в тексте, которым воспользовался Шостакович, имя Вельзевула упоминается во второй же фразе.

Теперь сразу же вспоминается, что и другие образы, встречающиеся в текстах песен — невесты, ждущей жениха, смерти как избавления из плена, замурованного узника — типичны для мистической литературы (например, они стандартны в германской средневековой мистике).

Ни в какой мере я не хочу утверждать, что эти замечания делают симфонию Шостаковича кристально ясной, что они полностью уничтожают то чувство затрудненности понимания, о котором я говорил вначале. Если моя основная мысль правильна, то так оно и должно быть. Слишком далек от духа современной культуры весь тот строй мыслей, на котором симфония основывается. Да думаю, не менее он непривычен и для композитора и вряд ли хоть в какой-то мере воспринимается им сознательно. И, наконец, он чужд и современной музыке, она не имеет для него языка.

Было бы, пожалуй, натяжкой признать четырнадцатую симфонию произведением религиозного искусства — наравне, скажем, с музыкой Шютца или Баха. Слишком явно в ней господствует ощущение непроглядного мрака, безысходной тоски. «Реквием», который Моцарт, по твердому его убеждению, писал на свою смерть, золотисто светится красотой н а й д е н н о г о ответа. А из музыки Шостаковича дышит ужас существования — не жизни — б е з э т о г о о т в е т а. Так понятые, разве не становятся и образы текстов ясными и убедительными? Можно ли выразить это существование в лучшем образе, чем «могила без креста», на которой все, что ни вырастет — красота (и красота музыки!) — все проклято? Разорвав связь с Богом, человек оказывается отрезанным и от мира, замурованным в своей индивидуальности. И опять прекрасный, глубоко символичный для всего современного человечества, образ узника в темнице, в которой «только двое — я и рассудок мой». А третьего — Бога — нет.

Если в музыке Шостаковича и нет явного положительного отражения Божественной Правды, то невозможность жизни без этой Правды показана в ней так, как нигде во всем Искусстве. Этой своей стороной она обращена к религии.

б) **Трио.** Эти же соображения можно попробовать применить и к другим произведениям Шостаковича. Через многие из них проходит образ, на который часто обращали внимание, — Злой Силы, Зла. Ему давали много толкований, чаще всего социальных, связывая его с современной композитору действительностью. Так, часто видели в этом изображение германского фашизма — хотя совершенно непонятно, почему Шостакович через годы после окончания войны так страстно пытался бы изобразить психологию фашизма. Еще менее убедительное объяснение: что это картина мрачных сторон дореволюционной России, — которую Шостакович и увидеть-то не успел. Был распространен и такой взгляд, что Шостакович отражал мрак, который он ощущал в то время, в которое он жил, в собственной своей стране, — но мне это объяснение не кажется исчерпывающим. Конечно, на художника не могла не влиять окружавшая его жизнь, может быть именно эти впечатления дали ему первый толчок. Но мне представляется, что в музыке Шостаковича речь идет о каких-то глубинных проблемах, связанных с существованием Зла в мире, об истинах, затрагивающих саму природу человека, лишь одно из проявлений которых можно наблюдать в нашей истории.

Человек, мыслящий мистически, нашел бы, вероятно, вполне адекватное выражение этого образа — Антихрист. К этой теме Шостакович возвращался снова и снова (особенно ярко она выражена в 7-й и 8-й симфониях, в трио). И если предложенное объяснение правильно, то он, по-моему, создал наиболее глубокое толкование образа Антихриста во всем мировом искусстве.

Обычно, например в «Трех разговорах» Соловьева, исходят из того, что Антихрист своими д е й с т в и я м и стремится погубить человечество. Но он есть антитеза Христа. Христос же показал людям столь высокий образ красоты, что прежняя жизнь стала для человечества уже невозможна. Можно мыслить тогда, что роль Антихриста — показать Образ Зла, столь темный, что он способен затмить, сделать бесцельными все лучшие стремления человечества.

Такая концепция, как мне кажется, встречается в музыке Шостаковича.

Одно из самых совершенных произведений Шостаковича, стоящее под знаком этой темы, — его трио, в особенности это относится к двум его последним частям. Конечно, бессмысленно искать его программу. Если даже в произведении, написанном на текст, не он раскрывает сущность произведения, то тем менее это может сделать придуманный «пост фактум» текст, программа. Поэтому нижеследующая фантазия имеет целью только характеризовать то умонастроение, в котором, по-моему, следует воспринимать это трио.

Фоном драмы служит конец мира. Войны, гражданские войны, взаимное истребление — как будто сдвинули ось природы. Началась чума, реки вышли из берегов, море пошло на сушу. Землетрясения разрывают землю. И тут до сознания и битников и академиков-атомщиков стало доходить, что это — конец мира. Откуда ждать спасения? Молиться? Но и отцы и деды их забыли, что это такое.

Правда, остался один человек на земле, который сохранил веру в Бога. Может быть, это был Римский Папа, которого давно изгнали из Ватикана и который многие годы спасался в пещере. К нему стали стекаться толпы. Под звуки мерно рушащихся гор он все глубже и глубже уходит в молитву, в которой смешаны скорбь и вера в то, что даже один человек способен спасти мир.

Тут начинается самое сильное место произведения, ради которого оно, думаю, и написано. В пещеру отшельника нечто не то вползает, не то втекает. Это или змейка или струйка тумана. Оно ползет и переливается, как переливается змея. Все больше и больше его втекает в пещеру. Оно растет, корчится и кривляется, хохочет и плачет. Чувствуется, что здесь совершается какой-то космический ритуал, танец. Оно уже закрыло весь мир, затмило солнце. И с такими же стонами и хохотом оно вытекает из пещеры.

Звучат опять торжественные аккорды молитвы, но в них чувствуется теперь слабость. И икона на стене не так свята, как прежде, и лампада перед ней не такая ясная. Тема молитвы, спасения перепутывается с той скользкой, ползучей темой. Вместе они замирают. Конец.

в) **Восьмая симфония.** Это, мне кажется, величайшее творение Шостаковича. Ее громадная первая часть является как бы самостоятельной симфонией — я не буду здесь о ней говорить, она требует отдельного разбора. Для второй части, как говорят, Шостакович сам указал заглавие: «Дурак шествует по жизни». Можно было бы даже сказать «дурак властвует над жизнью» — в бодрой теме чувствуется тупая и самодовольная сила, весело похохатывая, давящая все, что ей непонятно. Центральная тема следующей части сразу вызывает образ какого-то мучительного переливания, пытки, прерывающейся взрывами хохота. Сначала представляется средневековая картинка, изображающая камеру пыток: заплечные мастера заняты своим делом, а на переднем плане уселись два шута, перебрасывающие друг другу бутылку вина и отпускающие остроты. Но вслушавшись и вдумавшись, чувствуешь, что здесь подвергается пытке не человек, а нечто бóльшее: Добро или все Человечество. Резко оборвавшись, эта часть без перерыва переходит в следующую — Пассакалию. Характер музыки совершенно меняется, вместо вскриков и хохота предшествующей части слышны какие-то шорохи, еле различимые стоны. Представляется громадное поле, еле видимое в сумерках, покрытое грудой тел, где не различишь трупов от еще живых. Изредка раздается вздох — может быть предсмертный. Где-то подымается рука и опять падает...

Поразителен финал симфонии. Эта нежная, какая-то убаюкивающая музыка нагоняет даже бо́льшую тоску, чем ужасы предшествующих частей. Мне передавали, что Шостакович дал этой части «заглавие»: «Пастораль. В космическом пространстве Земля летит навстречу своей гибели». У меня финал 8-й симфонии ассоциируется с явлением, игравшим столь большую роль в Истории, — УТОПИЕЙ. Это поразительно, как все без исключения Утопии оставляют ощущенне тоски, иногда даже ужаса — и чем талантливее она написана, тем сильнее это ощущение. Казалось бы, автор берется придумать самое счастливое состояние человечества и при этом освобождает себя от обязанности доказать реальность, осуществимость своих мечтаний — какой простор для самых радужных фантазий! А в результате всегда выходит что-то гнетущее, вызывающее тоску. По-видимому, потому, что картина человеческого общества, не выросшего органически, а логически сконструированного, как строят механизм, воспринимается нами как превращение людей в заводных кукол, как изящиая и остроумно сконструированная смерть человечества. Этот образ изящной, ласковой смерти видится мне в финале 8-й симфонии (в этом смысле и есть «Пастораль»).

Вероятно, эти примеры достаточно ясно определяют ту линию в музыке Шостаковича, которую я хотел очертнть и которую считаю самой глубокой в его творчестве, может быть, его центром: это вопрос о смысле Зла и его роли в мире. Проблема Смерти включается сюда как частный или предельный случай: смерть есть крайнее Зло и его самое полное проявление. Точно так же, как и этот частный случай, и вся проблема Зла может быть предметом обсуждения лишь в рамках религиозного понимания мира. Иное мировоззрение капитулирует перед наиболее последовательным проявлением Зла (например, смертью) — признает его неизбежным и в принципе необсуждаемым, а другие проявления считает внешними недостатками строения человека или общества, устранимыми при помощи технических усовершенствований. Христианство СТАВИТ проблему Зла при помощи концепции грехопадения и первородного греха и открывает путь к пониманию роли Зла в наиболее полных его проявлениях, — например, в духе цитированного выше отрывка из ап. Павла. Как это ни странно звучит, когда речь идет о Шостаковиче, — весь этот круг вопросов относится к БОГОСЛОВИЮ и давно обсуждается там под названием «Теодицеи» — оправдания Божественной справедливости, согласования ее с существованием Зла.

Можно даже попытаться в очень общих чертах сформулировать, что же нового вносит музыка Шостаковича в понимание этого древнего вопроса. Насколько я себе представляю (и насколько вообще возможно столь суммарное обсуждение такого тонкого вопроса), точка зрения христианского богословия заключается в признании глубинного, но **не равноправного** характера обеих категорий: Добра и Зла. Оно, во-первых, исходит из **первенствующей** роли Добра, из того, что мир создан Единым и Всеблагим Богом, но, во-вторых, поимает и Зло как более глубокую сущность, чем просто недостаток социальной нли психической организации, — через концепцию грехопадения ангелов и человека, приведшего к тому, что «мир во зле лежит». Мне кажется, что это единственно возможная **устойчивая** концепция, т. е. такая, которая не приводит к противоречию и самоотрицанию в результате своего логического развития.

Но, по-видимому, в господствующей тенденции богословия центр тяжести лежал в уяснении первой из этих двух взаимосвязанных концепций — в понимании подчиненного характера Зла, его интерпретации как отсутствия Добра. Так, св. Дионисий Ареопагит говорит:

«Для всех: и умов, и душ, и тел зло состоит в бессилии обладать свойственным им благом и в отпаденни от него»; или, св. Максим Исповедник:

«Зло есть недостаток деятельности присущих естеству сил в отношении к их цели и решительно ничего больше», а св. Григорий Нисский сравнивает грех с тенью (хотя последнее сравнение очень емкое: если тень есть отсутствие света, то ведь должен существовать и предмет, отбрасывающий тень). Но История — и тем больше, чем ближе к нашему времени — заставляет обратить внимание на другую, до сих пор менее продуманную сторону — на роль Зла как АКТИВНОЙ СИЛЫ. В своей последней и, может быть, самой глубокой работе В. Соловьев с характерной для него четкостью формулирует проблему: «Есть ли **зло** только естественный **недостаток**, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная **сила**, посредством соблазнов **владеющая** нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь опоры в ином порядке бытия?» Мне кажется, что творчество Шостаковича, основывающееся на новом опыте человечества и особенио нашей страны, является и новой ступенью в поиимании этого вопроса.

Возникает вопрос, — как же сам Шостакович оценивал эти свои произведения? Конечно, иет оснований сомневаться в его искренности, когда он писал, что 7-я симфония посвящена войне с немцами, или, говоря о 14-й симфонии, цитировал комиссара гражданской войны Н. Островского. Мне кажется совершеино неправдоподобным предположение, что ои таким образом хотел «облегчить жизнь» своим произведениям. Нельзя однако исключить, что подобные аргументы, усвоенные изо всей окружающей атмосферы с самого начала сознательной жизнн, способствовали вытеснению в подсознание некоторых решающих для творчества композитора переживаний. Минуя его сознание, эти идеи находили какой-то прямой путь в его произведения, а сознание только подбирало объяснение, которое спасло бы автора от слишком резкого (а возможно и гибельного) конфликта с окружающим миром.

Так можно понять некоторые другие черты Шостаковича. Проблема Зла (или, говоря другим языком, Греха) — одна из самых глубоких, недаром Достоевский свой главный роман хотел назвать «История великого грешника». Но это тема и небезопасная для исследователя: погружение в стихию Зла не может пройти для человека бесследно, если он не обладает надежной защитой, а такой защитой может быть, вероятно, только глубокая вера. Этой защитой Шостакович не обладал, и таково, по-видимому, объяснение неудач и падений в его творчестве или его печальиых общественных действий (хотя в самые тяжелые для него моменты он радовал нас своим мужественным достоинством). В этом он повторил судьбу своей страны: колеблющийся между Светом и Мраком, падающий и подымающийся, но все же пробивающийся к Свету.

II

Русская культура, очевидно, не может быть понята как одна из национальных ветвей западноевропейской культуры — она слишком явно в эти рамки не укладывается. Но если искать эталон для сравнения духовного развития России в «Послепетровский» или, точнее сказать, «Послепушкинский» период, то таким эталоном естественно окажется культура Западной Европы. И при этом сопоставлении особенно ярко выделяется одна черта, специфическая только для русской культуры и резко отделяющая ее от духовных влияний, господствовавших в это же время на Западе. Я имею в виду то, что все самые высокие достижения русской культуры этой эпохи были неразрывно связаны с христианством.

Яснее всего это видно в русской литературе. Общеизвестны примеры — Гоголь, Достоевский, Толстой. Но мне кажется, что и духовный путь Пушкина подтверждает это наблюдение. Он шел от «ренессансного» равнодушно-иронического отношения к религии через тонкокощунственную «Гавриилиаду» к исполненным христианским смирением «Повестям Белкина» и «Капитанской дочке» и к его последнему стихотворению «Отцы пустынники и жены непорочны». Другая область — русская философия: Хомяков, Достоевский, Соловьев, Бердяев, Булгаков, Флоренский (конечно, прав Бердяев, считая Достоевского также и крупнейшим русским философом). В музыке — творчество величайшего композитора этого периода Мусоргского все пропитано православием: церковными песнопениями, колокольными звонами. В живописи, крупнейшие художники — Васнецов, Врубель, Рерих расписали такое неисчислимое количество церквей и монастырей, что иногда кажется — не были ли они в первую очередь иконописцами, для которых «светская» жизнь была второстепенным делом? И наконец, пожалуй, самое поразительное явление — традиция православных святых и учнтелей: Серафима Саровского, Оптинских старцев, Иоанна Кронштадтского. Бердяев отметнл любопытный факт: св. Серафим Саровский и Пушкин — величайшии русский святой и величайший русский гений — жили в одно время, а ни одии из них, вероятно, не знал о существовании другого. Мне кажется это не столь удивительным: если бы в Германии на рубеже XVIII и XIX веков жил монах и учитель типа Серафима Саровского, то очень вероятно, что Гете о нем тоже не знал бы. Но гораздо удивительнее и именно характерио для России, — что эти две линии духовного развития оказались связаиными: что в Оптину пустынь ездили Гоголь, Достоевский, Леонтьев и Соловьев, и даже Толстой, предчувствуя приближение смерти, бежал туда, иесмотря на всю его антипатию к Церкви.

Правда, так часто мы слышали о «передовой русской литературе Белинского — Герцена — Чернышевского — Добролюбова — Писарева». Но, прежде всего, это вообще не литература, а критика. А если попытаться оценить дерево по его плодам, то к этому направлению из литературы мы, как самые высшие достижения, сможем отнести лишь Некрасова и Щедрина. Зато в лице своих наиболее ярких представителей это течение поняло Пушкина — как певца дамских ножек, Достоевского — как «Федюшу из Тетюши», припадочного дурачка, а Толстого — как интеллигентского хлюпика, юродствующего во Христе. Все вершины русской литературы (как и всей духовной жизни) — относятся к христианской линии ее развития.

Здесь можно говорить не об ОТЛИЧИИ, а ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ в этом отношенин русской и западноевропейской культуры. Образ «православного инока» — старца Зосимы — был бы невозможен не только у Анатоля Франса, но и у Мопассана и даже у Диккенса, так же, как невозможно представить себе Матисса или Сезанна, расписывающими церкви. В этом смысле, когда Маркс и Энгельс писали, что «ненависть к России есть первая революционная страсть немцев», они выражали в крайней форме отношение гораздо более широкнх кругов Запада, чувствовавших в России, во всем направлении развития ее культуры, чуждую, непонятную и пугающую силу. Этим можно объяснить и то, что западное общественное мнение до революции так враждебно относилось к России, и то, что революция была принята Западом так благосклонио, несмотря на то, что грозила разрушнть его спокойствие и материальное благополучие.

Революция положила конец этому направлению развития русской культуры: если Блок и Маяковский еще его отражают негативно, в форме демонизма и богоборчества, то на смену им идут жаровы и багрицкие, у которых уже нельзя обнаружить никакой преемственной связи с русской литературой; русская школа религиозной философии обрывается гибелью о. Флоренского... И это не случайность — в полном разрыве с духоаной основой прежней культуры заключается самая суть революции — не только нашей, но и самого понятия, «идеи» революции.

Пытаясь осмыслить Историю, можно исходить из двух концепций человеческого общества: либо считать его о р г а н и з м о м, в котором каждая следующая фаза есть результат всего предшествующего развития, либо рассматривать его как м е х а н и з м, который предназначен для выполнеиия определенной фуикцин и который можно любым образом перестроить, если в этом появилась необходимость и если появилась счастливая идея решения соответствующей конструктивной задачи. Наиболее последовательной формой теоретического осуществления второй точки зрения является Утопия — план перестройки общества или чаще постройки заново, а формой воплощения в жизнь — революция. Если отвлечься от той окраски, которую эти термины получили в накале партийных распрей, то правильно было бы называть первую точку зрения консервативной (или почвеннической), а вторую — революционной. И сейчас, например, в оценках положения нашей страны или в составляемых проектах можно очень четко увидеть, к какой из двух концепции примыкает автор.

В своей устремленности к будущему, к «новой жизни» революция кажется воплощением жизненного начала. Но эта видимость обманчива. Отрицая концепцию живого организма и ставя на его место концепцию механизма, каждая революция явлиется победой идеи Смерти. Прокламируемый революцией разрыв с прошлым (отраженный, иапример, в штампе «проклятое прошлое») для каждого живого организма равносилен разрыву непрерывной нити жизни, то есть смерти. По глубокой мысли Бердяева, для всего **живого** прошлое не менее важно, чем будущее, они неразделимы — в этом он видит смысл заповеди «Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и будешь ты долговечен на земле».

С этой точки зрения революция не только исходит из понимания общества как мертвого механизма, но и стремится **привести** общество в это состояние, лишая его основного свойства всего живого — непрерывности развития, связи с его историческими корнями.

Такая характеристика относится к «и д е е» революции, но каждая к о н к р е т н а я революция, совершившаяся в определенное время над определенным народом, всегда есть смешение этой универсальной идеи с многочисленными воздействиями, исходившими от этого времени и этого народа. Насильственный характер революции тем самым указывает на вызванное ею сопротивление — духовное и материальиое. А сопротивление всегда в какой-то мере препятствует полному воплощению принципов, заложенных в самой идее. Для осмысления судьбы России, пережившей революцию, основным является вопрос: в какой мере общие тенденции революционной идеи воплотились в жизнь в нашей стране? Этот вопрос имеет много аспектов: экономический, государственный, национальный и т. д., но, пожалуй, важнее всего аспект духовный. Иными словами, речь идет о том, чтобы попытаться оценить, насколько радикальным был разрыв с традицией русской культуры.

Долгое время могло казаться, что разрыв был абсолютным и, например, появление Солженицына воспринималось как чудо. Он был прямой противоположностью типа «внутреннего эмигранта», творил на самом жгучем современном материале, а по своему духовному оснащению настолько прочно следовал традиции русской культуры, что как будто и не замечал в ней никакого разрыва. Мне кажется, что сейчас есть возможность осознать это явление как часть еще большего чуда: ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ВООБЩЕ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ, она лишь не была заметна, уходя вглубь с поверхности жизни, а часто ее проявления были замазаны чуждой или враждебной рукой.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей...

Так, уже после появления первых произведений Солженицына, стал известен «Мастер» Булгакова, открывший нам глубокого религиозно-мистического мыслителя, о существовании которого мы до того и не подозревали. Но тогда приходит на ум, что та же традиция проявляется и у Ахматовой, и в последних стихах Пастернака, хотя и начинавшего как футурист. Восстановление этой преемственности есть основная предпосылка будущего развития русской культуры, вопрос ее жизни.

Все предшествующее отступление было необходимо, чтобы можно было сформулировать основную мысль этой статьи. В первой ее части мы пытались доказать, что творчество Шостаковича имеет религиозно-мистическую основу, оно вращается в кругу проблем, обсуждавшихся отцами Восточной Церкви, Достоевским или Соловьевым. В этом смысле, в музыке, Шостакович играет такую же роль, как в литературе Ахматова, Булгаков, или Солженицын; его творчество является основным звеном, связывающим в этой сфере современность с духовными основами русской культуры. Поэтому его дальнейшее изучение и понимание представляется мне глубокой и важной задачей: это борьба с гибельной опасностью отщепенства,

работа на пути осознания русской культуры (а, значит, и России) как живого целого.

Есть и другой вопрос, относящийся уже не к русской, а к общемировой культуре, для ответа на который много может дать понимание творчества Шостаковича. Последние несколько веков выделяются изо всей Истории тем, что это, вероятно, те единственные столетия из насчитывающей много десятков тысячелетий истории человечества, когда религия не является для него основной руководящей силой. Из наличия захоронений можно заключить о существовании религии в палеолите, а о ее роли в жизни тогдашнего человечества можно судить по аналогии с современными первобытными народами, часто вымиравшими в результате разрушения их религиозной жизни. Греческую культуру мы знаем по храмам, статуям богов или трагедиям, созданным на мифологические сюжеты. Позже европейская культура основывается на христианстве. Но последние столетия влияние религии на жизнь человечества непрерывно падает. Великие географические открытия, стремительное развитие науки и техники, промышленная революция, борьба за всеобщее избирательное право, создание индустриального и сверхиндустриального общества — вся эта деятельность если и не была враждебна религии, то протекала совершенно независимо от нее, как бы в другом пространстве. Но проявляется и прямая вражда к религии — целые государства объявляют себя враждебными любой (а не какой-либо определенной) религии, начинаются гонения на религию.

Поразительно в этом процессе то, что здесь не выдвигается никакой альтернативы религии: она просто отбрасывается без попытки заменить ее чем-то высшим. Как бы ни оценивать роль религии, представляется весьма вероятным, что благодаря этому происходит грандиозное духовное опустошение человечества, которое может привести к его духовной (а тогда вероятно и физической) гибели. Возникает основной вопрос: является ли эта тенденция последних веков лишь временной болезнью человечества или необратимым процессом?

Вопрос этот отражается в любой области культуры, в частности и в музыке. Здесь можно обратить внимание на то, что в последние десятилетия пишут много музыки религиозного характера. Из наиболее знаменитых примеров — «Симфония Псалмов» и «Кантата Святого Марка» Стравинского, «Глория» Пуленка, «Страсти от Луки» Пендерецкого. Но все эти произведения вызывают вопрос: не стилизация ли это? Быть может, это подражание старинным образцам, а не передача собственных чувств — типичный продукт упадочного искусства. Здесь музыка Шостаковича — особенно тонкий индикатор. Если правильно то понимание его творчества, которое предложено в этой статье, то религиозные основы музыки Шостаковича не осознавались самим композитором, а это полностью исключает возможность того, что его музыка подражательна. Но именно поэтому для него закрыт и путь использования традиционных форм религиозной музыки — хоралов, псалмов, месс. Это и придает его музыке такую силу: «новое вино не вливают в меха старые».

И если наше толкование творчества Шостаковича правильно, тогда необычайная популярность его музыки, его мировая слава являются важнейшим симптомом: они указывают на то, что в душе современного человечества есть мощные пласты религиозного чувства, которые пока им ощущаются лишь подсознательно, но могут стать основой для возрождения сознательного религиозного понимания мира.

●

МИХАИЛ ЛАПШИН

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА

к 150-летию со дня рождения Д. И. Писарева



Дмитрий Писарев рос быстро и стремительно. Этому способствовали революционные работы А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Этому способствовала общественная атмосфера начала шестидесятых годов.

С 1861 года Дмитрий Писарев начал активно сотрудничать в прогрессивном журнале того времени «Русское слово», став его ведущим критиком и соредактором. Работал в журнале до его закрытия. В 1862 году написал антимонархическую прокламацию, за что был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где провел более четырех лет.

В этой прокламации о Шедо-Ферроти Дмитрий Писарев писал: «Посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дальше терпеть насилие, прикрывающееся устарелою формой божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, правительство все проглотило; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты... тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами, как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается. Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа... Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть».

Через год после ареста Дмитрий Писарев получил разрешение писать и печататься. Годы заточения — расцвет литературной деятельности Писарева и его влияния на русское освободительное движение.

В критике Дмитрия Писарева нашли тонкое и вдумчивое истолкование такие различные произведения русской литературы его времени, как «Отцы и дети» И. С. Тургенева («Реалисты»); «Что делать?» Н. Г. Чернышевского («Мыслящий пролетариат»); произведения Л. Н. Толстого («Промахи незрелой мысли»); повести Н. Г. Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов» («Роман кисейной девушки») и его же «Очерки бурсы» («Погибшие и погибающие»); «Трудное время» В. А. Слепцова («Подрастающая гуманность») и «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского («Погибшие и погибающие»). В этих статьях талантливый критик показал и, главное, доказал, что такие ценности, как Родина, Отечество, мир, семья, любовь, труд, свобода, знание, справедливость, совесть, достоинство, милосердие — непреходящи. Их надо беречь и умножать.

В мае 1866 года, после каракозовского выстрела, журнал «Русское слово» разделил участь «Современника» — был закрыт... «за вредное направление». После этого Дмитрий Писарев стал работать в другом журнале. 3 июля 1867 года он в письме к матери сообщает: «Ко мне неожиданно явился утром книгопродавец Звонарев и сообщил мне, что Некрасов желал бы повидаться со мною для переговоров... Если, дескать, Вы желаете, Николай Алексеевич сами придут к Вам, а если можно, то они просят пожаловать к ним сегодня утром. Я ответил, что пожалую — и поехал. Прием был, разумеется, самый любезный. С первого взгляда Некрасов мне ужасно не понравился... Но уже минут через пять свидания прелесть очень большого и деятельного ума выступила передо мною на первый план и совершенно изгладила собою первое неприятное впечатление. Было говорено достаточно... о предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел. Практический результат свидания получился следующий. Некрасов просил написать меня... статьи две-три... о чем я сам пожелаю». Н. А. Некрасов пригласил Дмитрия Писарева к сотрудничеству в журнале «Отечественные записки».

Многогранная публицистическая деятельность Дмитрия Писарева была проникнута единой мыслью, единым чувством, единым стремлением: разжечь в России освободительные идеи, доказать, что участие в революционной борьбе есть прямой патриотический долг каждого честного человека, любящего свою родину и желающего видеть ее сильной и процветающей.

Анализируя эстетические позиции Дмитрия Ивановича Писарева, нужно сказать о его заблуждениях и ошибках, о его перехлестах и крайностях. В яростном сражении с литературной реакцией и с так называемым чистым искусством он наносил неоправданные удары, по его иронической квалификации, таким «милым лирикам», как А. Фет, Я. Полонский и А. Майков.

Горя желанием привлечь внимание к насущным нуждам демократического движения, к общественной роли литературы, критик и его друзья поднимали на щит такую прозу, как роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», такую поэзию, суть которой выражена в лермонтовской строфе: «Твой стих, как божий дух, носился над толпой, И, отзыв мыслей благородных, Звучал, как колокол на башне вечевой Во дни торжеств и бед народных».

На вопрос «Что делать» Дмитрий Писарев отвечал однозначно: «Делать нужно революцию!». Нужно действовать. А действие, по разумению критика, начинается со слова. Оно, по его мнению, имеет большую силу. Он стоял и проповедовал слово, которым можно было... «полки за собой повести».

Успехи или неудачи литератора в конечном счете зависят не только от одаренности, но и от соответствия его миропонимания прогрессивным устремлениям эпохи, передовым воззрениям времени. В первую очередь — это умение найти живую связь с современностью, увидеть характерное в жизни людей, отразить их помыслы и общественные идеалы.

Дмитрий Писарев масштабно мыслил, глубоко проникал в самые различные пласты народной жизни, обладал объемным размахом анализа и синтеза.

Искренние ошибки его извинительны, потому что и политическую речь, и напористую публицистику, и программу социальной жизни, и даже философскую систему можно построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи. Сколько тому примеров в русской и мировой истории. Писарев же, как правило, ошибался в полемическом задоре. Он говорил, что его обуревала страсть. А она, как известно, духовное богатство человека.

В одной из своих статей «Прогресс в мире животных и растений» он писал: «Я именно того и хочу, чтобы моя статья возбудила в читателе любознательность, но не удовлетворила бы вполне, пусть он увидит, как умен Дарвин, пусть почувствует, что я не в силах передать то впечатление, которое производит чтение самой книги, и вследствие этого обругает меня и возьмется за сочинение самого Дарвина. Цель моя будет в этом случае вполне достигнута».

Тяжелые годы заточения в Петропавловской крепости были заполнены напряженной борьбой и показали величайшую убежденность его, непоколебимое мужество, стойкость, подлинный героизм. Оторванный от кипучей общественной деятельности, погребенный в мрачной камере, Писарев не сдавался. Ни на минуту не отказываясь от своих взглядов и убеждений, не поступаясь своими идеями — он оставался зажигательным примером служения трудовому народу. Все это не могло не отразиться на его здоровье.

Свой любимый журнал «Русское слово» Дмитрий Писарев пережил на два года. Он погиб во время морского купания на двадцать восьмом году жизни. Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.

Александр Иванович Герцен в «Колоколе» с глубокой скорбью отозвался на смерть Д. И. Писарева. «Еще одно несчастье, — писал он, — постигло нашу маленькую фалангу. Скрылась яркая звезда, которая много обещала, унося едва сложившиеся таланты, прекратив едва выдвинувшуюся литературную деятельность. Писарев — язвительный критик, иногда преувеличивавший, но всегда полный вдохновения, благородства и энергии...»

Дмитрий Писарев погиб, не дописав последней статьи, не долюбив, не доспорив. Все в его яркой жизни осталось незавершенным, кроме нее самой. Но известно, что живые закрывают глаза мертвым, а мертвые открывают глаза живым. Он на многое открыл нам глаза. Продолжает это делать и сейчас...

●

ЛАПШИН Михаил Александрович родился в Ивановской области. Участник Великой Отечественной войны. Прошел боевой путь от солдата до командира части. После войны окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и аспирантуру при кафедре советской литературы МГПИ им. В. И. Ленина. Автор книг «Каждой своей строкой», «Сергей Никитин», «Личность в литература», «Твои, Россия, сыновья», «Хорошие и разные» и многих статей в периодической печати. Доцент кафедры издательского дела и редактирования Московского полиграфического института.

МУЖИКИ

Вспомним, с каким интересом еще совсем недавно читались и обсуждались статьи экономистов и публицистов в «толстых» журналах, сулящие скорое оздоровление экономики. Но реальное положение дел оказалось иным. Наши так называемые «ведущие экономисты» все более увязали в попытках доказать сомнительные преимущества то очередных неработающих моделей хозрасчета, то частичной безработицы, то перехода на поголовное фермерство по заокеанскому образцу. Пренебрежение национальными особенностями в подобных экономических разработках, высокомерная «бездушность» и ориентация их на политическую конъюнктуру становятся сегодня все более очевидными. И тем ценнее в этой ситуации такая публицистика, которая свободна от умозрительного экспериментаторства, которая несуетно вникает в проблемы российской глубинки, в причины ее разорения, ищет пути к ее возрождению, памятуя о том, что «на чужой манер хлеб русский не родится».

Свойства эти присущи публицистическим статьям Анатолия Салуцкого, в которых он анализирует послевоенную историю российской деревни, смертельно уставшей от бесконечной череды всевозможных административных кампаний, разорявших ее не менее вражеских нашествий. Небеспочвенные опасения, как бы деревня не была вновь втянута в какую-нибудь еще более разорительную кампанию, на сей раз под перестроечными лозунгами, заставляют автора «Бедных и богатых» с особым вниманием рассмотреть обострившиеся споры вокруг идеи крестьянской общины и фермерского хозяйства. Споры эти начались не сегодня, но, кажется, только теперь появилась совершенно абсурдная мысль (которую не однажды повторял А. Стреляный вслед за Г. Лисичкиным), что в основе сталинского колхозного рабства лежала идея поземельной русской общины, тогда как и в сталинские времена, и позднее общинным самоуправлением в колхозах и не пахло. Прав, разумеется, Салуцкий, когда пишет, что именно в колхозе «вместо вольной артели со свободным сбытом продукции крестьянин угодил в шестерни командно-приказной машины».

В книге предъявлен серьезный счет и сделанному по сценарию А. Стреляного фильму «Архангельский мужик», вызвавшему восторги в прессе, в котором, однако, оказались совершенно не приняты во внимание, «загорожены» поэтическим фоном реальные нужды человека, крайняя неустроенность его быта, одиночество его детей. Авторы фильма, превознося хуторское бытие, подошли к нему весьма поверхностно.

Столь же мало, если вдуматься, озабочен судьбой отдельного человека и Н. Шмелев, предлагающий в «Авансах и долгах» создать некую летучую рабочую армию. А. Салуцкий справедливо называет экономику Шмелева «негуманной», видя в ней старые методы, попахивающие тридцатыми годами. Добавим, что, по сути дела, они впрямую заимствованы у Троцкого и обнаруживают у современного радикального демократа прямо-таки диктаторский оскал.

Внимание А. Салуцкого к духовному и историческому народному опыту приближает его публицистическую мысль к повседневным заботам и нуждам селянина, но не ограничивает ее лишь утилитарно-прагматическими задачами дня.

Лидия МЕШКОВА

Салуцкий Анатолий. БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ: Деревня сегодня. — М.: Профиздат, 1989.

ПОИСК ПРАВДЫ

Ежегодники «Категория жизни», выпускаемые издательством «Молодая гвардия», давно привлекают внимание читателей. Интерес этот объясняется тем, что на страницах сборника мы имеем возможность вновь встретиться с полюбившимися авторами, лучшими произведениями, опубликованными в периодических изданиях. Рассказы В. Белова «Деревенское утро», С. Залыгина «Кто тут?», А. Жукова «Поцелуй младшей сестры» — настоящее украшение новой книги.

Кроме этого, в сборнике появляются неизвестные произведения, представляющие новые авторские имена. Среди них Ирина Полянская с рассказами «Площадь», «Твой Чижик» и Александр Титов с рассказом «Пучков». Олег Хандусь попытался по-новому взглянуть на войну в Афганистане, жестко и беспощадно обнажить сущность любой войны («Он был мой самый лучший друг»).

Девиз этого выпуска ежегодника — «Мы и наше время» — побудил составителей обратиться к публицистике. Кто мы есть, откуда и куда идем, в чем смысл наших исканий правды, — вечные эти вопросы встают перед нами и сегодня, заставляя мучительно размышлять, а значит и приближая к истине.

Как всегда страстный призыв В. Распутина к пробуждению национального достоинства (очерк «Патриотизм — это не право, а обязанность») — это ответ на вопрос — как жить, на какую веру опираться: «Для государства разумом является прежде всего патриотическое сознание. Есть оно — государство крепкое, нет — огромные беды могут ждать это государство, и только слишком счастливый случай, да и то не без патриотического вмешательства, может спасти его».

Одним словом, нынешний сборник «Категория жизни» — так же своеобразная «летопись» нашего времени, и в этом не обманул ожидания читателей.

Л. ГУСЬКОВА

КАТЕГОРИЯ ЖИЗНИ: Рассказы, повести, очерки / Сост. и послесл. Э. Сафонова. — М.: Мол. гвардия, 1989.

СУДЬБЫ

«Следить за мыслями великих сынов Отечества: изучать их полные драматизма судьбы, знакомиться с документами архивов, с воспоминаниями современников, с литературными произведениями о них — рассказами, стихами, отрывками из романов», — так определяет свои задачи новая серия книг «Открытия и судьбы. Летопись научно-технической мысли России в лицах и документах» (издательство «Современник»). Первый том посвящен великому русскому естествоиспытателю, великому поэту и историку Михаилу Васильевичу Ломоносову, его произведениям и его личности, представленным в зеркале литературы и в памяти потомков. Такая многоплановость и многожанровость книги — от архивных документов до рассказа Бориса Шергина и исторической миниатюры Валентина Пикуля, от научных трактатов до стихов Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова, Сергея Маркова и Николая Рыленкова — позволяет представить именно «феномен Ломоносова» в русской науке и культуре. И, что не менее важно,— их единство, нерасчлененность на два почти не соприкасающихся ныне мира — науки и культуры.

Хочется надеяться, что в последующих томвх (если, конечно, они выйдут при нынешнем сокращении издательских планов и в первую очередь — офсетных изданий) создателям этой серии удастся представить нашим современникам всех великих первооткрывателей русской научной мысли, имена которых должен знать каждый: Николай Лобачевский — новая неевклидова геометрическая система, Александр Бутлеров — теория химического строения вещества, Дмитрий Менделеев — периодический закон химических элементов, Климент Тимирязев — энергетические закономерности фотосинтеза в растениях, Илья Мечников — открытие защитной реакции организма (фагоцитоза), Иван Павлов — учение о высшей нервной деятельности, Василий Докучаев — учение о генетике почвы и географических зонах, Константин Циолковский — теория полета космического корабля, Николай Вавилов — учение о биологических основах селекции, Владимир Вернадский — учение о ноосфере (сфере разума), Александр Чижевский — открытие связей биосферы Земли с солнечной деятельностью... Издание таких двенадцати томов летописи научно-технической мысли России (раньше она называлась более точно — естествознание), вне всякого сомнения, продиктовано чувством долга и чувством ответственности перед прошлым и будущим России.

М. МАЛЫШЕВА

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем / Сост. Г. Е. Павлова, А. С. Орлов. — М.: Современник, 1989. — (Открытия и судьбы. Летопись научно-технической мысли России в лицах и документах).

ЕЛЕНА КАЗЬМИНА

ВОЛОГЖАНЕ ФЕДЫШИНЫ



Иван Васильевич и Екатерина Николаевна Федышины.

ИХ КРЕМЛЬ

От бывшего консисторского корпуса до палат Казенного приказа и Архиерейского подворья две-три минуты хода. А укладывается в них многовековая история Вологодского Кремля, тяжкие семь десятилетий после Октября и многотрудная судьба трех поколений семьи вологжан Федышиных.

Пришедшие по-северному рано густые полуденные сумерки несут благостиую тишину и сосредоточенный покой... До закрытия музея еще добрый час, во дворе Архиерейского дома пусто, редкие посетители торопливо выбираются за узорные ворота, и никто, даже задумчиво сидящий посреди дорожки огромный кот, не тревожит смело хозяйничающих на снегу ворон, которых здесь, как и во всяком нежилом месте, множество. Все привычно, все сродни здесь поспешающему рядом со мной человеку. И накрепко вросшие в землю под тяжестью лет древние, но крепкие оградительные стены, и приземисто-основательные, но не лишенные изящества старинные белокаменные палаты, и причудливая резьба роскошного Архиерейского дома... И все же мой спутник неожиданно чуть укорачивает шаг и глядит восхищенно, как сбоку, загораясь от вечернего света торжественно мерцают вознесенные в темное небо сурово-строгие купола Софийского собора...

«Что на славной реке Вологде, во Насоне было городе, где доселе было — Грозный царь основать хотел престольный град для своего ли для величества и для царского могущества; укрепил стеной град каменной со высокими со башнями, с неприступными бойницами; посреди града он церковь склал, церковь лепую соборную...» И хотя не стала Вологда «престольной столицей», а от «града каменного» только и осталась величественная София, но под сенью священных ее куполов сотни лет цвела, богатела, радовалась и страдала вологодская земля. София освящала смерть и рождение вологжан, их муки и страдания, их подвиги и предания...

Так было и шестьдесят лет назад, когда здесь, в Кремле, под сенью Софии раздался крик младенца и у Екатерины Николаевны и Ивана Васильевича Федышиных родился сын Николай. И неслись ввысь купола, по-весеннему было радостно и тихо, вовсю благоухал и цвел еще невырубленный архиерейский сад. Но не ведали в ту минуту родители, что судьба их первенца предопределена их судьбой, что в наследство от них он получил упорный крестьянский характер, бескорыстное служение отечественной истории и культуре, беззаветную преданность музейному делу, получил родительскую профессию и сам Кремль, овеянный легендами, — ставший и его домом, постоянным местом жительства, вековечным местом работы, предметом влюбленности и пристрастного изучения.

Много лет седые, разрушительно тронутые временем кремлевские стены и федышинский род были взаимной опорой и защитой друг другу. Только несколько лет назад всю жизнь прожившее в коммунально-поделенных «кремлевских палатах», без привычного комфорта и удобств, семейство Николая Ивановича Федышина получило наконец квартиру. Опустел когда-то многолюдно заселенный Кремль, и музей окончательно «овладел» своей территорией. Но по-прежнему ничего не укрывается от пристального федышинского взгляда. Ни ведущаяся внутри Кремля реставрация, искажающая исконный облик старинных зданий, ни неверная классовая трактовка истории самого Кремля.

Как-то Федышин поинтересовался и поднял на досуге документы далекой поры и выяснил, что строительство укрепленного Архиерейского дома вовсе не связано впрямую с обороной от воинства Степана Разина, как считалось долгое время. Строить Кремль «реакционное духовенство, богатые вологодские помещики и купцы» начали не оттого, что «испугались справедливого народного гнева», а задолго до восстания, и не было «каторжного труда строителей, с которыми расплачивались крохами хлеба», и «голода, косившего их...». Работа велась планомерно, строители получали хорошие деньги, и даже с мальчиками, держащими при работе свечи, расплачивались по труду — сполна. Обо всем этом Николай Иванович рассказал на научной конференции, но в сборнике, выпущенном по ее итогам, его статьи не оказалось. А самого Федышина вызвали к начальнику областного управления культуры, который попытался его урезонить и растолковать ему, в каком свете надлежит видеть историю народа...

ЧУДОТВОРЕЦ

Николаю Ивановичу дали имя самого любимого и почитаемого на Руси святого. Епископ из IV века Николай Мирликийский за свое аскетичное, праведное житие, заступничество, покровительство и защиту бедных, слабых, обиженных, признаный святым, стал Николаем — Николай Угодником, Святителем, Заступником, Чудотворцем... «Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая; отче священно-начальние Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим».

«Смирением высокая, нищетою богатая...» Мы стоим перед одной из самых древних икон в коллекции вологодского музея — Никола, XIV век... Николай Иванович, внешне немного похожий на Святителя, задумчиво сдержан, отрешен... Чуткие его руки — тончайший, чувствительнейший инструмент — мгновенно определяют невидимые неопытным глазом следы реставрации, поздней записи, потерь...

В экспозиции Вологодского музея несколько десятков первоклассных икон, и большинство из них раскрыто и отреставрировано учителем Федышина Александром Ивановичем Брягиным еще в 20—30-е годы и самим Николаем Ивановичем. На юбилейной выставке, приуроченной к шестидесятилетию Федышина, было собрано все, сделанное им за эти годы — около ста произведений! А реставрация иконы — дело медленное, кропотливое, осваивается по сантиметрам и длится иногда годами. Оставаясь один на один с иконой, он пристально вглядывается в светлые, возвышенные, одухотворенные лики, он открывает целые миры, далекие от нас.

Русская икона — мир особый. Древних иконописцев когда-то называли духовидцами за то, что, презрев земную злобу, муки и тяготы неправедной жизни, они в образах и красках воплотили высокую правду. В них — земное и небесное объединено добром и любовью, а человек, отвергнув сытую плоть, поборов в себе зло, возвышается духом. Они создали образ идеального мира и великое искусство.

Мы, к сожалению, уже давно утратили потребность представать в тихой сосредоточенности пред ясными строгими ликами, просить их о заступничестве, о спасении и освобождении несчастных душ наших... Ведь и сама нынешняя жизнь мелочна, суетна, жестока. Она полна тяжких забот о хлебе насущном, мучительно-болезненных, тревожных раздумий о прошлом и будущем, кровавых трагедий, несчастий и бед — минувших, нынешних, грядущих. И кто знает, что испытает человек, оказавшийся вдруг в этих тихих музейных залах под вопрошающе требовательным взором Богоматери или пронзительно-понимающим — Спасителя? Может, он познает, сколь трудно ныне утверждаться законам духа и красоты, возвышающим человека, когда кругом царствует зло и насилие? Может, он впервые задумается о смысле бытия, всегда одном и том же, не зависящем от условий, обстоятельств, времени? А может, не зная и не понимая религиозного содержания сюжетов и образов, он все же проникнется верой в целящую и вечную силу искусства?

Пройдем и мы по музейным залам, взглядимся в совершенные творения древних мастеров... Вот Зырянская Троица XIV века и Ветхозаветная Троица XVI века... Это любимая, главная тема древнерусской живописи — преодоление ненавистного разделения мира, символ соборности, объединение всего сущего на земле, как объединены во Едином Божеском Существе три лица Святой Троицы. Гордость и слава музея — Богоматерь Умиление Подкубенская, XIII век, Богоматерь на престоле, XIV век, Богоматерь Одигитрия, XVI век... Помощница, заступница, все ведающая, все понимающая своим сострадательным сердцем, несущая в нем и мировую скорбь, и мирскую радость, и одухотворенную любовь... Тут душа и кисть древнерусских иконописцев, освященная любовью, достигала высшего вдохновения... Спас в силах XV века... Спаситель, Христос, Богочеловек — в нем иконописцы чтили новый жизненный смысл... А в центре знаменитейшая икона с житием Дмитрия Прилуцкого — местного святого, основателя Прилуцкого монастыря, благословленного на подвиг во имя Веры Сергием Радонежским. Письмо несравненной кисти великого Дионисия...

А далее иконы из Деисусного чина Глушицкого Сосновецкого монастыря, спасенные от уничтожения Иваном Васильевичем Федышиным. Над реставрацией Архангела Гавриила из этого чина Николай Иванович Федышин трудился несколько лет, знает каждый штрих, каждую черточку. И все же, оказавшись вновь пред нежным и одухотворенным ангельским ликом, он замирает в тайном восторге от высочайшего мастерства и таланта иконописца.

ОТЦОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Когда-то один знаменитый философ сказал, что к величайшим произведениям живописи надо относиться как к Высочайшим особам: надо почтительно стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас внимания. Кто знает, когда икона впервые «заговорила» с родом Федышиных? Может, когда двенадцатилетнего Ивана Федышина, «обетного» ребенка из глухой вологодской деревни отправили послушником в Соловецкую обитель, и он чутким девственным сердцем открыл для себя высокую жизнь просвещенного духа? Или когда, учась в знаменитом московском училище живописи, ваяния и зодчества, уже осознанно разглядел древнерусскую икону и, потрясенный, восхитился мастерством и талантом могучих живописцев? Или, может, когда приехал в Вологду учительствовать и стал активным членом вологодского «Кружка любителей изящных искусств»? Местная творческая интеллигенция, как и вся Россия, впервые тогда во всей широте и блеске открыла для себя великую древнерусскую культуру, возвышенную, самобытную, национальную по духу и по форме. И открыв, поставила себя на служение этой культуре, став ее собирательницей, хранительницей, защитницей и пропагандистом. Иван Федышин был одним из них. И именно древняя икона дала ему уверенность в правильности и праведности своего пути, дала силу отвергать и смело сопротивляться всем воинствующим атеистам-безбожникам, разрушителям и хулителям русской культуры, которых на его жизнь выпало великое сонмище. На его глазах рушились привычные нравственные устои русской жизни. Насильственно уничтожался, утилитарно ограничивался цельный и могучий поток русской культуры. Терялась связь времен... Но Иван Васильевич и тогда безошибочным народным чутьем сделал свой выбор — икона явилась для него жизненным ориентиром в смутные, кровавые годы, стала духовной опорой.

Федышин-старший не был верующим человеком, но когда в 1924 году он пришел заведовать художественным отделом во вновь созданный Вологодский краеведческий музей, знал точно, что спасать от погибели надо прежде всего древнерусское искусство.

И этот по виду совсем обыкновенный человек в трудный час бесстрашно бросился наперерез оголтелой толпе, двинувшейся на разорение старинных колоколов... Так и остался на кремлевской колокольне сохраненный им многопудовый «Лебедь», подаренный Вологде Петром Первым за вклад вологжан в защиту Отечества, и вновь разносится над вологодской округой его мощный и светлый голос...

В самые страшные по накалу атеистических страстей времена, с 1924 по 1930 годы, чаще пешком, а когда повезет, на телеге, в дождь, снег, слякоть, любую непогоду, подтачиваемый чахоткой Иван Васильевич обошел, объездил, облазил сотни церквей, часовен, разоренных монастырей в самых глухих и дальних вологодских углах, разыскивая, отбирая, пряча, спасая от уничтожения ценнейшие реликвии. Около пяти тысяч икон, среди которых немало уникальных — XIV—XVI веков, было собрано им в ту пору в вологодском музее.

Незыблемо-спокойная вера Федышина-старшего в свою правоту и беззаветное, бескорыстное подвижничество были столь сильны, что благотворно воздействовали на окружающих. Дочь деревенского священника, закончившая до революции Казанские Высшие историко-филологические курсы, а потом, по возвращении в Вологду, из-за «влечения к живописи» и художественный техникум, Екатерина Николаевна Соколова пришла на работу в музей в 1926 году. Умная, широко и глубоко образованная, с тонким художественным чутьем, она сразу прониклась Федышинской верой. Все, самые трудные годы она была мужу преданным другом, стойким, надежным, знающим помощником.

Не сразу уверовал в федышинское дело Философ Павлович Куропатников — революционер, большевик, по легендам, не раз встречавшийся с Лениным, волею случая назначенный директором музея. Не очень образованный, не близкий к искусству, к художеству, этот по-своему незаурядный и сильный человек на много лет стал мужественным спасителем, защитником древнего русского искусства и самого Федышина. Не убоявшись обвинений в контрреволюции, в подрыве советской власти, он страстно боролся с произволом местных властей и писал строгие докладные в Вологодский губисполком и «наверх», в Москву, в Главнауку, которой тогда подчинялся музей, о том, к примеру, что Кадниковский уездный исполком произвел «ликвидацию трех монастырей... без ведома и без участия Губмузея. Имущество... произвольно распределено между окрестными общинами без какой-либо регистрации...». И требовал: «принять меры... охраны памятников церковной старины как народного достояния». Приходилось ему писать и объяснительные в ответ на обвинения в том, что действия «Вологодского Губмузея... все время идут вразрез с линией уездисполкома и совершенно тормозят его работы по ликвидации монастырей в уезде».

Куропатников настолько уверовал в Федышина, что позже, уже в 1938 году, вернувшись в Вологду и ненадолго вновь став директором музея, он своим партийным авторитетом сумел вызволить из тюрьмы Ивана Васильевича, обвиняемого «во вредительстве», а отовсюду выгнанную и выселенную Екатерину Николаевну вновь вернул на работу. Надо ли говорить, что означал такой поступок в то жестокое время!

Не всегда так везло на директоров Вологодскому музею, и жаль, что память о Философе Павловиче Куропатникове в музее предана забвению. Людей, его помнящих, почти не осталось, и нынешние сотрудники мало что могут рассказать о нем. А как нам нужны сегодня добрые образцы человеческой преданности, благородства, порядочности, не зависящей от времени, места и обстоятельств.

ПАМЯТНАЯ ПЕРЕПИСКА

Мы сидим с Николаем Ивановичем в реставрационной мастерской, где он работает с двумя сыновьями — Иваном и Николаем — рассматриваем старые документы и фотографии... Вот Екатерина Николаевна — совсем еще юная ученица вологодского епархиального училища, нежная, тонкая, удивительно красивая, жизнерадостная. И в старости она сохранила, несмотря на все страдания, это чувство благодарения к жизни, удивления ею, радости. А это Иван Васильевич и Екатерина Николаевна с маленьким сыном, похожим на отца как две капли воды... Отец, уже после тюрьмы в последний год перед смертью, одолеваемый мучительным недугом, но по-прежнему уверенный в себе, суровый, сильный человек...

Он всегда был немного и педантом. Документы, кото-

рые мы рассматриваем, только малая часть огромного архива, после него оставшегося. Детальные и подробные отчеты о поездках по дальним вологодским монастырям и церквам, его наблюдения, догадки, предположения и сегодня немало помогают его сыну и внукам в датировке, атрибуции икон... И личные письма, полные забот и тревог о сокровищах отечественной культуры, которые мало было спасти, их надо было защитить от «экспансии» столичных музеев, как раз в ту пору и начавших основательно пополнять свои собрания за счет провинциальных музеев, и от чересчур рьяной деятельности организаций, изымавших художественные ценности для продажи за границу. Письма эти своей простотой, естественностью и высотой духа волнуют и сегодня.

Екатерина Николаевна Соколова — Ивану Васильевичу Федышину, Вологда, 3 октября 1926 года:

Я думаю, Вам добровольно из Вологды было бы не уехать. Вообразите, что Вас вздумали бы пригласить в какой-нибудь Московский, Нижегородский или другой из лучших музеев. Поехали бы Вы туда или нет? Какие силы могут Вас оторвать от «сказочки» «Предтечи», «Семигородной», «Пятницы», «Георгия», «Снятия с креста», «Дмитрия Прилуцкого» и многих других, милых Вашему сердцу икон...

Иван Васильевич — Екатерине Николаевне, Москва, 3 октября 1926 года:

...Неплохо было бы расчистить двухъярусную икону с изображением воинов внизу и вверху... За эти иконы, я думаю, ругать нас не будут.

Иван Васильевич — Екатерине Николаевне, Москва, 14 октября 1926 года:

Не знаю, стоит ли писать о приостановке расчистки Куропатникову: меня он не послушает и Главнауки не боится. А Главнаука за это (самовольную реставрацию) может сильно ущемить, если не Куропатникова, то самый музей, что гораздо хуже. Дальнейшая самовольная расчистка может послужить предлогом для увоза из Вологды наиболее ценных памятников иконописи.

Федышин — Куропатникову, 18 октября 1926 года:

Реставрационный п/отдел, по-видимому, крепко ругает нас за самовольную расчистку... Я боюсь, что дальнейшая самовольная расчистка послужит удобным предлогом для музейного отдела к отбору и вывозу из нашего музея лучших памятников древнерусского искусства.

Иван Васильевич — Екатерине Николаевне, Москва, 22 октября 1926 года:

Столичные музеи так переполнены и загромождены, что после них так и хочется посмотреть что-либо попроще, провинциальное. Недаром, все наши хорошие вещи с таким интересом смотрятся приезжими посетителями.

Екатерина Николаевна — Ивану Васильевичу, Вологда, 8 ноября 1926 года:

По художественному отделу проводил экскурсии сам Куропатников. Не знаю уж, как и что он там объяснял, только слышала мельком, как перед иконой Дмитрия Прилуцкого он читал похвалу святым как строителям и носителям культуры. Торжествуйте, Иван Васильевич! Это Ваших рук дело!

Иван Васильевич — Екатерине Николаевне, Москва, 8 ноября 1926 года:

Еще скажу, Катя, что мы с Вами должны благодарить небо за то, что мы живем в Вологде. Вологда здесь считается вторым городом после Новгорода по обилию и качеству памятников древнерусской иконописи... Из разговоров со многими провинциальными музейными работниками выясняется, что в некоторых музеях иконы не старше 17 века (и то считается диковинкой), а в других и совсем нет икон, да и собирать нечего. Я бы не хотел работать в таких музеях. И если бы к нашему материалу приложить еще немного труда, знаний и средств по раскрытию памятников, то наш музей мог бы стать прекрасным и великим.

Екатерина Николаевна — Ивану Васильевичу, Вологда, 16 ноября 1926 года:

Какой Вы милый, Иван Васильевич, что послали мне рублевскую «Троицу». Я не выпускаю ее из рук. Даже только на фотографии она завораживает, что же говорить об оригинале... В ее простоте есть что-то сверхчеловеческое... Невольно вспомнилось наше «Снятие с креста». Действительно, как Вы писали, общее между ними что-то есть, может быть, не столько в технике, сколько в настроении... Иван Васильевич, как бы я была счастлива, если бы умела писать так же как Рублев! Я бы, пожалуй, для этого и в монастырь пошла...

Иван Васильевич — Екатерине Николаевне, с. Устье, 13 марта 1927 года:

...Я на свободе любуюсь Устьем. Удивительно приятный сельский ландшафт зимою! Как-то резче выступает прелесть сказочных лубочных домиков на белом фоне снежного покрова. А как милы краснощекие деревенские девки и бабенки в своих кукольных нарядах! Проезжающая по улице лошадка, запряженная в «кошевенки», украшенные резьбой и расписными цветами, хорошо увязывается с общей картиной. Остается только пожалеть, что и ты, милая Катюша, не можешь любоваться всей этой «деревенщиной», «вековой Русью».

Иван Васильевич — Екатерине Николаевне, Каргополь, 30 марта 1927 года:

В... Саунской церкви имеется замечательная, по-моему, икона Страшного суда... забавная по переводу, экспрессивная, с юмором по рисунку и праздничная по краскам... это дивная народная фантазия — сказка, прекрасный, расцвеченный лубок, какой только можно встретить.

П. Д. Барановский — И. В. Федышину, Москва, конец 1928 — начало 1929 года:

Здесь, в Москве, ходит слух, что Ваш музей имел смелость отказать в вывозе лучших икон своего собрания на выставку иконы за границей, которую устраивает Госторг, пригласив к участию в этом деле Грабаря и Анисимова. Здесь ходят очень нехорошие разговоры о том, что задачей Госторга является не прославление русского искусства, а распродажа, и, конечно, лучших вещей. На эту же точку зрения стал и ученый совет архитектурной секции Государственных реставрационных мастерских и подал свой протест в Главнауку, указывая на недопустимость вывоза, хотя бы и на выставку, уникальных памятников по целому ряду соображений. Получился неприятный раскол с руководителями нашего дела в Реставрационных мастерских, т. к. они настойчиво ведут свою линию. Не знаю, выйдет ли какой толк из этого протеста, но во всяком случае, мы выполнили долг нашей совести. Если слухи об Вашем отказе правильны, то, мне кажется, лучше было бы Куропатникову согласовать вопрос лично с зав. Главнаукой, т. к. иначе просто могут приказать доставить без рассуждений... Мы все, музейщики и искусствоведы, сбиты с толку всей этой историей...

Иван Васильевич — Екатерине Николаевне, санаторий «Октябрьские всходы», 26 мая 1930 года:

Милая Катюша! Вероятно, уже появились в Вологде приезжие специалисты из центра и скоро приедет экспедиция Анисимова. На всякий случай, убери на лестницу вниз за портреты 3 иконы... Если появятся сведущие спецы, то не забудь записать их замечания.

Та выставка древнерусских икон за границей, о которой идет речь, действительно, была организована с одной кощунственной целью, чтобы «возбудить интерес иностранных торговых фирм и частных лиц к древнерусскому искусству и, таким образом, способствовать развитию торговли с иностранцами предметами русской старины». Уникальнейшая коллекция икон XII—XVIII веков экспонировалась с 1929 по 1932 год в Германии, Англии, Австрии, и США, и большая ее часть была предназначена для продажи. И только тот огромный успех и интерес, вызванный выставкой, которую все восприняли как «демонстрацию национальных художественных сокровищ СССР», воспрепятствовал этому. И в 1933 году коллекция вернулась на родину. Из Вологодского музея, несмотря на его сопротивление, для нее все же было отобрано 16 икон XV—XVII веков, и семь из них так и не были возвращены музею. Они тогда поступили в Русский музей и Третьяковскую галерею, где находятся и поныне. Так что не случайно беспокоился Иван Васильевич Федышин, отправляя очередное письмо жене с просьбой укрыть иконы от чужого глаза...

До сих пор не дает эта история покоя и Николаю Ивановичу Федышину. Он по-прежнему считает эти семь захваченных столичными музеями икон вологодскими... И очень переживает, что даже не все из них находятся в основной экспозиции, некоторые так и лежат с тридцатых годов в запасниках. Впрочем, переживания эти не помешали Николаю Ивановичу тщательно и кропотливо исследовать их и заново атрибутировать одну из них, что произвело своеобразную сенсацию в профессиональных кругах. Он установил, что замечательная вологодская икона, хранящаяся в Третьяковской галерее, «Илья Пророк в пустыне», написана иконописцами-братьями Иваном Семеновичем и Борисом Семеновичем Холуевыми для Толгской церкви Вологодского уезда в 1690 году...

Именно преданность и высокое почитание вологодских мастеров в пятидесятых годах заставили Николая Ивановича, тогда еще начинающего реставратора, выступить против посланцев Русского музея, вновь посетивших Вологду с намерением «разжиться» иконами... И если бы не поддержка старейшего московского реставратора и искусствоведа Николая Николаевича Померанцева, помнившего неистового Федышина-старшего, Николаю Ивановичу пришлось бы туго.

ЗАПОВЕДИ МАСТЕРА

Удивительная все-таки судьба у отечественной культуры. Она всегда держалась на людях, самозабвенно и бескорыстно ей служивших, невзирая на условия и обстоятельства жизни. Только это, быть может, спасает ее и поныне от разрушительного гнета государства и правящей ортодоксальной идеологии. Незаметно и тихо творят подвижники свое боголепное дело, часто вопреки времени, в котором живут, не поддаваясь бездумным лозунгам и идеям, сиюминутным заботам и запретам, во имя вечного и во имя будущего.

Федышин-старший умер от чахотки и не успел оставить тринадцатилетнему сыну Николаю никаких заветов, кроме двух — стремиться всегда и во всем к усидчивости, доводить любое дело до конца, а если потянет к рисованию, то прежде всего вырабатывать твердость руки, умело держать линию... А еще он оставил пример собственной подвижнической жизни. И как оказалось впоследствии, наследие это творило судьбу сына, а потом и внуков.

Обстоятельства всегда были против Николая Федышина. В войну его как не самого радивого ученика, несмотря на просьбы матери, из школы отправили в ремесленное училище. Но однажды он вышел на утреннее построение с мокрыми руками. Сильный мороз и длительность процедуры сделали свое дело, руки распухли — ревматизм суставов. С тех пор боль не оставляет его, он чувствует малейшее изменение погоды...

Директор музея нехотя поддался уговорам Екатерины Николаевны и взял пятнадцатилетнего Николая на ставку художника-оформителя — писать этикетки, плакаты, оформлять передвижные фронтовые выставки. Теперь уж трудно установить, чем юный сотрудник не пришелся по душе директору, а, может, его раздражала беспокойная деятельность Екатерины Николаевны — хранительницы музейных фондов. Но не успев принять юнца на работу, директор решил отправить его на лесозаготовки, по присланной разнарядке. Тогда, наверное, впервые и проявился федышинский характер. Он узнал, что по закону, тех, кому не исполнилось шестнадцати лет, посылать на лесозаготовки не разрешается, и пошел к директору отстаивать справедливость. В жизни мало кто так кричал на Николая, как директор. Спасло его присутствие в кабинете Александра Ивановича Брягина. Старинный друг Федышина-старшего, потомственный мстерский иконописец и реставратор, он периодически работал в Вологодском музее. Самые первые и самые знаменитые вологодские иконы были раскрыты и отреставрированы им еще в двадцатых годах.

Он и предложил директору взять Николая в ученики. Тем более, что помощник ему был нужен. Эвакуированная в начале войны в Тотьму и спрятанная там на речной барже коллекция икон возвращалась в музей. Их надо было срочно спасать от сырости, от плесени, укреплять... За эту работу и взялись Брягин со своим помощником.

Техника, которой они тогда пользовались, давно устарела. Она была опасна для иконы и трудоемка. Но Брягин научил его главному в работе реставратора, считает Николай Иванович, — скромности, добросовестности, бережности. У реставратора, как и у врача, должна быть одна заповедь: «Не навреди!» — утверждал Брягин. Нельзя дописывать, «улучшать» икону, как бы тебе этого ни хотелось. Древние иконописцы были талантливее, возвышеннее, духовнее нас, они видели мир и человека в нем, как нам и не дано. Восстанавливая икону, ты должен думать не о своей славе, а о ее, чтобы величие, в ней заложенное, открыть людям...

Только дар убеждения, которым сполна обладала Екатерина Николаевна, заставил директора тогда, сразу после Победы, согласиться на включение в новую музейную экспозицию отреставрированных Брягиным и Федышиным-сыном икон. Исстрадавшиеся, измученные от бед, потерь и горя люди потянулись к этим древним образам за успокоением и поддержкой. Через некоторое время весть об иконах, выставленных на всеобщее обозрение, дошла до областного начальства. Разговор о «пропаганде культа» был суровым, а приказ категорическим — «убрать!». Испуга этого музейному начальству хватило на двадцать лет.

Заведующая художественным отделом музея, ныне покойная Ирина Александровна Пятницкая, лишь в конце шестидесятых годов сумела убедить их в необходимости выставки древнерусских икон. Николай Иванович Федышин предложил около десяти первоклассных икон, отреставрированных им втайне от всех, поскольку после того послевоенного скандала с выставкой директор вообще запретил Брягину и Федышину-сыну заниматься реставрацией, а потом и вовсе сократил ставку художника-оформителя...

В музей Николай Иванович вернулся лишь в 1954 году, поработав наборщиком в типографии, столяром в артели музыкальных инструментов. Женился, обзавелся детьми... Но вновь работал только оформителем, и никакие просьбы и уговоры не могли заставить музейное начальство допустить его к иконам, несмотря и на хрущевскую «оттепель», и на «новые времена». Тогда-то, на счастье Федышина, и приехала в Вологду Наталья Алексеевна Демина, стоявшая у истоков создаваемого в Москве музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Она убедила не верившего ни в какие перемены директора доверить иконы Федышину и отправить его на учебу в Москву, в Центральные реставрационные мастерские. С тех пор икона, наконец-то, стала единственным занятием и всепоглощающей страстью Николая Ивановича.

В ЧЕМ ЕГО ВЕРА

Он поражает всех, кто сталкивается с ним, глубокими познаниями в самых разных областях. Раз и навсегда усвоив с молодости, что древнерусское искусство — это прежде всего символ высокой культуры народа, он, имея за душой семь классов образования, всего достиг самоуком, проводя дни и ночи за книгами, в архивах, в библиотеках. Живя с женой и четырьмя детьми на мизерную зарплату музейного реставратора (она составляла сначала 60, потом 80, а теперь 150 рублей), он «зайцем» ездил в Москву, в Ленинку, в Центральный государственный архив литературы и искусства, в архив древних актов... Он читает на немецком, болгарском, чешском. Когда у профессиональных архивистов и историков возникают затруднения с каким-нибудь старославянским текстом, они за помощью обращаются к Федышину. Мало кто так разбирает самую заковыристую старославянскую скоропись, как он... Он — знаток и древнерусской литературы и истории. В его уникальнейшей картотеке собраны исторические сведения о самых разных предметах — о населенных пунктах вологодского

уезда и церквах, о колокольнях и колоколах, о вологодских ремесленниках и воеводах... В местной газете он пишет о вологодских именах и фамилиях. До него были широко известны 30 вологодских иконописцев, теперь в его картотеке — 230! Он сумел потрясти весь искусствоведческий мир, доказав, что Дионисий расписал своими гениальными фресками Ферапонтов монастырь не в два лета, как считалось до недавнего времена, а в 34 дня! (Зато их реставрация идет не первый год и, вероятно, скоро «отпразднует» свое десятилетие!) А по своеобразию и одинаково закрученным свиткам в руках ангелов на трех иконах из музейной коллекции, которые относили к разным векам — XVI, XVIII и XIX, он определил, что они принадлежат кисти одного и того же мастера второй половины XVI века.

У Федышина особое, наследственное отношение к вологодской иконе. Он считает, что она таит еще немало тайн. В собрании Вологодского музея сегодня около четырех тысяч икон, лишь около трех сотен из них раскрыто. Жизни не только Федышина, но и двух его сыновей не хватит для этих 2—2,5 тысяч, с которыми надо бы поработать. А они успевают вести лишь профилактическую реставрацию... Да и держится все на их бескорыстном энтузиазме, всепоглощающей любви и чувстве долга.

Именно оно, это чувство, заставило и его сына Ивана оставить несколько лет назад Вологодские реставрационные мастерские, где он получал приличные деньги, но где нередко приходилось идти на компромисс с профессиональными принципами, отстаиваемыми отцом. Он вернулся на работу в музей, к отцу, на зарплату в 130 рублей, а чтобы кормить семью и двух дочек, совмещал ее с работой дворником...

Горько и больно открывать, как по-прежнему безжалостно мы относимся к величайшему достоянию, оставленному нам предками. Мы идем по хранилищу — грубо сколоченные многоярусные стеллажи с иконами, ватные подушечки, отделяющие одну от другой, измерители температуры, влажности, баночки с водой... Вот и вся «техника».

«Лучше бы мы, реставраторы, не раскрывали бы иконы, не снимали поздние записи... — с болью говорит Иван, а Николай Иванович согласно кивает головой. — При таком хранении мои дети, быть может, уже не увидят это чудо, ведь раскрытая икона подвержена малейшим изменениям температуры, влажности, на ней сказывается буквально все... И не о нашем музее речь, мы, вероятно, храним далеко не хуже многих других... Таковы наши возможности. Это за границей даже порой самые маленькие провинциальные музеи, о больших и знаменитых не стоит и вспоминать, и близко не имеющие таких богатств, оснащены контрольной аппаратурой, компьютерной техникой, которая выдает всю информацию и сама устанавливает оптимальный режим хранения. Боюсь, что пока до наших музеев дойдет «цивилизация», нам хранить уже будет нечего...».

Когда-то старший из Федышиных, Иван Васильевич, мечтал о том, каким «прекрасным и великим» мог бы стать вологодский музей, если к нему приложить «труд, знания и средства». Шестьдесят лет прошло с той поры, но отношение государства и общества к культурному достоянию в принципе мало изменилось... Конечно, музей расширялся, богател, недавно получил статус музея-заповедника, но как далек он от того «великого и прекрасного», и нет у него средств и возможностей, чтобы стать им... В основной его экспозиции, по старинке краеведческой, муляжи зверей, которые водятся в вологодских лесах, полезные ископаемые и товары, производимые местной промышленностью, кандалы, в которые заковывали провинившихся, и данные об успехах, достигнутых Вологодской областью за годы советской власти...

А в фондах Вологодского музея сегодня — около трехсот тысяч уникальных экспонатов. В них, как, может быть, ни в одном музее России, цельно и полно представлена вся великая история Северной России, книжная, живописная, ремесленная, бытовая — все, что воплощает талант, мастерство, мужество, крепость и взлетность духа великого народа. Он мог бы стать удивительным, единственным в своем роде музеем древнерусской культуры и истории. И то, что он им не стал, и вряд ли в скором будущем станет, не вина работников вологодского музея, а унизительное бедствие всей нашей культуры.

Философ князь Евгений Трубецкой в годы первой мировой войны щ накануне революции, предчувствуя грядущие испытания, размышляя о судьбах человечества, России, культуры, писал: «Чем надлежит быть вселенной, — зверинцем или храмом? Сама постановка этого вопроса преисполняет сердце глубокой верой в Россию, потому что мы знаем, в котором из этих двух начал она почувствовала свое национальное призвание, которое из этих двух жизнепониманий выразилось в лучших созданиях ее народного гения. Русская религиозная архитектура и русская иконопись, без сомнения, принадлежит к числу этих лучших созданий. Здесь наша народная душа явила самое прекрасное и интимное, что в ней есть... Достоевский сказал: что «красота спасет мир»... Наши иконописцы видели эту красоту, которою спасется мир, и увековечили ее в красках... Будем же утверждать и любить эту красоту! В ней воплотится тот смысл жизни, который не погибнет. Не погибнет и тот народ, который с этим смыслом свяжет свои судьбы. Он нужен вселенной для того, чтобы сломить господство зверя и освободить человечество от тяжелого плена». Вещие и вечные слова!

Когда Федышины с Куропатниковым спасали древнерусское искусство, они занимались делом, не нужным ни тогдашнему обществу, ни самому государству, ибо массы, совершив революцию, боролись со своим отсталым и темным прошлым и им не нужны были Искусство и Культура, которые олицетворяли иные жизненные ценности. Потом народные массы строили новое государство и нового человека и утверждали культуру классовую, утилитарную, обслуживающую.

Сейчас на повестке дня перестройка. Вновь рушится, рассыпается привычная жизнь, уходят из нее, отвергаются классовые идеалы и ценности, которые десятилетиями были главными, навязываются другие и не только общечеловеческие... Ожесточение и злоба охватывают всех и все. И вновь в этом спутанном ворохе острейших, первоочередных проблем — экономических, политических, социальных, национальных — нет места всему, имеющему отношение к высокой Культуре. На что же опереться человеку в этом трагически-беспросветном разломе жизни? Нужны идеалы, ценности?

А может, не стоит их искать далеко на стороне, может, надо обратить взгляд на ту силу, которая не раз спасала русский народ в дни тяжких испытаний... Могучую силу народного духа, которую таит в себе великая культура, искусство, история.

...Узнав, к кому и зачем я приехала в Вологду, многие мои собеседники иронично восклицали: «Опять Федышины?! Праведников из них, что ли, будете делать?! Кому это надо?» Нет, не праведников, но стойких людей, у которых бескорыстное служение, столь немодное, непопулярное ныне, когда многое переводится на меркантильную основу, потомственно определяло и определяет их «бытие». И пусть Федышины — люди трудные, противоречивые, не легкие... Но их жизненной опорой остается вера в художественный гений русского народа. Потому и неистребимо в роду вологжан Федышиных глубочайшее проникновение в тайны древнерусского искусства — духовную сокровищницу Земли нашей.

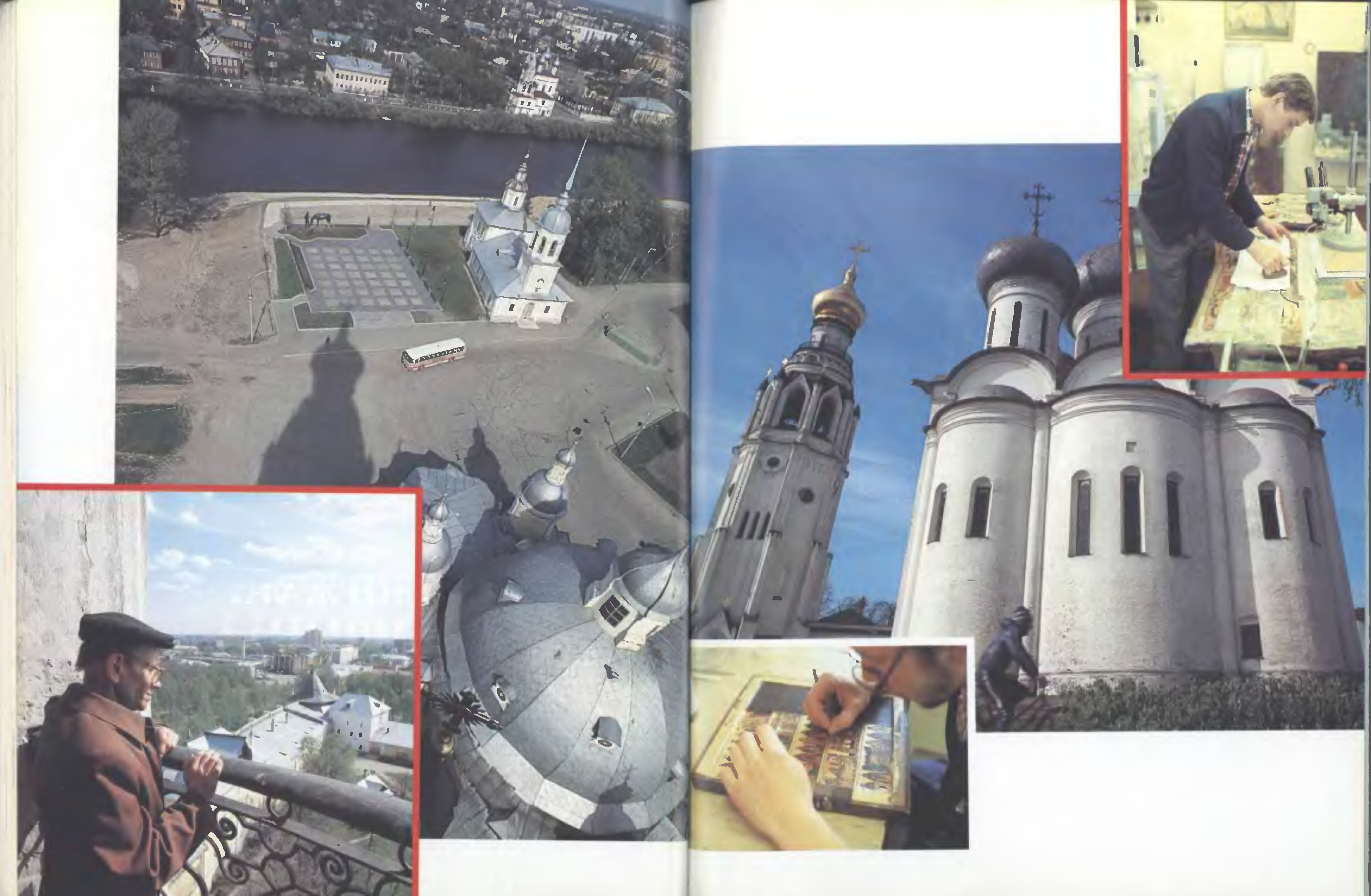
ВОЛОГДА — МОСКВА

Известный фотомастер Павел Кривцов выступает у нас на цветной вкладке второй номер подряд. В № 9 — фоторепортаж из Ясной Поляны. В этом — из Вологодского Кремля.



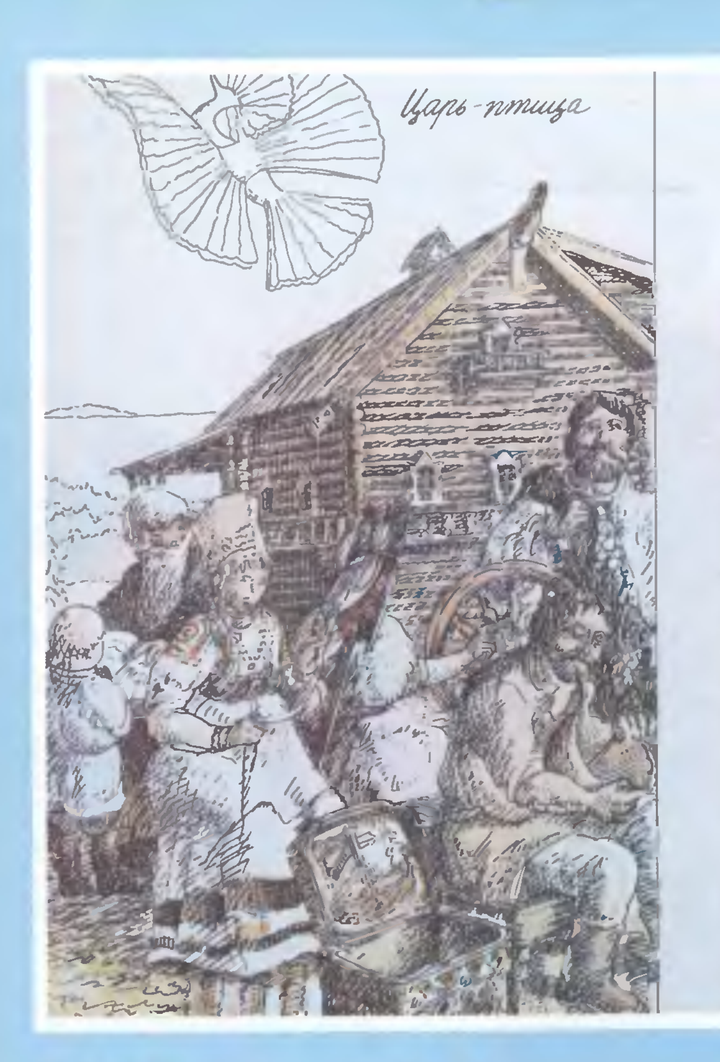
ВОЛОГЖАНЕ ФЕДЫШИНЫ

Фоторепортаж о реставраторах Федышиных Павла Кривцова.

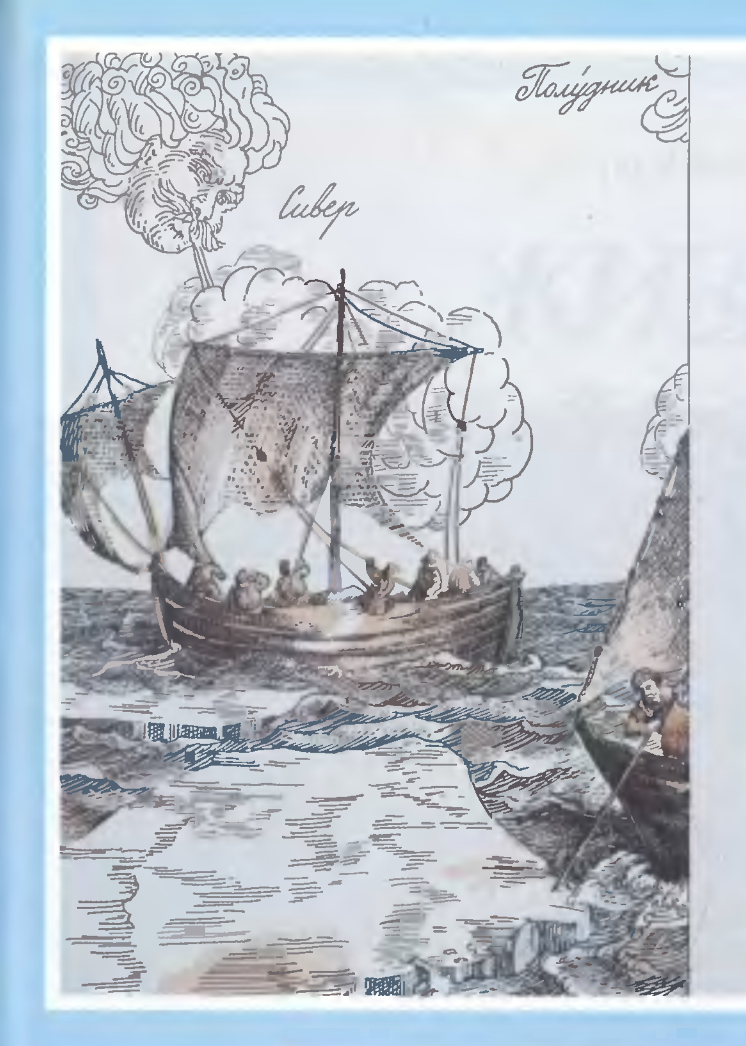




Николай Иванович Федышин
и его сыновья Иван и Николай.









ПОМОРСКАЯ БЫВАЛЬЩИНА

В РИСУНКАХ ЮРИЯ ФРОЛОВА

Часто ли, купив новую книгу или перечитывая полюбившуюся старую, задумываемся мы над тем, кто оформил ее, почему она выглядит именно так, а не иначе. И что это за профессия вообще — художник-иллюстратор? Ответить на этот вопрос мы стараемся, предоставляя нашу вклейку мастерам книжной иллюстрации, таким как Альгирдас Степонавичус и Владимир Перцов, и молодым Дмитрию Трубину и Сергею Сюхину. На этот раз наш гость — ЮРИЙ ФРОЛОВ.

Уже более пятнадцати лет занимается он художественным оформлением книги. Его работы, например, двухтомник Н. В. Гоголя, выпущенный в 1986 году в «Книге», или миниатюрное издание «Пословицы и поговорки о книге, чтении и знании» того же издательства привлекли к себе внимание профессионалов и запомнились читателям. В этом году в издательстве «Молодая гвардия» выходит первое, наиболее полное издание Бориса Шергина, включающее в себя, помимо художественных произведений, дневниковые записи, ранее не публиковавшиеся. Книгу этого поэтичного, светлого, нами еще до конца не прочитанного писателя оформил и проиллюстрировал Юрий Фролов. Это одна из интереснейших работ художника. Прежде всего потому, что проза автора дает возможность, с одной стороны, для творческой интерпретации, а с другой, возникает необходимость точно воссоздать мельчайшие детали быта поморов. Книги Шергина — своеобразная энциклопедия жизни Севера.

Профессию художника-иллюстратора часто сравнивают с профессией актера. Как актер должен уметь перевоплощаться в своих персонажей, так и художник книги перевоплощается по воле автора. По сути своей он — стилизатор. В данном случае творческий почерк Ю. Фролова совпал с почерком Б. Шергина. Может быть, это произошло еще и потому, что художник ничего от себя не придумывал, образы, созданные писателем, настолько конкретны и зримы, что надо было умело и точно воспроизвести их на бумаге.

Читатель всегда воссоздает запомнившиеся ему литературные образы, следуя своему воображению, и хочется, чтобы образы героев Шергина, созданные Юрием Фроловым, совпали с читательскими.

Д. КОСТРОВА

Окончание публикации Б. Шергина «Жизнь живая» читайте на стр. 45.



ИСТОКИ

Легенды.
Исследования.
Находки.



Икона «Плач Богородицы при кресте». XVIII в.

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

Надпись, по римскому обычаю, была прибита на вершине креста и гласила на 3-х языках — еврейском, греческом и латинском: Царь Иудейский. В такой редакции для иудеев чувствовалось нечто тягостное и оскорбительное. Многочисленные прохожие, читавшие ее, оскорблялись ею. Первосвященники заметили Пилату, что следовало бы принять редакцию, заключавшую в себе единственно то, что Иисус называл себя царем Иудейским. Но Пилат, уже раздраженный этим делом, отказался изменить что-либо в написанном.

Ученики Иисуса убежали. Но его верные галилейские подруги, последовавшие за ним в Иерусалим и продолжавшие служить ему, не покинули его. Мария Клеопова, Мария Магдалина, Иоанна жена Кузы, Саломея и другие держались в некотором отдалении и не покидали из глаз Иисуса.

За исключением этой небольшой группы женщин, издали утешавших взоры Иисуса, он имел перед собою только зрелище человеческой низости или глупости. Прохожие оскорбляли его. Он слышал вокруг себя глупые насмешки; его последние горькие возгласы обращались в гнусную игру слов. «Вот, — говорили, — тот, кто называл себя сыном божиим! Пусть его Отец, если он угоден ему, придет теперь спасти его! — Других спасал, — шумели еще, — а себя самого не может спасти! Если он царь израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него!» — «Ну, — говорил третий, — ты разрушающий храм и в три дня созидающий его, спаси себя самого!»

Некоторые, будучи смутно знакомы с его апокалиптическими идеями, думали, что он призывает Илию, и говорили: «Посмотрим, придет ли Илия спасти его». Кажется, что оба разбойника, распятые по бокам Иисуса, тоже поносили его.

Небо было темно, земля, как и во всех окрестностях Иерусалима, суха и угрюма. Одно время, как рассказывают некоторые, у Иисуса изнемогла душа; облако скрыло от него лицо его Отца; он находился в агонии отчаяния, в тысячу раз более нестерпимой, чем все мучения. Он видел только человеческую неблагодарность; он, быть может, раскаивался, что страдает за такой гнусный народ и воскликнул: «Боже, боже, для чего Ты меня оставил?» Но его божественный инстинкт снова увлек его. По мере того, как угасала телесная жизнь, душа его прояснялась и мало-помалу возвращалась к своему небесному началу. Он снова нашел смысл своей миссии; он увидел в своей смерти спасение мира: он потерял из виду гнусное зрелище, развертывавшееся у его ног, и, глубоко соединенный с своим Отцом, он начал на виселице божественную жизнь, к которой он желал приобщить человечество на бесконечные века.

Особенная жестокость крестной казни заключалась в том, что можно было жить на своей «горестной скамье» 3 или 4 дня в таком ужасном положении. Кровотечение из рук останавливалось быстро и не было смертельно. Истинной причиной смерти являлось противоестественное положение тела, которое влекло за собой ужасный беспорядок в кровообращении, ужасные боли головы и сердца и, наконец, одеревенение членов. Распятые, отличавшиеся сильной комплекцией, умирали только от голода. Первоначальною мыслью этой жестокой казни было — не убивать прямо осужденного путем определенных ран, но выставить раба с пробитыми руками, из которых он не умел сделать хорошего употребления, и оставить его гнить на дереве. Деликатная организация Иисуса предохранила его от этой медленной агонии. Все заставляет думать, что обморок или внезапный разрыв сердца повели за собой через 3 часа мгновенную смерть. За несколько моментов до того, как отдать душу, у Иисуса был еще сильный голос. Вдруг он испустил ужасный крик, в котором одни слышали: «Отче, в руки твои предаю дух мой!», а другие, более занятые исполнением пророчеств, передали этот крик словами: «Все совершилось!» Его голова склонилась на грудь, и он испустил дух.

Покойся теперь в своей славе, благородный начинатель. Твое дело кончено, Твоя божественность основана. Отныне, вне власти превратностей, ты будешь свидетелем с высоты божественного мира бесконечных результатов твоих дел. Ценою нескольких часов страданий, которые даже не коснулись твоей великой души, ты приобрел самое полное бессмертие. На тысячи лет мир будет зависеть от тебя! Знамя наших разногласий, ты будешь символом, вокруг которого возгорится самая горячая битва. В тысячу раз более живой, в тысячу раз более любимый после своей смерти, чем во время своей жизни, ты станешь краеугольным камнем человечества; и вырвать твое имя из этого мира значило бы потрясти до основания. Между тобою и Богом не будут делать различия. Полный победитель смерти, прими владение своим царством, куда последуют за тобой по начертанному тобою царственному пути преклоняющиеся века.

---

* *Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.). Окончание. Начало в №№8—10, 12 / 1989, 1—9 /1990. Произведение опубликовано полностью.*

Глава XXIII

Существенный характер дела Иисуса

Иисус, как это заметно, не выходил в своей деятельности из иудейского круга. Хотя его симпатия к презираемым ортодоксией и заставила его допустить язычников в царство Божие, хотя он и был несколько раз в языческой земле и его раз или два находили в доброжелательных отношениях с неверными, можно сказать, что жизнь его протекла целиком в том мире, где он родился. Греческие и римские земли не слыхали о нем; его имя фигурирует у языческих авторов лишь сто лет спустя и к тому же косвенным образом, именно благодаря мятежным движениям, вызванным его учением или преследованиями, предметом которых были его ученики. В самом же иудействе Иисус не произвел очень продолжительного впечатления: Филон, умерший к 50-му году, и не подозревал о нем. Иосиф, родившийся в 37-м году и писавший о событиях конца века, упоминает о казни Иисуса в нескольких строках, как о событии второстепенной важности, в перечислении современных ему сект он пропускает христиан. С другой стороны, в Мишне не находится никакого следа новой школы; те места в обеих Геморах[1], где упоминается основатель христианства, были написаны не ранее IV-го или V-го века.

Существенным делом Иисуса было создание вокруг себя круга учеников, которым он внушил безграничную преданность и заложил зародыш своего учения. Заставить любить себя так, что даже после его смерти его не перестали любить — вот шедевр Иисуса, вот что более всего поразило его современников. Его учение совершенно не носило догматического характера, так что он никогда не заботился о том, чтобы изложить его или заставить написать. Его учеником можно было быть, не веруя в то или другое, но непременно привязываясь к его личности и любя его.

Некоторые изречения, собранные вскоре по воспоминаниям его слушателей, и особенно его нравственный образ и оставленное им впечатление, — было тем, что осталось после Иисуса. Иисус не основатель догматов, или творец символов; это — вождь мира к новому духу. Менее всего христианами являлись, с одной стороны, ученые греческой церкви, втянувшие христианство, начиная с IV-го века, на путь ребяческих метафизических споров; и, с другой стороны, схоластики латинского средневековья, захотевшие извлечь из Еввигелия тысячи членов колоссальной «суммы». Прилепиться к Иисусу ради царства божия, — вот значило сначала быть христианином.

Таким образом ясно, что благодаря исключительной судьбе чистое христианство носит еще по прошествии 18-ти веков характер вечной и всемирной религии. Это значит, что в некоторых отношениях религия Иисуса — окончательная. Право всех людей участвовать в царстве божием было провозглашено Иисусом. Благодаря ему, вырванные у политического закона права совести стали теперь новою властью, «властью духовною». Эта власть несколько раз обманывала свое начало; в продолжение веков епископы были князьями, а папы королем. Пресловутая духовная власть неоднократно являлась ужасной тиранией, употреблявшей, ради самосохранения, пытку и костер. Но настанет день, когда разделение принесет свои плоды, когда область дел духа перестанет называться «властью», — для того, чтобы назваться «свободою». Христианство, как плод сознания сына народа, расцветшее перед народом, составившее предмет любви и удивления тоже сперва народа, было запечатлено самобытным, неизгладимым характером. Оно было первым триумфом революции, победой народного чувства, воцарением простых сердцем, освящением того, что народ считает прекрасным. Таким образом, Иисус открыл в аристократических обществах брешь, чрез которую открыл проход всему.

Действительно, гражданская власть, хотя и невиновная в смерти Иисуса (она ведь только скрепила приговор, и то против своей воли), должна была понести за это тяжелую ответственность. Играя предательскую роль в голгофской казни, государство нанесло себе самый тяжелый удар. Полная неуважения к власти легенда одержала верх и обошла мир. В этой легенде предержащие власти играют гнусную роль, обвиняемый прав, а судьи и полиция соединяются вместе против правды. В высшей степени мятежная история страстей, распространенная в миллионах народных голов, показывала, что римские орлы санкционируют самую несправедливую из казней, солдаты исполняют ее, а правитель делает приказ о ней. Какой удар для всех существующих властей! Они никогда не могли вполне оправиться от него. Как принимать по отношению к бедным людям непогрешимый вид, раз на совести лежит великое гефсиманское преступление?

Христианство, будучи плодом вполне самопроизвольного движения умов, свободное с самого начала от всяких догматических пут, проборолось целых 300 лет за свободу совести, и несмотря на последовавшие затем падения, собирает еще плоды этого восхитительного происхождения. Для возрождения христианству нужно только вернуться к евангелию. Царство божие, в том виде, как мы понимаем его, сильно отличается от сверхъестественного пришествия Иисуса, которого первые христиане ожидали увидеть внезапно показывающегося на облаках. Но чувство, которое Иисус ввел в мир, — вполне наше. Его полный идеализм является высшим правилом свободной и добродетельной жизни. Он создал небо чистых сердцем, где есть все то, о чем его тщетно просят на земле: абсолютное благородство божиих детей, абсолютная святость, полное отвлечение от мирской грязи, и, наконец, свобода, исключенная реальным обществом, как невозможность, но имеющая всю свою силу только в царстве идеи. Великим учителем тех, кто скрывается в это идеальное царство божие, еще служит Иисус. Он первый провозгласил царское достоинство духа; первый он сказал, по крайней мере, своими действиями: «царство мое не от мира сего». Его делом является основание истинной религии. После него можно только развивать далее и оплодотворять.

Таким образом, «христианство» сделалось почти синонимом «религии». Все, что будут делать вне этой великой и прекрвсной христианской традиции, будет бесплодно. Иисус основвл человечеству религию, как Сократ основал философию, как Аристотель основал науку. Была философия и до Сократа и наука до Аристотеля; после Сократа и Аристотеля философия и наука сделали неизмеримые успехи; но все было построено на положенном ими фундаменте. Так же и до Иисуса религиозная мысль претерпела много революций; после него она тоже сделала большие завоевания, однако не оставили и не оставят существенного понятия (принципа), внесенного Иисусом; он навсегда укрепил идею чистой религии. Религия Иисуса в этом смысле не имеет границ. У церкви были свои эпохи и свои фазы; она заключилась в символы, которые имели и будут иметь лишь временное значение: Иисус же основал абсолютную религию, не исключающую и не ограничивающую ничего, если это только чувство. Его символы не суть определенные догматы; это — образы, допускающие бесконечные толкования. Напрасно в евангелии стали бы искать теологических положений. Все profession de foi предстввляют пародию на идею Иисуса почти так же, как средневековая схоластика, объявлявшая Аристотеля единственным учителем совершенной науки, извращала мысль Аристотеля. Если бы Аристотель присутствовал на дебатах школы, он отказался бы от этой узкой доктрины; он принадлежал бы к партии прогрессивной науки против покрывавшейся его авторитетом рутины, он аплодировал бы ее противникам. Точно так же, если бы Иисус снова явился среди нас, он признал бы за своих учеников не тех, кто претендует заключить его целиком в несколько фраз катехизиса, а тех, кто работает над продолжением его дела. Вечной славой на всех ступенях величия является — положить первый камень. Может быть в «Физике» и в «Метеорологии» новейших времен не находится ни одного слова из носящих

[1] Изъясиение текста св. писания у евреев, находящееся во второй части Талмуда. Перев

те же названия трактатов Аристотеля: тем не менее, Аристотель остался основателем науки о природе. Каковы бы ни могли быть превращения догматов, Иисус останется в религии творцом чистого чувства: нагорная проповедь не будет превзойдена. Никакая революция не сделает того, чтобы мы сошли в религии с того великого интеллектуального и нравственного пути, во главе которого блещет имя Иисуса. В этом смысле мы — христиане, даже когда мы почти во всех пунктах порываем с предшествовавшей нам христианской традицией.

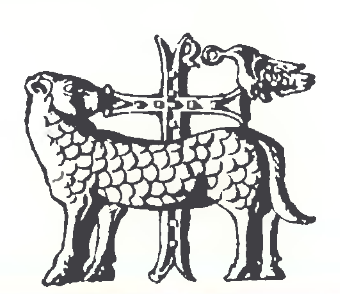
И это великое создание было личным делом Иисуса. Для того, чтобы встречать обожание, нужно, чтобы дело было достойно обожания. Любовь не приходит без предмета, достойного воспламенить ее, и мы не знали бы ничего об Иисусе, если бы не страсть, внушенная им его окружающим; относительно последних мы должны утверждать, что они были велики и чисты. Вера, энтузиазм и постоянство первого христианского поколения объяснимы лишь при предположении в начале всего движения человека колоссальных размеров. Наши цивилизации, управляемые мелочным благочинием, не могли бы дать никакого представления о том, что значил человек в эпохи, когда для развития человеческой оригинальности представлялось более широкое поле. Вообразим отшельника, который живет в каменоломнях вблизи наших столиц; представим, что он выходит время от времени оттуда, чтобы явиться в царские дворцы; входит в последние силой и повелительным тоном возвещает царям приближение революций, которых он является возбудителем. Одна такая мысль заставляет нас улыбаться. Таков, однако, был Илия. Илия, Тесбит наших дней, не переступил бы порога Тюильри. Тем не менее, проповедь Иисуса и его свободная деятельность в Галилее совершенно выходят из границ привычных нам социальных условий. Свободные от наших полицейских условий, лишенные однообразного воспитания, которое утончает нас, но весьма сильно уменьшает нашу индивидуальность, эти цельные люди вносили в деятельность удивительную энергию. Они представляются нам гигантами героической эпохи, не существовавшей в действительности. Глубокое заблуждение! Эти люди были наши братья; они имели наш рост, чувствовали и мыслили, как мы. Но дух Божий был свободен у них; у нас же он скован железными узами пошлого общества, осужденного на неизлечимую посредственность.

Итак, поместим на самую высокую вершину человеческого величия личность Иисуса. Не позволим ввести себя в заблуждение легенде, которая все время держит нас в сверхчеловеческом мире. Жизнь Франциска Ассизского также представляет лишь ряд чудес. Однако, разве сомневались когда-либо в существовании и роли Франциска Ассизского? Не станем говорить более, что слава основания христианства должна приходиться на долю толпы первых христиан, а не того, кого обоготворила легенда. Неравенство людей гораздо заметнее на Востоке, чем у нас. Там часто можно видеть, как среди атмосферы общей злобы возвышаются люди, величие которых изумляет нас. Иисус не только не был создан своими учениками[1], но он во всем является, как высший своих учеников. Последние, за исключением св. Павла и, быть может св. Иоанна, были люди без изобретательности и гения. Сам св. Павел не выдерживает никакого сравнения с Иисусом, а что касается св. Иоанна, то происхождение примыкавшей к нему школы окружает такая неизвестность, что об личной его роли можно говорить только с крайней осторожностью. Отсюда неизмеримое превосходство евангелий среди писаний нового завета и то чувство тяжелого падения, которое испытываешь, переходя от истории Иисуса к истории апостолов. Сами евангелисты, передавшие нам образ Иисуса, настолько ниже того, о ком они говорят, что они беспрестанно уродуют Иисуса, не имея возможности подняться до него. Их писания полны ошибок и бессмыслиц. В каждой строке чувствуется речь божественной красоты, закрепленная редакторами, не понимающими ее и подставляющими свои собственные идеи вместо тех, которые они схватили только наполовину. В общем, характер Иисуса не только не был прикрашен его биографами, но (скорее) был умален ими. Чтобы снова найти Иисуса таким, каков он был, критика обязана удалить ряд ошибок, происходящик от посредственного ума его учеников. Последние рисовали Иисуса, как понимали, и часто, думая возвеличить его, в действительности умаляли его.

Быть может, более справедливо сказать, что Иисус обязан всем иудейству и что его величие ни что иное, как величие иудейского народа? Никто не расположен ставить более высоко, чем я, этот единственный народ, особенным даром которого, по-видимому, являлось вмещение в себе крайностей добра и зла. Несомненно, что Иисус вышел из иудейства; но он вышел из него, как Сократ вышел из школы софистов, квк Лютер вышел из средник веков, как Ламенне — из католицизма, как Руссо из 18-го века. Ведь, к своему веку и своей расе принадлежишь даже тогда, когда противодействуешь своему веку и своей расе. Иисус не только не был продолжателем иудейства, но он даже представляет собою разрыв с иудейским духом. Предположение, что его мысль в этом отношении могла подать повод к некоторой двусмысленности, опровергается общим направлением христианства после него. Общее направление христианства все более и более удалялось от иудейства. Прогресс христианства будет заключаться в возвращении к Иисусу, а конечно, не в возвращении к иудейству. Итак, великая оригинальность основателя остается неприкосновенной; его слава не допускает никакого законного соучастника.

Эту высокую личность, которая каждый день еще руководит судьбой мира, можно назвать божественной, не в том смысле, что Иисус вместил все божество, но в том, что Иисус есть человек, заставивший свой род сделать величайший шаг к божественному. Человечество, взятое в массе, представляет собрание низких и эгоистических существ, превосходящих животное лишь тем, что их эгоизм более сознателен. Однако, среди этой однообразной пошлости, поднимаются к небу колонны и свидетельствуют о более благородном назначении. Иисус самая высокая из этих колонн, показывающих человеку, откуда он, и куда он должен стремиться. В нем сконцентрировалось все, что есть доброго и возвышенного в нашей натуре. Он не был безгрешен; он побеждал те же страсти, с какими боремся и мы; никакой божий ангел не подкреплял его, кроме его чистой совести; никакой сатана не искушал его, кроме того, которого каждый носит в своем сердце. Точно так же, как некоторые из великих черт его личности потеряны для нас благодаря низкой интеллигентности его учеников, так вероятно и то, что было скрыто и много его заблуждений, но никогда и никто, в такой степени, как Иисус, не ставил на первый план в своей жизни сравнительно с мелочами самолюбия интересы человечества. Всецело отдавшись своей идее, Иисус подчинил ей все в такой степени, что к концу его жизни вселенная не существовала более для него. Этим избытком героической воли он и завоевал небо. Не было человека, настолько поправшего бы семью, земные радости и всякие мирские заботы. Он жил только своим Отцом и своею божественной миссией, относительно которой у него существовало убеждение, что она поручена ему. Что нам готовит будущее? Возвратится ли вновь великая личность, или мир отныне удовлетворится тем, что последует по путям, открытым смелыми творцами старых веков? Мы не знаем этого. Во всяком случае, Иисус не будет превзойден. Его религия будет постоянно возрождаться; легенда о нем постоянно будет вызывать слезы на прекраснейших глазах; его страдание тронет благороднейшие сердца, все века провозгласят, что между сынами человеческими не рождался более великий, чем Иисус.

[1] Последнее утверждают некоторые германские богословы, особенно известный Дав. Штраусс, который в своей книге «Жизнь Иисуса» (1-е изд. 1835 г.) объясняет как личность Иисуса, так и всю евангельскую историю бессознательным коллективным творчеством первых христиан. Перев



О ХРИСТЕ

Немного опередив завершение публикации в «Слове», благодаря предприимчивости СП «Вся Москва» и СП «Терра», к читателю в полном объеме возвращается книга Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Соответствует нынешнему спросу и коммерческий расчет издателей: тираж книги — 100 тыс. экз., цена — 15 рублей...

В своей статье о вечном образе Иисуса Христа С. С. Аверинцев, говоря о работе Э. Ренана, писал о том, что «можно только диву даваться, что много десятилетий наш массовый читатель был лишен такой возможности». Но ведь еще в 1906 г. С. Н. Булгаков приходил к выводу — вся доктрина Маркса вытекла из основного его религиозного мотива — из его воинствующего атеизма. Именно это, по мнению русского философа, определило и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей...

Книга Э. Ренана, французского литератора и семитолога, играла немаловажную роль в борьбе идей на рубеже XIX и XX веков. Популярность изложения, талант стилиста обеспечили «Жизни Иисуса» шумный успех, множество переводов и переизданий. Не следует, однако, забывать и о том, что «Евангелие от г-на Эрнеста Ренана» вызвало и резко критические отзывы многих деятелей церкви. «Совершенным ничтожеством с научно-исторической и с художественно-психологической точки зрения» называл книгу архиепископ Антоний, ставивший деятельность Э. Ренана в один ряд разрушителей с Дарвином, Контом, Марксом и Ницше. Божественный лик Христа низводится до образа простого учителя и гениального мечтателя, кощунственно искажается под щитом напускной симпатии и даже любви — об этом предупреждали архимандрит Варлаам, аббат Гетте, другие богословы. Вместе с тем им приходилось признавать, что их критике и предупреждениям в маловерующей или неверующей интеллигентской среде той поры почти никто не внемлет...

Думается, возвращение книги Э. Ренана со всеми ее достоинствами и вызовом традиции к современному читателю будет иметь положительный эффект, вызовет интерес к доселе почти неизвестным ему идеям, событиям и спорам.

А. ТИМОФЕЕВ

Ренан Э. ЖИЗНЬ ИИСУСА. — М.: СП «Вся Москва», СП «Терра», 1990.

ЗАКОНЪ БОЖIЙ

Удивительна душа народа! Казалось бы все... Вот и согнулся человек, ослабленный репрессиями, большими и малыми войнами, нищетой, недоеданием, пьянством; и плечи его опустились, и в глазах, вздрогнув в последний раз, остановилась смертельная тоска, — только бы выжить, только бы детишек поставить на ноги. Но вдруг раздался робкий еще, с оглядкой, с сердечным замиранием, первый Благовест; дивным, оживляющим звоном проплывший над почившей землей — и выпрямилась спина, и в угасающем было взгляде проявилась тысячелетняя мудрость. Ан жива душа. Жива! И сокрытые от недобрых глаз, подернутые пеплом искорки изначальной духовности, неистребимой веры в великое предназначение своей бессмертной души, в мгновение ока возгорелись святым и теперь уже неугасимым пламенем.

Семьдесят лет уничтожали душу народа, растаскивали по частям, дробили, перетирали в пыль, почище мельничных жерновов. И вот те самые «профессионалы», что нынче «перестроились», вдруг возопили. Даже им стало страшно за своих детей — земля-то одна, а нравственная катастрофа (она же — экологическая!) видится неминуемой.

С каким-то шальным весельем, сладострастием пустилась «освободившаяся» пресса живописать нравственные язвы и пороки нас, смертных, словно обуялась целью создать энциклопедию такого рода. И еще слышны в этом гомоне печальные слова: а пожинаем-то посеянное.

На сегодняшний день даже отпетому атеисту ясно: спасение жизни только в восстановлении утраченной духовности. Альтернативы, как любят выражаться наши публицисты, нет. Именно духовность — единственный заслон на пути всепоглощающего вала всеобщей лжи и лицемерия. Недаром, когда Иисус Христос обличал книжников и фарисеев, он называл их лицемерами, указывая на этот тяжкий вид лжи — лицемерие, которым исполнены были мнимые вожди народа.

И люди вспомнили и о Вере, и увидели в ней единственное спасение, последнюю надежду! Бросились читать, чтобы хоть каким-то образом утолить духовный голод, приобщиться, если это возможно, к истокам нравственности, к Русской Православной Церкви. Но увы — сравнительно доступными оказались лишь общие, вырванные из цельной системы всего религиозно-философского наследия, отдельные, зачастую противоречивые, а то и труднодоступные из-за исключительной философской насыщенности, статьи Бердяева, Флоренского, отца Сергия Булгакова. Иными словами, начинали изучать математику с алгебры, минуя арифметику. Но так не бывает. Вернее, так в голове образуется лишь невообразимая «каша», названная предельно точно — «образованщиной». Вот почему, как нам представляется, выявилась настоятельная необходимость в журнальной публикации «Закона Божия», то есть основополагающих знаний о православной вере, которыми должен обладать буквально каждый, вне зависимости от того — верующий он или неверующий. Есть необходимый общеобразовательный минимум знаний в вопросах религии, от которых современный человек оказался отлученным, получая представления о ней чаще всего по враждебно воинствующим атеистическим источникам. Что само по себе еще более чудовищно и кощунственно, чем незнание. Поэтому нам хотелось бы представить читателям наиболее авторитетные религиозные книжные источники. Публикация «Закона Божьего», как и книги Ренана «Жизнь Иисуса», планируется на целый год с продолжением в каждом номере, с тем, чтобы читатель мог переплести и получить таким образом цельную книгу «Закона Божьего». Начнем мы с ее первого номера 1991 года.

Вместе с церковнослужителями материалы раздела готовит писатель Евгений Чернов.

ИСПОВЕДЬ

Дневники. Письма. Воспоминания.



Полностью исповедь Б. Шергина выходит отдельной книгой «Изящные мастера» в издательстве «Мополая гвардия».

Диевники Б. Шергииа подготовил к печати писатель Юрий Галкин.

БОРИС ШЕРГИН

ЖИЗНЬ ЖИВАЯ

из дневников 1942-1953

Но и сторонники Никона, теоретически разделявшие его взгляды на искусство, может быть незаметно для себя увлеклись «живостью» в искусстве и способствовали этой живости. Таковы были, например, знаменитый деятель Севера, Холмогорский архиепископ Афанасий (род. в 1640 г., умер в 1702 г.) и современник его, страстный любитель искусств и сам художник, сийский архимандрит Никодим. В Сийском монастыре была старинная живописная мастерская. Под руководством такого теоретика и практика, как Никодим была, несомненно, и Холмогорская мастерская. И если у себя в обители Никодим поддерживал относительную древность «сийского» стиля, то на Холмогорах, поощряемый широкою, жизиедеятельною иатурой Афанасия, вводил в иконопись реальный пейзаж, «младую округлость» фигур, белость и румяность ликов. Впрочем, и сийская школа давно, еще до расцвета своего при Никодиме, писала ангелов с обнаженными по колеио ногами, с голыми по локоть руками[1].

В таких случаях исследователи начинают как дятлы долбить о влияиии Запада. Любовь Афанасия к художеству объясняют (А. Голубцов) исключительно влиянием Немецкой слободы в г. Архангельске. Жалкое, но типичное объяснение. У торговых дельцов, наезжавших в Россию исключительно для наживы, наши Афанасий и Никодим заразились, видите ли, страстью к искусству.

Нам гораздо интереснее то, что эта страсть Афанасия строить, перестраивать, обновлять, а, главное, украшать, дала толчок, стимул бытовым народным художникам и ремесленникам. В течение двадцати одного года, буквально день и ночь «без поману» и на Колмогорах, и в Архангельске, и по Двине, и по Пинеге работают «каменные мастера», «плотники добрые», «искусные умельцы по железу», «мастера кузнечного дела», «добрые мастера столярского художества», «изрядные живописцы малеры» (эти «малеры» расписывают карбаса и струги, паруса и завесы, сани и кареты, потолки и двери, крыльца, галереи и переходы). В великом фаворе у Афанасия были художники-резчики по дереву и, конечно, резчики по кости.

Холмогорская резьба по кости является одним из самых оригинальиых, самых изящных народных художеств России. Из всех народных искусств русского Севера оно стало и широко известным, и наиболее оцененным.

Читающий статьи-исследоваиия об этом искусстве получает впечатление, что оно как бы вдруг, как бы упав с неба, расцветает на Холмогорах с первой половины XVIII века. Прикидывая и примеряя, один из исследователей (а их всего двое) полагает первым организатором холмогорских костяиков зятя Ломоносова, Головина. Никто из исследователей народных искусств Севера (правда, эти «исследоваиия» носят очерковый, эскизный, чисто дилетантский характер) не рассмотрел, не оценил столь важной, столь значительной в истории искусств эпохи, какова была эпоха Афанасия и Никодима. Очевидно, не доходили руки или не пришло время.

Между тем, «зажиг» пошел от Афанасия. Не при нем костерезное художество зачалось на Колмогорах, но он первый единичиых резчиков собрал в «число».

---

[1] Мастерская в Сийском монастыре основаиа преподобным Антонием Сийским (ум. 1569 г.), который сам был «живописцем изящным». «Сийское письмо», т. е. стиль, определилось уже к коицу XVI века.

У старинщиков, у старообрядцев, любителей издавна существует термин «северные письма». Так называют икоиы своеобразиого стиля, вывозимые с Севера. Их изводят то от Строгановых с Соли Вычегодской, то из Устюга, то с Вологды... Почему-то совершенно вне внимания осталась и остается школа «сийская», существовавшая во всяком случае до конца XVIII века. Как ни страино, эта школа раньше других русских «школ» живописи отразила на себе «барочиые» веяния (а м. б. ренессансные?), но преломила их чрезвычайно своеобразно. Несмотря на какое-то веяние ренессанса или барокко, «сийская» школа, например, первой половииы XVII века, выглядит архаичнее икон московских той же поры и не похожи на них. Но ие похожи оии и иа новгородские (ни на византийские — большая декоративность). Цикл икон иа тему «Апокалипсис» (12 громадных квадратных досок) в ц. Рождества в г. Архангельске. Тона синие, зеленые, чериые. Мало вохры и киновари.

Окончание. Начало в №№ 3, 5, 8 / 1990 г.

Афанасий и, несомненно, Никодим, собравший колоссальный «свод» русского художества — «Сийский лицевой подлинник», дали резчикам рисунки-образцы и подробнейшие инструкции.

Эпоха Афанасия была эпохой любой борьбы с расколом, борьбы страстной и непримиримой. Сам Афанасий первоначально был яростным противником «никоновых новин» и «адамантом древнего благочестия от своих нарицашеся». Но внимательное изучение классиков, так сказать, святоотеческой литературы заставило его усомниться в правоте раскола. «Ежели по букве мы, в малом чем и видимся правы, то по духу церкви единой вселенскои мы не правы: вокуя за меньшое, попираем великое». Афанасий сблизился в Москве с видными деятелями и сторонниками новых веяний — Стефаном Яворским, Симеоном Полоцким, Епифанием Славинецким, с художниками — Симеоном Ушаковым и другими. Поскольку Афанасий был великий знаток «божественных» писаний и страстно интересовался церковными делами, его приобщил к себе патриарх Иоаким.

Проповедь старообрядчества, как известно, особенно живой отклик и сочувствие встретила на Севере. Дальновидный Иоаким учредил в Колмогорах архиепископию и послал туда Афанасия. Староверы твердили, что, де, «нонешние архиереи чины и уставы церковные ни во что кладут». Между тем, Афанасий был любителем, исправленным знатоком и ценителем богослужебных уставов, чинов и обрядов. Благодаря Афанасию, раскол не стал на Севере явлением массовым.

Северные люди чутки ко всякой красоте, к художеству, к искусству. Ценитель, любитель и знаток «всякой красоты и преизящности», Афанасий в своем строительстве необычайно широко применял народное искусство.

Построенный Афанасием каменный собор в Колмогорах поражает строгим изяществом архитектурных пропорций. Даже дверные навесы, пробои, затворы «кованы с вымыслом». Замки, кованные по рисункам самого Афанасия то в виде конен, то в виде птиц, до сих пор, двести лет спустя, служат своему назначению. Настолько добротна была эта техника.

Афанасию, воспитавшему свой художественный вкус в Москве, странной казалась архитектура северных шатровых церквей. Приехав на освящение церкви Козьеруцкой пустыни, владыка зело кручинился: «Откудова вы взяли такое поведение, чтобы городить фряжский турм?» (Дас Турм — башня).

Афанасий сам стал делать рисунки и чертежи для новостроящихся на Севере храмов, предписывая «освященное пятиглавие». Надобно сказать, что северные зодчие и плотники зачастую «учинялись архиерейскому указу ослушны и противны».

(Во всяком случае мысль Афанасия о происхождении северной шатровой архитектуры от готики любопытна.)

Но любовь Афанасия к бытовой «преукрашенности» нашла сочувствие. Из Колмогорской и Сийской мастерских распространялись рисунки-образцы всякого «узорочья». Кроме старо-русских, здесь видим и мотивы северо-европейского барокко и рокайль. В горниле северного народного творчества европейское «барокко» XVII века и французский «рокайль» переплавились, стали одним из видов вполне «русского» стиля.

В XVIII веке мода на художественные вещи, сделанные «по маниру огородов Версальских», распространилась всюду. И холмогорские, например, резчики-костяники, к чести их, могли предложить обществу этот «барок» и этот «рокайль» уже в чисто русской переработке.

Всю неделю таяло. По дворам, по проулкам вода. У нас и не пробредешь, калошишка заливает. Против окон лужа. В нее глядится небо, чуть пооблачное. В Хотькове уже грачи прилетели. Братец не приметил, которого числа...

...Кабы брести тихонечко деревенской дорогой, меж глазыя лужи. В оврагах еще снег. Под снегом, а инде поверх, ручей гремит. Подойти бы да посидеть у избушки на обсыхающей завалинке. Хозяин скворешник чинит. Петух где-то далеко пропоет. Тишина. А небо, небо ненаглядное...

Опять думается: «там хорошо, где нас нет». Печали да заботы с собой ведь носишь. Думается: кабы нужды да печали сердечной не было, так и в городе, в кирпиче сидел бы, ох не молвил...

Сей год малоснежная была зима. Поздно падали снега, не слежались, их круто и сгонило. По городу булыжник везде вытаял. В переулках грязно, по большим улицам уже обсохло.

Из жилья своего низенького вылезешь, в глазах зарябит: как светло! Грязь, лужи, а светло. Вишь, небо в лужицо глядится. И несозвучным этому блеску сам себе кажешься. Как крот подслепый выполз. Бульваром брел да брел. Чудное дело: день, а бульварами никто не идет. Слякотно, вишь. Грязь, вода. Порядочные люди тротуарами сыплют. Я непорядошный, дак грязями грести люблю. Вру, что никого нет: ребятишки тоже не как люди. Им тоже не интересно по сухим тротуарам. Им тоже любее по снежным лужам обутку мочить. Стайка мальчишек видят, что я вроде них, кружаю по лужам, остановлюсь да на воробьев погляжу, тростью в луже поболтаю, веточку понюхаю, — возымели ко мне симпатию: «Дяденька, пойдемте, вон там за деревом лужа больша-ая! Сидеть можно!» «В луже?» «Нет, пенек есть».

Март ненаглядный, раннее утро года. В марте и вечер беспечален.

Ребятам любо, где «почтеннейшей» и всякой иной публики нет, и мне тоже.

Мальчишки, они озорники, да светлые они. Предвзятости, тяжести, а, главное, скуки в них, в детях, нет, грузу этого. Злобы, а главное — безразличия к людям в детях нет.

Безлюдье, будто и не в городе. Ясное небо, вечернее. Мокрые дороги, вода. Холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

Время к восьми вечера. А все еще не погасла заря. Дома уже стоят черными силуэтами. Но потемнелая дорога все еще блестит лужами, отражающими тихий свет зари.

Был я еще молод, и также в это же оконце глядела долгая весенняя заря. И опять вижу узор ветвей на золотистом догорающем небе. Когда-то (а уж не так давно) сладкая радость проникала мое сердце от этой красоты неба, веток, воды. А теперь я гляжу и знаю, что это радость, — ведь любимый мой месяц март! Но как будто остается эта радость там, за оконцем и не проникает меня.

И, выступая на подмостках, я уже не вхожу в роль. Делаю привычные жесты, привычно понижаю или усиливаю голос. Смешу. Публика хлопает, а мне, увы, безразлично. Ведь что в двадцать пять, то и в пятьдесят пять преподношу. Не чувствую, примелькалось.

...Бойко сей год вода сбежала и с крыш и со дворов. Не успел я наслушаться этого шепота ночных мартовских капелей. И сосулек ледяных с кровель не видел. Конечно, в деревне протяжнее весна. У брателка все выспрашиваю, как на Хотькове воды, да как ручьи, как грачи, Пажа какова? А до грачей ли ему? В ночи-то с работы к поезду попадает: зги не видно, грязь да вода. Дорогу утеряет, на поезд опоздает, на ветру ждет...

Уж второй час ночи, братишки нет. Я сижу, жду, — он стукнет в оконце.

Вот ведь горе: для гнева, для ярости, для раздражительности, для всякой скорби, для страха, для печали, — по-прежнему обнажена душа. А к тонкостным впечатлениям, скажем, зимней, весенней природы душа моя стала тупа и косна. И это не потому, что «мартышка к старости слаба глазами стала». То, что для меня детали пейзажа тушуются, не есть минус (в планах живописного восприятия). Не крошечными лукавыми глазишками моими согладаю я, скажем, вешния воды, вербу у ручья, жаворонка на проталинке. Тут зрительные впечатления не главное. Ты сам участник пейзажа и воспринимаешь его всем существом, всеми чувствами:

а) осязанием, потому что ноги твои разъезжаются вон куда, вон в какие синие дали уходят. (Сюда прибавь-приложи веяние ветра, ощущение сырости воздуха. Озябнешь ты, ноги промочишь, это все неотъемлемо при живом восприятии).

б) слухом. Для творческого восприятия природы слух великое дело. Не только поэт, музыкант, артист, но и «живописец» слышит «картину» природы. Слышать и слушать, например, тишину русской весны. Тишину эту акцентирует журчание ручья, шелест ветерка вон в тех кустах, карканье грачей вон на том дальнем холме.

в) обонянием. Ветерок пахнет, холодок пахнет, сырость пахнет. Это в марте. А в апреле земля будет преть, пахнуть. А когда деревья зачнут распускаться, тут ты и сам знаешь, «чем пахнет». И веточку, и травинку сорвешь: обоняние и осязание вместе. И все неразлучно с живым восприятием пейзажа.

Я к тому говорю, что

зрение — далеко еще не все даже для художника-пейзажиста. «Смотрит» ведь и объектив фотографа. Но что в том? Фотография — это инвентарный список, опись имущества.

Так что вот я не на глаза обижусь, а на то, что другие чувства лживы стали, невстанливы, безучастны.

В чем-то я еще не разберусь: если красивый изгиб черной ветки на фоне белого снега меня уже не трогает (примелькалось, обыграно, облюблено), то «силуэт» нищего ребенка с протянутой ручонкой «на фоне белого снега» я не могу равнодушно видеть. (Прежде было иначе.) Но это во мне не доброта, не любовь. Любовь деятельна. А я только копеечку дам да вздохну. Таких «добрых», как я, «до Киева не переставить...».

А на дворе в сутеменки выпал снег. Небеса черные, земля белая.

Из книги «Домовых указов» Афанасия архиерея Колмогорского от 1961 года: «Как бывает нам, преосв. архиепископу, провожанье из соборныя церкви в наши хоромы, и подьяки-робята, и певчие идут чинно, и свечи несут искусно. А как нас в хоромы заведут, и обратно летят стремглав, и у соборной паперти, запнутся, падают, и свещи ломают. И ты б, ключарь, велел каменщику у паперти, у плит переды скобелью выгладить, чтобы робята не падали. То первое дело».

К сему ключарь рече:

— А второе дело: тем робятам зады ремнем выгладить, чтобы знали да не падали.

«На Велик День соборному протопопу снести нам в поднос пять яиц, а градским попам нести по три яйца крашеные, а дьяконам снести по два яйна» (1683 г., апреля 12 дня).

...Чудное дело: вижу куст, дерево в черной воде, полоску снега в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора, бреду через лужу, которая разъеличилась во весь перекресток, вижу нищих у церквицы, откуда доносится великопостное: «Иже в девятый час...» И ты скажешь: «Воспоминания детства как живыя встают передо мной...» В том-то и дело, что не «воспоминания»! Воспоминанье — это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует.

Ты скажешь: «Понимаю: события твоей жизни являются для тебя звеньями единой цепи...»

— Но цепь ведь влачат! Разве ты «влачишь» воспоминания детства? Или уж это чудная «злачая цепь». «Красное золото не ржавеет»... И, дивное дело: бывали ведь и в юности, в отрочестве горести-печали, но в «златой цепи» жизни моей черных звеньев нет. Должно быть, с «золотом» слезы-то сплавились.

— Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобою сорок лет назад и то, чем живешь ты в данную минуту. Как можно совместить переживания шестнадцатилетнего с шестидесятилетними?

— Видишь ли, несколько десятков лет моей жизни — это несколько десятков червонцев, которые все при мне. Существо этих «златниц» таково, что их нельзя растерять. Жизнь свою я назвал «златою цепью». Первое звено ее есть мое младенчество, последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается вечность.

При этом называю и свое «младенчество» первым звеном, а «старость» последним очень условно. У цепи два крайних звена, два начала, и естественно их соединить.

Разговор сейчас идет не о вещественном, плотском, осязаемом. Но все же и тело мое, руки, ноги те же самые, что «были» в четырнадцать лет. Я говорю о «переживаниях» тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменьем, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родилась реальность, стали существовать «вещи», которые нельзя осязать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые несомненно существуют.

Истинная мудрость должна была об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано... Человек я зело негр목ный. Языка у меня этого нет и терминологии надлежащей не знаю. Опытно, для себя дошел, а объяснить не умею.

Но я и не собираюсь создавать философской системы. И я говорю отнюдь не о вещах отвлеченных. Ничего абстрактного я не понимаю; этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность, но я «не учен, не школен и в грамоте недоволен».

Я упомянул о своих «переживаниях», которые являются знаком и залогом и которые есть доказательства несомненной реальности, а отнюдь не воображения.

Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В четырнадцать лет у меня был некий «пир», некий «брак» с дождем. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, березы, тополи, пели птицы... Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в теплых потоках. И как бы «восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы». Царственно было... Как будто утешитель меня всего исполнил.

Это событие «плоть бысть» и существует.

Таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние в теперешние годы жизни. На Паже, затем у прудов. Я как бы видел суть вещей. Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз, но в эти (не знаю, часы или минуты) все становилось «не тем». Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению...

Был сентябрь, конец месяца. С тяжелой ношей спустились мы с братом в долину Пажи, от Митиной горы к Больничной. Брат пошел быстрее, чтобы взять билет. Я брел тихо. День склонялся к вечеру. Безлюдно, безглагольно. Бурая земля, черная вода, голые деревья. Я с трудом передвигал ноги. Но вдруг все начало изменяться передо мною. Преславно стало вокруг. Как бы завесы открылись, раздернулись. Все стало несказанно торжественным. И черные воды и долина пели, пели как громы, сладко и дивно...

...И еще утра волшебные тихие на реке Лае помню. Описать словами не можно... Не один год жил я на Лае. Из окон домичка нашего все один и тот же вид: река под окнами, лодочка у пристани, изгиб полноводной реки, луга на той стороне, кайма лесов... Но бывали утра — мы собирались с отцом на охоту. Он укладывает парус, весла. Я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый призрачный туман над водами. Небо глядит в зеркало вод. Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками...

После полдня стало пасмурно, потянул знобкий ветер с Севера. Кот полез в печурку: не снег ли будет?

Носил дровишки. Хорошо, любезно сердцу на дворе. Строгая такая погода. Красота офорта; свет без теней. Голая земля, лужи. Но не осеннее остывание, а надежда, охота к творчеству, ожидание радости.

Подложив под колени плаху, колю у сарая дровишки. Озяб, дак греюсь. Люблю, когда холод или дождь на улице, — население в дома улезет... Колю дрова, а сердцу любее да светлее. Суровость весны, строгость дня, вселенское могущество природы... Это все как мать меня обняла. Топором-то тюкаю, согнувшись, и оглянуться боюсь: кабы, де, из объятий не вывернуться. Передо мною водная лыва, камень, глина, дерево. И ветер, и небо. А завтра Благовещенье. Радость нашептывает мне: тебе любо потому, что во всей вселенной так: и над звездами, везде ручьи, и весна, и вытаяли камни, и скоро пойдут реки, и на планетах сейчас грачи вьют гнезда, и завтра Благовещенье, обещание радости...

Вчера к ночи вылез на двор братишка ждвть: подивился тихости часа. Уж ни снега, ни льдины. Дворы, дороги сохнуть хотят. То уж апрель, заветное утро: еще «друг наш» спит, но жизнь идет будить его. Последние пелены снимают с земли живые вешние ветры.

Апрель месяц, заветная пора, заповедное время. Ветры обвевают дороги, обсыхают холмы. «Пойду по тропам, по дорогам, пойду по холмам, по долинам...» Все восхищаются, когда «шествуя, сыплет цветами весна». Я люблю пору ожидания и время обещания. Люблю эту тихую и прекрасную прелюдию весны.

Нынче тихий облачный день, без тепла. Ровный свет, как бы утро. На кухне спрашиваю у молодки: «Что сегодня на дворе-то?» — «Хорошо, — отвечает, — весна! Не ушел бы с улицы».

С улицы входит молодкина свекровь: «Суровый день. Часу не могла с ребенком посидеть, — застыла».

Завидно мне на молодых. Чем ни то обвеселятся, так уж надолго. А старый обрадуется чему-нибудь, да и повянет. Молодость ни иад чем веселится, а старость хоть знает, над чем надо радоваться, да сил мало радость-ту удержать. Молодость веселится над тем, что есть, видит то, что сейчас хорошо. Старость ноет о том, чего иет, видит то, что плохо.

...Облачный день, западный ветер. На Севере, должно, идут реки. Стиль дня был северный, была некая важность. Пелена серебристых облаков потянула иебо...

Воспоминание не может надолго приковывать внимание человечества. Люди живут настоящим. Традиции могут существовать долго, но и они бледнеют и исчезают. Историческим событием, воспоминанием о нем может жить эпоха, в которую событие это случилось. Следующие эпохи, следующие поколения интересуются новыми историческими событиями...

С тем да с другим суетимся... Уж нет этого желанья-раденья писнуть что-нибудь. Июнь-то поет — все дожди да и с холодами. Кто говорит: ладно, трава растет. Кому опять неладно... Братишечко все кашляет, особливо по утрам. Ажно мокрый сделается, до того его кашель-то добьет.

Сряжаемся в Хотьково, да не удумаем как. Сейчас и в городе не лихо: пыль-ту убило дождями. Братец из деревни приедет, мне все фиалок привезет. Недели с две было: как ночь, так во всю комнату аромат.

А сейчас братец ромашки приносит.

И писать не знаю что. Работать надо, а не вымышлять праздно.

Что у меня за подлый норов: раздосадуюсь сам на себя, а придираюсь к братишке. Сегодня он на работу ехать спешит, летает-собирается, а я выбрал время, гундосить начал, что, де, долгов он не платит, «неимущих, де, людей обидит, писцу, де, должен и сестрице должен...». Он разобиделся...

И что это за подлый у меня норов? Ведь знаю, что не может он концы с концами свести. Ведь знаю, что и работает он свыше сил, а ест... Братишко уж и есть расхотел. Допостничались: туго было с месяц...

Священное таинство, служащее и вызывающее явление на земле нового человека, втоптали в грязь, сделали скверностью. Но «тем море не погано, что псы в него налакали». Недаром речено, что женщина спасет свою душу рождением детей...

Ночь... Братец уехал в город с ночевкой. Тьма окутала землю. Призрачными дорогами тянется над болотами туман. Лес будто подошел к оконцам. Меж вершин елей как свечи стоят звезды. Миры неведомые. Хоры дивные светил. Кто зажег их? Кто учредил эту бесконечность? Кто учинил это величие? Что и кто там дальше звезд?. Тайна, умом непостижимая, но поклоняемая и славимая. Источники жизни на земле оттуда. Потому что Земля частица Вселенной.

Людям некогда глядеть в звездные миры: «Видели. Ничего нового». Тем же обычаем и о светлости младенческого лица говорят: «Что там... Ничего оно не выражает, потому что ребенок ребенок и есть». Звезды — звезды и есть. Ребенок — ребенок и есть.

А между тем нет никакого сомнения, что светлость младенческого облика есть отпечаток светлости иных, неприступных миров.

С годами эта светлость сбежит с лица дитяти. Но пока она сияет в лице дитяти, я несыто хочу глядеть на него, и спрашивать, и угадывать, и дознаваться.

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьется меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тропинка. На высоком песчаном обрыве громоздятся ели. Щебечут птицы. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж: светло-желтые поля на холмах, елочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-облачное, тихое небо.

— Добро нам здесь быти, — говорю я брату. — Построить бы избушку под елью...

А на Маковце, всякий раз, как побываешь у него, еще много видится светлого чуда. Три белых собора — как три белые птицы у моря. Они только что сложили крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже созда ученик над гробом учителя», дивная «золотая легенда» Андрея Рублева... Здесь поет «птица Сирин, глас ее в нощи зело силен. Кто поблизости ея будет, тот все в мире сем позабудет». Он, ученик «Святой Троицы», вдохновлял и Андрея Рублева, и зодчих. В этой песне линий и красок у блаженного Андрея, в этой песне зодчества душа великого Сергия.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над вратами. Линии, краски, очертания фигур, здания, — все нездешнее, на всем свет горняго мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века осьмнадцатого. Знаменитая кампаиилья, «чертоги», — это все вошло и в народное искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительиын синтез русского искусства вообще... Неожиданно, с дороги открывается взору эта сказка... Точно виденье возникает перед тобой этот холм, этот явленный Китеж древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь: — Господи, да что же это?! Наяву видится, или во сне чудится?

Невольно начнешь спешить, опережая других, начнешь торопиться для чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», ногами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве, там, на Севере, слыхал я древне-русские былины. Прозвучали, да и нет их. А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву. Боговдохновенная песнь старой Руси стала вещественной... Лазурная музыка древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России...

В народное искусство, даже в игрушку «радость детей», вошли красоты чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то что видится, принимается сердцем. Великолепно явила себя здесь эпоха Платона... Но душа моя хочет придти, припасть и поклониться тому, что озарено немерцающим светом Сергия... и Андрея Рублева...

Благодарная эпоха Сергия — XIV век, эпоха учеников его — XV век, — это самая сильная, самая обаятельная, самая могучая струя жизни этого чудного Града, который есть сердце Святой Руси.

В призрачной и таинственной сумрачности оной «церкви чудной» мерцают свечи. Там отец наш. Там молчит священная гусль Руси Святой. Но разве молчит эта божественная гусль? Нет, она поет, и говорит, и зовет.

В нашей русской природе есть некая великая простота. Эту простоту *скудостью* назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душевные очи художника в этой *простоте* видят неистощимое богатство. Серенькое русское небо, жухлаго цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина — на первый взгляд она схожа с горошиной, но вглядись в жемчужину: в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, «голубоглазый василек»? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное свое творение — икону «Святая Троица»!

Жемчужность и перламутр рублевских красок — оне русского «серенького» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана Грека!» Нет, уж извините! Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линий и очертаний, но и красок, блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

(1953)

Вот, как регистратор, записываю «входящия да исходящия». А бывало, философствовать любил. Теперь уж ничего такого в уме не родится. Всем оскудел: и телом и духом... В компании с рюмкой в руке, или в театришке балаболю речисто. А обычно косен и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? Художество любил с детства, рисовать, красить, вырезать, мастерить что ни то, — очами оскудел. Желание есть, а зреиие ие позволяет. Живое слово люблю: сочинять бы да сказывать. Ино, этот товар не идет. «Раз в год по праздникам» позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказывать. Ино для этих редких и случайных «разов» нет резона сочинять да слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? «Уронена стара мода со высокого камода».

Я поминал, что уж не восхищаюсь природой как прежде... А все же, пустой да унылый, выглянешь на улицу или в окно выглянешь: солнышко, небо, воздух, зелень, по долине внизу вьется Пажа. Посветлеет на уме-то, теплее станет на сердце. Животворная она, природа...

Слышал человека, побывавшего на Севере:Кемь, Онега, Ухта, Вокнаволок... Все, слышь-ка, однообразно. Климат, слышь-ка, скудный, холодный.

А мне родина моя какой кажется прекрасной. И не сравню с здешними местами. Тихославная Двина, родимая северная речь, прекрасное зодчество... Отцы и праотцы там лежат. А меня отнесло-отлелеяло от родимой стороны. Иное и вздохну «о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом».

Но уже не оторваться мне от здешней, теперешней жизни. Близкое и дорогое мое здесь. Тут все мое дыхание и сердоболь. Забвенна буди десница моя, пусть иссохнет язык мой, если забуду тебя, родина моя прекрасная.

Но здесь, «на реках вавилонских», и жизнь моя, и дыхание, и все. Север для меня — туманное и сладкое воспоминание, а жизнь моя здесь.

Разница культур. Северные люди любят древний стиль в иконописи. Северный крестьянин и мещанин ежели и не гонится за древностью иконы, то все же требует, чтобы написана она была письмом «горним и пренебесным», считая, что все святое и поклоняемое может быть передано исключительно формами, линиями и красками греческих и древне-русских живописных пошибов. В дни молодости моей в домах северных людей — Беломорье, Сев. Двина, р. Пинега, р. Мезень, Печора, — нельзя было встретить икону «новаго», малярно-«академического» стиля. Это, во-первых, потому, что жители Севера тщательно берегли иконы, унаследованныя от предков. Во-вторых, приобретая или заказывая новую икону, требовали, чтоб пошиб был «священный», канонический. «Живописную» (некогда заимствованную с Запада) манеру иконописания, северный народ считал профанацией, снижением, недомыслием. Дескать, это будни, это обыденное, сесветиое. А «то» искусство передано из мира горняго, от ангелов.

По поводу одной картины Нефа поморка сказала:

— Что уж... будто обыкновенная картина... Наснимают барыней да ты им и молись. Она хоть и скромница, а тельна очень, хлебна... Глазки голубенькие, щечки румяненькие, губочки собрала. Нет, уж это не «Высшая небес»...

Люди Севера также любили древнюю манеру церковнаго пения. Характерность не только мелодии, а самой манеры исполнения «столпового», крюкового пения считалась на Севере принятой от ангелов. Наоборот, — театрализованное чувственное, давно уже распространенное в России пение, не нравится северным людям. Оперно-концертный стиль церковного пения поморы, двиняне и др. считают недомыслием, оскудением, ложью и ничтожностью. Концерты, распеваемые в церкви, рев басов, визги сопрано, по мнению северных людей, есть «скраденная ересь». Не о староверах говорю. Это дух общей культуры Севера. Кстати сказать, в таком рассаднике церковной культуры, как Сийский, пение искони употреблялось только и исключительио «столповое», знаменное с его особливой техникой исполнеиия.

Северный человек, почитая церковь «земным небом», считает, что здесь все должно быть не такое, как в сем мире. И глаза и ухо должны видеть и слышать «пренебесное», надмирное, высокое. Условно-идеалистическая живопись, особый стиль пения, красота которого столь несродна общераспространенным ныне понятиям и вкусам, — вот что требует душа Северной Руси.

Перечитывал «Запечатленного ангела» Лескова. Нельзя довольно надивиться богатству этой повести.

У Лескова несравненный вкус, Лесков никогда не свернет на торную дорожку слащавого и баиального «русского штиля», которому так легко подражать. Язык «Запечатленного ангела», «Полуночников» и (местами растянутого) «Очарованного странника» навсегда видится нам струею чистою и живописною посреди мутноватых и подражательных и зачастую бездарных подражаний народиой речи.

Не беда, что все мы слабы телом, больны. Беда, что ослабли духом. Не только немощные, но и здоровые телом негодуют на всякое беспокойство в личной жизни. Даже бабушки и дедушки, дяди и тети крайне тяготятся внуками:

— Не отдохнешь, не сядешь как следует чаику попить...

Не дадут полежать, кричат, стучат, шумят, просят есть, одень их, раздень, подай то, подаи другое, капризничают. С улицы дети приходят в пыли, в грязи, с мокрыми ногами. Что-нибудь разорвут. Надо на них стирать, гладить, зашивать, штопать. Надо купить обутку, одежу.

Такова же и психология современных бабушек и тетеи, живущих в деревне, хотя там жить просторнее и привольнее...

Но, в общем, иссякло чувство любви и жалости даже к внучатам, к племянникам, не говоря уже о чувстве к неродным детям.

Все мы устали, всем нам некогда, всем нам надо работать, все мы хотим спокоя. И далеки и непонятны нам слова об «иге», которое надо взять на себя, для того, чтобы обрести покой душе. Если бы в нашей душе жила любовь и жалость, если б мы горевали о том, какая жизнь у них будет, мы терпели бы беспокоиство от них, не тяготились бы усталостью. Мы почувствовали бы, что дети «иго благое и бремя легкое»...

Но не найдем спокоя мы, жаждущие устроить жизнь себе к покою.

У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края оиаго таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ея уже близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца, оттого я и чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца онаго дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойио надо коиец-то жизни-кольца, из того же и чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности.

●

ИСТОРИЯ

Очерки.
Мемуары.
Документы.

ОТ ФЕВРАЛЯ



ДО ОКТЯБРЯ

Рубрику ведут
Андрей Кочетов
и Алексей Тимофеев.

Летопись в рассказах лидеров, участников и очевидцев революционных дней.

Продолжение. Начало в № 11, 1989, №№ 2—4, 7—9, 1990.

Нестор Иванович Махно (1884—1934) — один из самых легендарных, но вместе с тем самых искаженных в нашем представлении и в сущности малоизвестных фигур революции и гражданской войны. В этом выпуске рубрики мы предлагаем вниманию читателя фрагмент из воспоминаний Н. Махно «Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 г.), книга 1», изданных библиотекой махновцев и федерацией анархо-коммунистических групп Северной Америки и Канады в Париже в 1929 г. Автор посвятил книгу памяти ушедших из жизни соратников по «совместной борьбе за свободное, безвластное коммунистическое общество». После прочтения работы становится ясно, что автор остался верен своим идейным убеждениям и по прошествии нескольких лет после поражения в боях на юге России.

Прирожденный вожак и организатор, Н. Махно, выходец из бедняцкой семьи, вспыльчивый и дерзкий, в 1907 г. был приговорен к бессрочной каторге за убийство пристава — одного из «душителей свободы». От смертной казни Н. Махно спасло лишь несовершеннолетие (наступавшее по российским законам в 21 год). После освобождения он возвращается на родину и до 1921 г. руководит т. н. «анархо-кулацкими бандами», воюющими то против гетмана и немецких оккупантов, то на стороне красных (как утверждают, в мае 1919 г. комбриг Махно был награжден орденом Красного Знамени), то, после различных «перегибов» Советской власти по отношению к крестьянству, против них, как «врагов народа и душителей свободы»... Махно пользовался огромной личной популярностью, основанной на его бескорыстии и ненависти к «эксплуататорам» — «С угнетенными против угнетателей — всегда!»

В эмигрантском повествовании А. Николаева «Жизнь Нестора Махно» приводится письмо вождя украинских повстанцев друзьям, написанное 16 апреля 1923 г. в Париже: «В Киевщине я был опасно ранен и, будучи в беспамятном от потери крови состоянии, отправлен напуганными за мою жизнь и общее дело повстанцами в Румынию, где был посажен в тюрьму, но бежал в Польшу. Поляки на границе меня арестовали и водворили в Варшавскую крепость, но стараниями единомышленников я был вызволен. На территории Данцига был вновь арестован и посажен в немецкую тюрьму, но оттуда бежал. После подобных странствований я обретаюсь ныне в Париже, среди чужого народа и среди политических врагов, с которыми так много рвтовал... О чувствах моих: они неизменны. Я по-прежнему люблю родной народ и жажду работы и встречи с ним».

Встреча эта не состоялась. Махно, влачивший полуголодное существование в Париже, летом 1934 г. умер от костного туберкулеза и похоронен на кладбище Пер-Лашез. Последним занятием революционера было изготовление модных веревочных тапочек...

Написанные малограмотным Махно мемуары не отличаются красотами стиля. «Литзаписчиком» был один из основных его идеологов — Михаил Волин (родной брат известного советского литературоведа Б. М. Эйхенбаума).

Трагическими оказались судьбы вдовы Махно Галины Кузьменко и дочери Елены. После оккупации Франции немцами они оказались на принудительных работах в Германии, а в 1945 г. Г. Кузьменко уже в Киеве советским судом была приговорена к 8 годам лагерей. В заключении она находилась, что называется, на одних нарах с вдовами И. Якира и генерала А. Власова. Дочь была отправлена в ссылку в Казахстан.

В этом году в издательстве «Молодая гвардия» выходит в свет исследование постоянного автора нашего журнала С. Н. Семанова «Жизнь и смерть Нестора Махно», впервые основанное на архивных документах и воспоминаниях о личных встречах историка с родственниками Н. Махно в Джамбуле...

В работе известной ныне и у нас эмигрантской писательницы Н. Берберовой «Люди и ложи: русские масоны XX столетия» есть не одно и не два упоминания о Владимире Бенедиктовиче Станкевиче (1884—1969). В 1917 молодой, энергичный, европейски образованный политик становится видным деятелем исполкома Петроградского Совета, в мае назначается комиссаром ставки главковерха, затем комиссаром Северного фронта, начальником политотдела в кабинете военного и морского министра. По мнению Н. Берберовой, Станкевич был «правой рукой (ухом и глазом) Керенского», состоял в одной ложе с такими масонами, как генерал М. Алексеев, Б. Савинков, Н. Некрасов, полковник С. Мстиславский-Масловский.

Те силы, которые заняли верхние этажи государственного управления в феврале 1917 г., как известно, распорядиться властью не сумели. Эта беспомощность, несомненно, присутствует и в «Воспоминаниях» В. Б. Станкевича. Вскормленные в масонских ложах, руководимых «Великим Востоком» Франции и другими центрами «мировой закулисы», эти деятели имели слишком слабое, поверхностное представление о народе, судьбы которого желали определять. Как иначе, в частности, можно характеризовать предложение Станкевича остановить развал армии осенью 1917 г. при помощи крупных денежных премий, «предоставить солдатам подработать на фронте»!..

В. Б. Станкевич — по национальности литовец — выехав из России, стал именовать себя Владасом (Владко) Станка. Н. Берберова приводит и отрывок из письма Станкевича Керенскому, которое отправлялось в ноябре 1959 г. из Вашингтона. Бывшего российского премьера тогда весьма озаботили появившиеся в печати сведения о роли масонов в русской революции...

В заключительном выпуске рубрики читайте воспоминания А. Ф. Керенского и А. И. Деникина.





Восемь лет и 8 месяцев моего сидения в тюрьме, когда я был закован (как бессрочник) по рукам и ногам, сидения, сопровождавшегося временами тяжелой болезнью, ни на йоту не пошатнуло меня в вере в правоту анархизма, борющегося против Государства, как формы организации общественности и как формы власти над этой общественностью. Наоборот, во многом, мое сидение в тюрьме помогло укрепить и развить мои убеждения, с которыми и за которые я был схвачен властями и замурован на всю жизнь в тюрьму.

С убеждением, что свобода, вольный труд, равенство и солидарность восторжествуют над рабством под игом государства и капитала, — я вышел 2 марта 1917 года из ворот Бутырской тюрьмы. С этим же убеждением я бросился на третий день по выходе из тюрьмы, там же в Москве, в работу Лефортовской анархической группы, ни на минуту не покидая мысли о работе нашей Гуляй-Польской группы хлеборобов анархистов-коммунистов, работе, начатой ею одиннадцать-двенадцать лет тому назад и, несмотря на величайшие потери передовых ее членов, продолжающейся, как мне друзья сообщали, и сейчас.

Одно меня угнетало — это отсутствие у меня надлежащего образования и конкретно-положительной подготовки в области социально-политических проблем анархизма. Я глубоко это чувствовал и сознавал. Но еще глубже я сознавал, что в наших анархических рядах эта подготовка отсутствует на 90 процентов. И хотя я находил ответ, что это пагубное явление порождено отсутствием у нас анархической организации и ее школ, однако, часто над этим задумывался... Гигантский рост русской Революции меня сразу натолкнул на непоколебимую мысль, что анархическое действие в такие моменты неразрывно должно быть связанным с трудовой массой, как наиболее заинтересованной в торжестве свободы и правды, в новых победах, новом, общественном социальном строительстве и в новых человеческих взаимоотношениях...

По приезде в Гуляй-Поле, я в тот же день встретился со своими товарищами по группе. Многих уже не было в живых. Те, что пришли ко мне из старых, были — Андрей Семенюта (брат Саши и Прокофия Семенюты), Мойсей Калиниченко, Филипп Крат, Савва Махно, братья Прокофий и Григорий Шаровские, Павел Коростелев, Лев Шнайдер, Павел Сокрута, Исидор Лютый, Алексей Марченко и Павел Хундей (Коростылев). Вместе с этими товарищами пришли наши молодые товарищи, которые в то время, когда я был на воле, еще не были в группе. Сейчас они уже по два и по три года находились в нашей группе, занимались чтением анархической литературы, распространением ее среди крестьян. Во все эти годы подполья они выпускали прокламации, печатанные на гектографе.

А сколько пришло крестьян и рабочих ко мне, сочувствующих анархической идее — их перечислить было нельзя. Правда, я не мог брать их на учет, когда тут же рисовал перед собою планы предстоящей для нашей группы работы.

Я видел перед собой своих друзей крестьян — этих безымянных революционных анархистов-борцов, которые в своей жизни не знали, что значит обманывать друг друга. Они были чистые крестьянские натуры, которых трудно было убедить в чем-либо, но раз убедил, раз они тебя поняли и, проверив это понятое, убедились, что это именно так, — они возвышали этот идеал на каждом шагу, всюду, где только представлялась им возможность. Я говорю — видя этих людей перед собой, я весь трепетал от радостных волнений, от душевной бури, которая толкала меня сейчас же, с завтрашнего дня повести по всем кварталам Гуляй-Поля среди крестьян и рабочих пропаганду, разогнать Общественный Комитет (правительственная единица Коалиционного Правительства), милицию, не

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

АВГУСТ

18—31 — пятница. Петроградский Совет Р. Д., всеми голосами против четырех, в том числе и Церетели, принял резолюцию об отмене смертной казни. Сообщение «Известий С. Р. Д.» о контрреволюционной деятельности союза георгиевских кавалеров. — В Киеве, в целях борьбы с контрреволюцией, образован «комитет обороны».

20—2 — воскресенье. В ночь на 20-е наши войска оставили Ригу. — Выборы в Петроградскую центральную городскую думу. (Результаты выборов: с.-р. получили 75 мест, к.-д. — 42, с.-д. большевики — 61 место, меньшевики-интернационалисты — 8, народные социалисты — 2, «Единство» — 2, остальные по одному месту.) — Беспорядки в Коломне и Серпухове. Частное совещание членов Государственной Думы.

24—6 — четверг. Постановление Временного Правительства о воспрещении манифестаций 27-го августа, в день полугодовщины государственного переворота в Петрограде. — Сообщение В. Володарского на заседании Ц.И.К. о выводе из Петрограда 4-х наиболее революционных полков.

25—7 — пятница. По распоряжению ген. Корнилова к Петрограду начали стягиваться войска. — При Ц. И. К. Сов. Р. и С. Д. образован особый отдел по борьбе с контрреволюцией. — В ночь на 26-е ген. Корнилов издал воззвание к войскам. — Наборщики были вынуждены его набирать под угрозой расстрела.

26—8 — суббота. Ген. Корнилов подписал приказ о сформировании Петроградской армии. Ген. Крымов получил от ген. Корнилова предписание: «В случае получения от меня (ген. Корнилова) или непосредственно на месте, сведений о начале выступления большевиков, немедленно двигаться с корпусом в Петроград, занять город, обезоружить части гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать Советы». — В 6-м часу дня министр-председатель А. Ф. Керенский принял В. Н. Львова, который от имени ген. Корнилова заявил Керенскому, что никакой помощи правительству в борьбе с большевиками оказано не будет, что дальнейшее пребывание Временного Правительства у власти недопустимо, что ген. Корнилов предлагает Керенскому сегодня же побудить Временное Правительство вручить всю полноту власти ему, Корнилову, объявить отставку всех министров, не исключая и мин.-предс., передать управление министерствами товарищам министров, впредь до образования кабинета главнокомандующим. — Арест и допрос В. Н. Львова. — Совещание в ставке Корнилова,

допустить организации никаких комитетов и взяться за прямое дело анархизма...

В 10 часов утра я, в сопровождении товарищей, был на базаре, рассматривал площадь, здания домов и гимназий. Зашел в одну из них, где встретился с директором и долго говорил с ним о программе преподавания, в которой (кстати сказать) ничего не понимал, но узнал, что «Закон Божий» в программе стоит и, по словам директора, ревностно оберегается попами и, отчасти, родителями учащихся. Я очень возмутился. Тем не менее, это не помешало мне через некоторое время записаться членом общества просвещения, от имени которого эта гимназия существовала. Я глубоко верил, что непосредственным участием в этом обществе просвещения я пошатну в нем религиозный вопрос...

В эти же дни руководители Гуляй-Польского Милицейского Управления — поручик Кудинов и его делопроизводитель, старый заядлый кадет — А. Рамбиевский пригласили меня помочь им разобраться в бумагах архива Гуляй-Польского Полицейского управления.

Придавая особое значение этому архиву, я просил товарищей по группе делегировать вместе со мной еще одного из товарищей. Я считал это таким важным, что готов был отойти на время от всякой другой работы.

Товарищи по группе, в особенности Калиниченко и Крат, предварительно высмеяли меня, что я стремлюсь оказать помощь милицейским управителям, и лишь после спора, сам тов. Калиниченко признал, что это необходимо сделать и пошел со мной разбирать архив.

В архиве мы нашли ряд документов о том, кто из гуляй-польцев следил за братьями Семенюта и рядом других членов нашей группы, и сколько эти кошки получали за свою службу.

Был документ о Петре Шаровском, бывшем члене нашей группы, говорящий о том, что он служил тайным агентом полиции, имел большие заслуги...

Все эти документы я забрал с собой в группу. К несчастью, отмеченные в них люди, за исключением стражников Онищенко и Богаева, которые вне службы переодевались в штатскую одежду и шныряли по огородам и дворам за всеми подозреваемыми в политике гуляй-польцами, а также Сопляка и П. Шаровского, — все были убиты на войне.

Тех, кто остался в живых, мы взяли на замечание, считая, что убивать их сейчас не время, да троих из них — Сопляка, Шаровского и Бугаева, и не было в Гуляй-Поле: они после моего приезда скрылись.

Документ о Петре Шаровском, свидетельствующий о том, что он выдал полиции Александра Семенюту и Марфу Пивень, — обнародовал на митинге.

Об остальных троих документы были скрыты. Мы надеялись, что эти трое возвратятся в Гуляй-Поле и мы их схватим без особых розысков. Четвертый же — Назар Онищенко, после разгона полицейских революцией, был призван коалиционным правительством на войну, но вскоре как-то ухитрился покинуть фронт и теперь жил в Гуляй-Поле, не показываясь ни на сельских сходах, ни на митингах.

В скором времени после обнародования документов о Петре Шаровском, Назар Онищенко встретился со мной в центре Гуляй-Поля. Это — тот стражник и тайный агент, Онищенко, который при обыске моей комнаты позволил себе обыскать мою мать, и когда она запротестовала, он дал ей пощечину. Теперь этот негодяй, продавши душу и тело свое и своего родного брата за деньги полиции, подскочил ко мне, снимая фуражку и с возгласом: Нестор Иванович! здравствуйте, — протягивает свою руку для пожатия.

Ужас! Какое омерзение вызвал во мне голос, манера и мимика его, этого Иуды. Я весь задрожал и неистово закричал: Пошел вон, подлец, от меня, иначе я сейчас же тебе всажу пулю!

Он отскочил в сторону и побледнел. Лицо его приняло белизну снега. Я незаметно для самого себя засунул в карман руку и нервно схватился за револьвер, думая: Убить эту собаку здесь же, или воздержаться?

Разум взял перевес над чувствами негодования и мести. Я, уставший от волнений, подошел к мучной лавке и сел на стоявший у дверей стул.

Ко мне подошел хозяин лавки, поздоровался и пытался кое-что спросить меня, но я его не понимал. Я извинился, что занял стул и просил его оставить меня в покое, а минут через десять я попросил проходившего крестьянина помочь мне дойти до Комитета Крестьянского Союза.

Об этой встрече с Назаром Онищенко узнали члены группы и Комитет Крестьянского Союза. Все они настаивали на том, чтобы объявить имеющийся о нем документ. Что он, помимо того, что был стражником (об этом все крестьяне и рабочие знали: он многих арестовывал и избивал) — служил еще в сыскной полиции.

Все товарищи настаивали на этом объявлении документа, потому что хотели после убить его.

Я противился, прося товарищей согласиться со мной и оставить его пока в покое. Я исходил из того, что были поважнее сыщики, Сопляк, например, по имеющимся документам, был специалистом-сыщиком. Он работал долгое время в Гуляй-Поле, в Пологах среди рабочих из депо и в поисках тов. Семенюты.

Бугаев был тоже утонченный сыщик, часто и умело маскировался. Набирал на деревянный поднос баранок, зельтерской воды и продавал среди собравшихся крестьян и рабочих, в особенности, в период, когда царское правительство ассигновало 2000 руб. награды тому, кто укажет Александра Семенюту. Неоднократно этот Бугаев переодевался, вместе с приставом Караченцем и Назаром Онищенко, и на целые недели они исчезали со своих официальных постов, шатаясь по окраине Гуляй-Поля, или же в Александровске и Екатеринославе по рабочим кварталам. Пристава Караченца тов. А. Семенюта убил в Гуляй-Польском театре. Бугаев, Сопляк и Шаровский живы и где-то недалеко скрываются.

Вот поэтому-то нельзя было Назара Онищенко трогать. Нужно было вооружиться терпением и стараться поймать остальных, по указаниям крестьян, нередко появлявшихся в Гуляй-Поле. Я тогда же, прося товарищей оставить Назара Онищенко в покое, говорил им, что важно схватить этих негодяев всех и затем убить, потому что такие люди вредны для всякого человеческого общества. Они неисправимы в самом их худших преступлений — п р о д а в а т ь с я з а д е н ь г и с а м и м и п р е д а в а т ь д р у г и х. Подлинная революция должна их уничтожить. Свободное, равственное в жизни и правах общество в предателях не нуждается. Они все должны умереть или от своих рук или быть убиты авангардом революции.

Все мои друзья и товарищи после этого больше не настаивали на том, чтобы Назар Онищенко был сейчас разоблачен в этом худшем из преступлений...

В это же время мы получили сведения о том, что П. А. Кропоткин уже в Петрограде. До сих пор в газетах писали об этом, но мы, крестьяне-анархисты, не слыша его мощного призыва к анархистам и конкретных указаний, руководствуясь которыми анархисты начали бы группироваться и, приводя в порядок разрозненные силы своего движения, занимать организованно свои революционно-боевые позиции в революции, мы не доверяли газетам. Теперь же мы получили газеты и письма из Петрограда, указывающие, что П. А. Кропоткин перенес в пути из Лондона в Россию болезнь, но доехал благополучно до самого сердца революции — Петрограда. Нам сообщили, как его встретили социалисты, стоявшие у власти, во главе с А. Керенским.

Радость в рядах нашей группы — неописуемая. Собрали общее заседание группы, которое посвятили исключительно разбору предположений, ч т о с к а ж е т н а м с т а р и к П е т р А л е к с е е в и ч...

Я составил письмо-приветствие от имени Гуляйпольской Крестьянской Группы Анархо-Коммунистов и, не помню точно, но, кажется, отослал его Петру Алексеевичу через редакцию газеты «Буревестник».

В этом письме-приветствии наша группа приветствовала Петра Алексеевича и поздравляла его с благополучным возвращением на родину, выражая уверенность, что родина в лице лучших своих людей ждала его, как неутомимого борца за идеи высшей справедливости, которые не могли не оказать своего влияния на подготовку и совершение Русской Революции...

Подпись была: Группа Украинских Анархистов-Коммунистов в с. Гуляй-Поле Екатеринославской губ.

На наше скромное письмо-приветствие мы ответа не ждали. Но ответа на вопросы момента мы ждали с каким-то особым напряжением, с чувством сознания, что без него мы потратим много сил и может оказаться, что напрасно, может оказаться, что то, чего мы ищем, не ищется другими группами или ищется, но в совершенно другом направлении. А подневольная деревня — казалось нам — ставит прямо вопрос: где тот путь и средства, чтобы завладеть землею и, без власти над собой, заняться выживанием из своего тела паразитов, ничего не производящих, живущих в довольстве и роскоши.

Ответ на этот вопрос П. А. дал в своем труде «Хлеб и Воля». Но массы этого труда его раньше не читали. Его читали одиночки из масс. Теперь такой труд массе читать некогда. Теперь ей нужно услыхать на простом, живом и сильном языке самое конкретное из «Хлеб и Воля», чтобы она не погружалась в косное раздумье, а поняла бы сразу и получила руководящую нить для своих действий. Но кто скажет все это ей, простым, живым и сильным языком?

Анархист-пропагандист и организатор и только он!

Но положа руку на сердце, говорил я: были ли когда вообще у нев в России и на Украине анархистские пропагандистские школы? Я такого случая не знаю. Но если они и были, то спрашивается, где же вышедшие из них передовые наши борцы? Я второй раз объезжаю несколько районов в нескольких уездах, административно принадлежащих к одной губернии, и не встречаю ни одного случая, где бы крестьяне на мои вопросы: «Были ли у вас ораторы из анархистов?» — ответили бы: «Были». Везде отвечали: «Никогда не были. Очень рады и благодарим, что вы нас не забываете».

Где же силы нашего движения вообще? Они, по-моему, еле-еле дышат по городам, и не все — за своим делом...

В период этих ожиданий подошло время губернского Съезда Советов Раб., Крестьян., Солд. и Казачьих Депутатов и Крестьянского Союза.

Был созван съезд Крестьянского Союза в Гуляй-Поле. Обсудили повестку дня Губернского Съезда. Над вопросом о реорганизации Крестьянских Союзов в Крестьянские Советы долго думали и в конце концов решили послать от себя делегата на губернский Съезд. От крестьян уполномочили делегатами меня, от рабочих — товарища Серегина. С особой радостью ехал я в Екатеринослав, надеясь побывать в федерации анархистов, лично поговорить обо всем, что нашу группу в целом интересует (а интересовало ее больше всего вот что: почему из города нет анархистских агитаторов по деревням?).

Умышленно я выехал на съезд днем раньше. С вокзала еду прямо в киоск федерации. Застаю в нем секретаря — тов. Молчанского. Одессит, старый товарищ. Знаем друг друга еще с каторги. Радость, обнимаемся, целуемся.

Я тотчас же обрушился на него: что они делают по городам? Почему не разъезжают с целью организации по всей губернии?

Товарищ Молчанский, с свойственной ему манерой, волнуется, разводит руками, говорит: «Брат, сил нет. Мы слабы. Мы только, только сгруппировались здесь и еле обслуживаем рабочих на здешних заводах и солдат по казармам. Мы надеемся, что со временем наши силы разовьются, и тогда мы теснее свяжемся с вами в деревне и начнем работу более энергичную по деревням».

Долго мы после этого сидели молча и глядели друг на друга, погрузившись каждый в себя и в будущее нашего движения в революции... А затем тов. Молчанский начал успокаивать меня, уверяя, что в недалеком будущем в Екатеринослав приедут Рогдаев, Рощин, Аршинов и ряд других товарищей, нам неизвестных. Наша работа будет переброшена в деревню. Затем он повел меня в клуб федерации, который раньше назывался «Английским Клубом».

Там я застал много товарищей. Одни спорили о революции, другие читали, третьи ели. Словом, застал «анархическое» общество, которое по традиции не признавало никакой власти и порядка в своем общественном помещении, не учитывало никаких моментов для революционной пропаганды среди широких трудовых масс, так остро в этой пропаганде нуждавшихся.

Тогда я спросил себя: для чего они отняли у буржуазии такое роскошное по обстановке и большое здание? Для чего оно им, когда здесь, среди этой кричащей толпы, нет никакого порядка даже в криках, которыми они разрешают ряд важнейших проблем революции, когда зал не подметен, во многих местах стулья опрокинуты, на большом столе, покрытом роскошным бархатом, валяются куски хлеба, головки селедок, обглоданные кости?

Я смотрел на все это и болел душой. В это время в залу вошел тов. Ив. Тарасюк (он же Кабась), заместитель секретаря тов. Молчанского. Он с болью и возмущением сперва тихо, а затем чуть ли не во весь голос закричал: «Кто ел на столе, уберите!».. Сам начал подымать опрокинутые стулья...

Быстро все со стола было убрано и взялись подметать залу...

Закончился день 29-го августа. Тяжелый день по своим известиям о

ХРОНИКА СОБЫТИЙ АВГУСТ

Завойко, Аладьина и Филоненко по вопросу о диктатуре.

27—9 — воскресенье. Обращение А. Ф. Керенского ко всем гражданам. Петроград и Петроградская губерния объявлены на военном положении. — Предложение П. Н. Милюкова Керенскому посредничества в переговорах с ген. Корниловым. — Телеграмма Керенского ген. Корнилову с требованием сдать командование и выехать в Петроград. Ген. Корнилов отказался подчиниться распоряжению Керенского. — Временное Правительство объявило ген. Корнилова изменником родине. — Телеграфное запрещение Временного Правительства железным дорогам исполнять приказы «бывшего верховного главнокомандующего». — Назначение Б. В. Савинкова Петроградским генерал-губернатором. — И.К.С.Р. и С.Д. высказался против образования Директории и за необходимость созыва демократического совещания. Обращение И.К. Советов к армейским комитетам с предложением не исполнять приказаний ген. Корнилова и Лукомского. — В ночь на 28-е разослано объявление ген. Корнилова по всем линиям железных дорог — всем начальствующим лицам и дорожным комитетам «о великой провокации и о посланничестве В. Н. Львова». Обращение ген. Корнилова «Ко всем русским людям».

28—10 — понедельник. Телеграмма ген. Каледина А. Ф. Керенскому, в которой он предлагает Временному Правительству принять условия Корнилова, в противном случае он (Каледин) отрежет Москву от снабжающего ее юга. — Встреча мусульманской делегации, посланной из Петрограда для переговоров с мятежными туземными эшелонами ген. Корнилова — с «корниловцами» на станции Павловск. — Арестовано до 80 лиц в связи с контрреволюционным заговором Корнилова. — Ц.И.К. Советов постановил предоставить Керенскому право на сформирование правительства, центральной задачей которого должна явиться решительная борьба с заговором ген. Корнилова. — В ночь на 29-е войска ген. Корнилова подошли к Луге и к станции Вырица.

30—12 — среда. Опубликован приказ Керенского о предании суду мятежников: ген. Корнилова, Лукомского, Деникина, Маркова и Кислякова. — Ген. Корнилов и Лукомский заявили о своей готовности предстать перед революционным судом и дать ответ за организацию мятежа. — Арестован ген. Крымов, командующий отрядом Корнилова. — Телеграмма Верховского ген. Каледину, что появление казачьих войск в пределах Московского округа будет рассматриваться как восстание против Временного Правительства.

движении ген. Корнилова. Но зато он толкнул массы к инициативе и революционной самодеятельности. И там, где среди тружеников были революционеры, которые знали, какая перед ними должна стоять задача в такие моменты, — там предпосылки к назревавшим событиям были вовремя формулированы и трудовые массы их использовали в своей прямой борьбе.

На другой день рано утром я шел по Соборной площади Гуляй-Поля. Группы рабочих из заводов и крестьян из сотен под черными и красными знаменами, с песнями подходили к улице, ведущей к зданию Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов, в котором поместился «Комитет Защиты Революции». Я перебежал через двор училища и еще другой двор и вбежал во двор Совета, чтобы встретить манифестантов. Когда я показался перед манифестантами, — раздался громовой крик: «Да здравствует революция! Да здравствует неизменный ее сын, а наш друг, тов. Махно!»

Эти крики были для меня лестными, но я чувствовал, что не заслужил их от тружеников. Я остановил восторженные, награждающие меня столь дорогими и сильными эпитетами, крики, и попросил выслушать меня. Но меня подхватили на руки и продолжали кричать: «Да здравствует революция! Да здравствует тов. Махно!»

Наконец, я упросил манифестантов выслушать меня и когда воцарилась тишина, я спросил их, в честь чего они бросили работу и пришли к Комитету Защиты Революции?

— Мы пришли в распоряжение Комитета, — последовал ответ, — и мы не последние.

— Значит, есть еще порох в пороховницах?!

— Есть, есть и достаточно есть! — кричали манифестанты в ответ мне.

Я начал было терять равновесие, чуть-чуть было не прослезился от радости за широкий размах украинской рабочей и крестьянской души. Передо мной предстала крестьянская воля к свободе и независимости, которую только ширь и глубина украинской души может так быстро и сильно выявлять.

Первыми моими словами к манифестантам было: «Так слушайте же, товарищи, если вы пришли в распоряжение Комитета Защиты Революции, то предлагаю вам разбиться на группы в десять—пятнадцать человек, с расчетом по пять человек на подводу и не медлить ни одного часа: — облететь весь Гуляйпольский район помещичьих имений, кулацких хуторов и немецких богатых колоний и отобрать у этой буржуазии все огнестрельное оружие, как-то: винтовки, централки, дробовые простые ружья, да из холодного — шашки. Ни пальцем, ни словом не оскорблять самой буржуазии. С революционной отвагой и честью мы должны это сделать в интересах революции, против которой вожди буржуазии, пользуясь попустительством революционеров сорганизовали под крылышком Временного Правительства свои силы и уже начали действовать оружием.

Как уполномоченный Советом Крестьянских и рабочих Депутатов Района, Группой А.-К., Советом Проф. Союза принять временное идейное руководство организацией нашего революционного движения, оставаясь в то же время главным Комиссаром Комитета Спасения Революции, я считаю не лишним сказать всем товарищам, уезжающим по делу разоружения буржуазии, чтоб они не увлеклись и не бросились в грабеж. Это — дело не революционное, и за него каждый из нас, пока я буду стоять во главе организации нащего общего дела, попадет на суд всеобщего революционного схода-собрания крестьян и рабочих Гуляй-Поля.

Мы должны в течение двух, максимум — трех дней, обезоружить буржуазию и все оружие сдать в Комитет Спасения Революции, для распределения его среди истинных защитников революции. А поэтому не теряйте времени, разбивайтесь на группы, берите удостоверение в Комитете Защиты Революции на предмет официального отобрания нам нужного от буржуазии оружия и уезжайте, собирайте его».

У крестьян, когда они сознают, что это нужно, быстро все делается. В то время, как я говорил манифестантам, что нужно разбиваться на группы, с расчетом по пять человек на подводу, они разослали своих людей по домам, и около 30—40 подвод уже съехались и выстроились на Соборной площади в ожидании посадки людей на них.

А удостоверения в Комитете Защиты Революции были заготовлены после вчерашнего решения о том, **за что прежде всего Комитет должен взяться в интересах революции.** На них осталось только вписать фамилию предъявителя и поставить подпись Главного руководителя. А последний всегда и посреди улицы под таким удостоверением подпишется. Так фактически и было: я подписал эти удостоверения крестьян и рабочих, уезжавших на район, чтобы разоружить буржуазию.

И когда все было готово, и все сели на подводы, я сказал еще несколько слов уезжающим о настоящем тяжелом моменте для революции, о важности своевременного и решительного действия трудящихся на местах в пользу роста и развития ее. И вот, крестьяне и рабочие — эти застрельщики революции в Гуляйпольском районе, идейно охватывавшем несколько волостей других уездов своей организацией активного вооруженного действия против буржуазии, — выехали на район.

Часть же крестьян и рабочих занялась в самом Гуляй-Поле отобранием оружия у буржуазии и у наехавших сюда офицеров с фронта...

Итак, оружие у буржуазии отобрано и роздано по рукам революционных крестьян. Отобрание произведено спокойно, без жертв.

Открылся Съезд Советов, который созывался, чтоб разобрать причины, породившие движение ген. Корнилова и уяснить его цель.

Избрание Гуляйпольским Советом и другими организациями «Комитета Защиты Революции», как и все действия их до этого съезда съезд приветствовал, выражая свое убеждение, что настал час действовать.

Разбирая вопрос Корниловского похода на Петроград, который уже был отбит, съезд еще раз подчеркнул, что считает преступлением разрушение внешнего фронта, и призывал всех трудящихся в корне убить корниловщину на местах. Он решил вместе с тем поддерживать внешний фронт, как необходимый для защиты революции от внешнего врага. Коснулся и других вопросов, а именно: в первую очередь одобрил провозглашение отмены частной собственности в районе и коснулся земельного вопроса. Группа Анархистов-Коммунистов предложила съезду свой доклад по этому вопросу. Съезд его заслушал из уст тов. Крата и Андрея Семенюты. Доклад этот в своих основных чертах заключался в мерах практической ликвидации помещичьего и кулацкого права собственности на землю и на те роскошные большие усадьбы, которых они своим трудом не могут обслужить. Группа предлагала немедленно отобрать земли и организовать по усадьбам свободные сельскохозяйственные коммуны, по возможности с участием в этих коммунах и самих помещиков и кулаков. А если последние откажутся стать членами семьи свободных тружеников и пожелают сами индивидуально трудиться на себя, тогда определить им по трудовой норме из находящегося в их распоряжении народного богатства и дать им возможность жить за счет своего труда, обособленно от свободных сельскохозяйственных коммун остальных тружеников...

В дни нашей сентябрьской организационной работы среди крестьян и рабочих, к нам в Гуляй-Поле Правительственный Комиссар, помещик — Михно прислал чиновника особых поручений составить протоколы на меня и на всех крестьян и рабочих, обезоруживавших в районе буржуазию. Чиновник особых поручений поселился в милицейской канцелярии и хотел, чтоб к нему милиция созвала всех крестьян и рабочих, со мною вместе, и по очереди пропускала нас к нему на допрос. Но, к несчастью комиссара и его агента, милиция в Гуляй-Поле исполняла роль рассыльных, а не полицейских. Из милиции об этом сообщили мне в Комитет Защиты Революции. Я сам отправился к этому чиновнику и велел ему сейчас же собрать все свои бумаги в портфель и следовать за мною в Комитет Защиты Революции.

В Комитете я его усадил на стул и попросил объяснить цель своего приезда, без волнения, а просто, как чиновник особых поручений от власти. Он старался объяснить мне цель своего приезда так, как я его просил, но оно у него не выходило: губы у него дрожали, зубы стучали и сам он то краснел, то бледнел, смотря в пол.

Я его упросил записать без волнения то, что я скажу. И когда он, с трудом удерживая свою руку на листе бумаги, записал то, что я ему продиктовал, я попросил его в 20 минут покинуть Гуляй-Поле и в два часа — пределы его революционной территории.

И чиновник особых поручений от Правительственного Комиссара Александровского уезда быстро, быстрее, чем я и Комитет Защиты Революции ожидали этого, выехал к своему владыке в г. Александровск.

После этого к нам в Гуляй-Поле больше не поступало никаких приказаний и не посылалось чиновников из уезда.

Сентябрь месяц подходил к концу.

Надвигался Великий Октябрь, именем которого определилась Вторая Великая Русская Революция...

Октябрьские революционные события реально начали выявлять себя на Украине лишь в декабре месяце 1917 года.

За время от октября до декабря, на Украине по селам и городам произошла реорганизация Общественных Комитетов (этих территориальных единиц) в Земские Управы. Правда, участие трудящихся в этой реорганизации было очень слабо и носило характер формальности. Во многих районах крестьянские представители в Общественных Комитетах в Земские Управы не пошли. Во многих местах просто переименовывали Общественный Комитет в Земскую Управу, не внося никаких изменений в его структуру. Но формально по всей стране территориальной единицей считалась Земская Управа.

Часть рабочих по городам мало-помалу вступила на выжидательный путь.

Крестьяне находили момент самым удобным, чтобы ниспровергнуть власть и взять всю общественную судьбу в свои руки. С этой стороны крестьяне на Запорожьи и Приазовьи рассматривали октябрьский переворот в Петрограде и Москве, распространявшийся по всей центральной России в форме вооруженных атак против сторонников керенщины, как начало того, что сами они проводили у себя на местах еще в августе и сентябре 1917 года. И поэтому приветствовали его, стараясь расширить для него пути у себя на местах. Других мотивов, которые бы роднили крестьян и ту часть рабочих, которая осуждала всякое ожидание и действовала с Великим Октябрем, не было. Только с этой стороны октябрьский переворот в его воззваниях и газетах был встречен радостно украинскими революционными тружениками подневольной деревни и порабощенного города. То обстоятельство, что этот революционный переворот привел к власти партию большевиков и левых социалистов-революционеров, не обольщало украинских революционных тружеников. Сознательные крестьяне и рабочие видели в этом новый этап вмешательства власти в революционное творчество тружеников на местах и, следовательно, — новую войну власти с народом. В массе же своей, украинские труженики, подневольной деревни в особенности, смотрели на эту новую революционно-социалистическую власть, как на власть вообще, которую они тогда только замечают, когда она их грабит разными налогами, да набирает рекрутов в солдаты, или при других каких-либо насильнических ее действиях, которые встряхивают их тяжелую трудовую жизнь. Очень часто можно было услышать среди крестьян их настоящее мнение о дореволюционных и революционных властях. Они говорили, как будто шутя, но в действительности самым серьезнейшим образом и всегда с особой болью и ненавистью, что дурака Николку Романова от власти прогнали, второго дурака начал было разыгрывать из себя Керенский; теперь и этого прогнали. Кто же после него начнет разыгрывать в наш век, за наш счет этого дурака?

— Володька Ленин! — говорили одни.

Другие говорили: без «дурака» не обойтись (причем под словом «дурак» они разумели всегда только власть). Город только для этого и существует: его идея и система — дурная: город вызывает к жизни этого «дурака», говорили крестьяне.

В действительности мудрый Ленин правильно понимал город. Поставил на пост этого «дурачка» под флагом диктатуры пролетариата — группу лиц, возомнивших о себе, как о знающих эту роль, лиц, способных на что хотите, лишь бы быть на посту властелина и навязывать свою подчас дурную волю другому человеку и целому роду человеческому. Мудрый Ленин сумел вознести роль «дурака» на необыкновенную высоту, и этим соблазнить не только учеников симпатичнейшей по своей исторической революционно-боевой деятельности политической партии — левых социалистов-революционеров, превратя их в своих недоучек, но и некоторых анархистов. Правда, дети старой партии социалистов-революционеров — левые социалисты-революционеры через семь—восемь месяцев своего лакейства перед мудростью Ленина опомнились и стали в оппозицию этой мудрости вплоть до вооруженного выступления против нее: но это не изменяет нами отмеченной истины о них.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

СЕНТЯБРЬ

1—14 — суббота. Провозглашение Временным Правительством Российской Республики. — Арестованы в Могилеве (ставка) ген. Корнилов, Лукомский, ген. Романовский и полковник Плющевский-Плющик. — Отказ Донского войскового правительства выполнить приказ Верховского об аресте ген. Каледина. — Расстрел офицеров «Петропавловска» матросами в Гельсингфорсе.

4—17 — понедельник. — Л. Д. Троцкий освобожден из-под ареста по постановлению следственных властей под залог.

7—20 — четверг. Комитет совещаний общественных деятелей в Москве постановил выпустить воззвание за подписью Родзянко с протестом против «самочинных арестов и насилий над свободой слова, чинимых местными самочинными комитетами, под предлогом борьбы с контр-революцией».

8—21 — пятница. Резолюция солдатской секции С. Р. Д. о возвращении в Петроград полков, выведенных на фронт в связи с июльскими событиями. — В рабочей секции С. Р. и С. Д. принята резолюция о немедленной отмене циркуляра министра труда по вопросу о фабрично-заводских комитетах. — Переизбран президиум рабочей секции С. Р. и С. Д.: 6 большевиков, 3 эс-эра, 2 меньшевика. — Съезд «недержавных» народов России, созванный Центральной Радой в Киеве.

9—22 — суббота. — В Петроградском Совете 519 голосами против 414 отклонена резолюция о доверии эс-эровско-меньшевистскому президиуму.

11—24 — понедельник. Резолюция Петроградского С. Р. и С. Д.: быстрая и беспощадная ликвидация корниловского заговора, отмена смертной казни, направление всех усилий к скорейшему достижению всеобщего мира на основах формулы русской революции, созыв в срок Учредительного Собрания, немедленный роспуск Государственной Думы и Государственного Совета, передача всей земли в ведение земельных комитетов до Учредительного Собрания, введение общегосударственного контроля над производством при помощи рабочих организаций, проведение в жизнь 8-часового рабочего дня, решительная борьба с злонамеренным закрытием предприятий, с чрезмерными прибылями капиталистов и с массовой безработицей, радикальная чистка командного состава в армии, не желающего работать совместно с солдатскими организациями; никакая коалиция с цензовыми элементами невозможна. Состав нового правительства должен быть однородным...

14—27 — четверг. Открытие Всероссийского Демократического Совещания в Петрограде. Речи Чхеид-

В. Б. СТАНКЕВИЧ

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ СЛИШКОМ ПУСТЫННО

Ревельское посещение мне очень памятно. Впервые мне пришлось столкнуться со стихией чистого большевизма: матросские собрания состояли на девять десятых из одних большевиков. Моей задачей было защищать перед ними Временное Правительство. Понятно, нужна была величайшая осторожность. Но я чувствовал всю тщету попыток, так как само слово «Правительство» создавало какие-то электрические токи в зале, и чувствовалось, что волны негодования, ненависти и недоверия сразу захлестывали всю толпу. Это было ярко, сильно, страстно и непреодолимо и сливалось в единодушный вопль: «Долой». И я склонен считать величайшим моим ораторским подвигом, что мне удалось сказать речь до конца. При возвращении нашем из Ревеля наш поезд — поезд главнокомандующего фронтом — облеплялся дезертирами, которыми были полны станции и которые влезали даже на крыши, откуда их с трудом сгоняли.

Та же картина была на фронте. Иногда нам приходилось переживать просто трагические минуты, когда из штаба дивизии передавались по аппарату телеграммы: «Солдаты такого-то полка оставили позиции и пошли в тыл по направлению к штабу дивизии»... Через четверть часа: «К солдатам полка, оставившего позицию, присоединились такие-то и такие-то соседние батальоны и все вместе идут к штабу дивизии». И так далее, через каждые пол, а то и четверть часа. Правда, в конце-концов как-то все эти бунты и уходы кончались сравнительно мирно. Но ясно было — армии уже не существовало. Но надвинулась опасность, что пассивное сопротивление заменится активной борьбой с Правительством под эгидой большевиков, которые вдруг подняли голову и почувствовали себя полными хозяевами в армии: «Не мы ли говорили, что генералам и офицерам нельзя доверять»... Низшие комитеты стали превращаться в большевистские ячейки. Всякие выборы в армии давали изумительный прирост большевистских голосов. При этом нельзя не отметить, что лучшая, наиболее подтянутая армия не только на северном фронте, но, быть может, на всем русском фронте — 5-ая — первая дала большевистский армейский комитет. Наиболее дезорганизованная, имевшая во главе наиболее левый комитет — 12-ая — дольше всех и мужественнее всех сопротивлялась большевикам, действуя даже с оружием в руках.

Разруха на фронте увеличивалась политической разрухой в Петрограде. Там чувствовалось, что лозунг: «Войной на фронте купить мир в тылу и на фронте» — не дал ожидаемых результатов. На фронте была не война, а только поражения, и мир международный отдалился еще более. В тылу же уже явно грозила война. Поэтому демократическое совещание поразило даже самих инициаторов чрезвычайным разбродом мысли. Даже представители одной партии выступали по всем вопросам не только разно, но диаметрально противоположно. Мнений было так много, что ясно было, что мнения нет вообще. И что было делать и говорить? Каяться всенародно в своих и чужих прегрешениях, как Зарудный? Или воздерживаться по всем вопросам, как председатель наиболее многочисленной фракции Чернов? Словом, в центре полный разлад и разброд. А справа? Ропот ворчания, передаваемая шепотом клевета, медленное разъедание последних остатков авторитета власти, пафос озлобленного шипения по углам. И лишь слева консолидация сил и настроения...

В начале октября я в Пскове получил телеграмму с предложением немедленно приехать к Керенскому в Ставку. Я приблизительно догадывался, о чем могла идти речь: мои друзья из Петрограда уже предупреждали меня, что Исполнительный Комитет выдвинул мою кандидатуру в верховные комиссары, да и Керенский говорил об этом со мной. Но я всякий раз отклонял это, считая, что сам Керенский является не кем иным, как комиссаром. Более того, я находил, в особенности после поездки с Черемисовым в Ревель, что и на фронте можно обойтись без комиссара.

Так как в телеграмме был назначен срок моего приезда в Ставку, а телеграмму я получил с опозданием, то мне пришлось ехать на автомобиле до ст. Невель и ловить ночной поезд из Петрограда. Однако, я спешил напрасно, так как, приехав, узнал, что Керенский опасно болен, и к нему никого не допускают. Прождав день и переговорив с Духониным и Вырубовым, я решил оставить письмо и уехать. Но на следующий день Керенскому было лучше, и он принял меня, лежа в постели. Я повторил мой отказ. Он просил подождать его выздоровления. Оказалось, что большие трудности встретились в налаживании отношений с новым комитетом в Ставке, состоявшем из представителей фронтовых и армейских комитетов. Комитет этот был образован отчасти по моей инициативе — надо было как-нибудь вернуть Ставке, хотя бы деловое, доверие армии; но отношения с комитетом как-то не налаживались и меня хотели заставить расхлебывать кашу, которую я заварил. На следующий день, отчасти уступая уговорам Керенского и Духонина, отчасти же сам заинтересовавшись техническим аппаратом Ставки, я согласился.

Керенский произвел на меня впечатление какой-то пустынностью всей обстановки и странным, никогда не бывалым спокойствием. Около него были только его неизменные «адъютантики». Но не было ни постоянно раньше окружавшей толпы, ни делегаций, ни прожекторов. И не только в Могилеве — во время болезни — то же самое меня поразило и в Петрограде в Зимнем дворце. Появились какие-то странные досуги, и я имел редкую возможность беседовать с ним по целым часам, причем он обнаружил какую-то странную неторопливость. И он не раз повторял, что с нетерпением ожидает созыва Учредительного Собрания для того, чтобы, открыв его, сложить свои полномочия и немедленно уйти.

Между доводами против моего назначения комиссаром в Ставке, которые я выставлял Керенскому, был и тот, что я имел, как мне казалось, определенный план деятельности на фронте, но не знал, что делать в Ставке. И, мне казалось, что понадобится не менее двух месяцев, пока я осмотрюсь в обстановке.

— Все равно всякому другому придется еще более, чем вам, присматриваться к обстановке. Вы, по крайней мере, не будете делать заговоров.

Однако, первые выводы поспели значительно скорее. И в двадцатых числах октября я телеграфировал в Петроград о намерении приехать туда, так как необходимо переговорить о некоторых существенных вопросах. Я отчетливо помню эти вопросы, и так как они составляли не только мое личное мнение, но синтезировали настроение как штаба, так и комитета, который, кстати сказать, оказался чрезвычайно благожелательно настроенным, то мне хочется несколько подробнее остановиться на них.

1. Первым вопросом был чисто политический вопрос, о войне и мире. Было бесспорно, что надо было поставить какой-то видимый предел войне и дать понять народу, что Правительство серьезно озабочено приисканием способа закончить войну. Мне и очень многим казалось, что правительство не только ничего не делает в этом отношении, но даже не считает нужным скрывать свое недружелюбное отношение ко всяким разговорам о мире. И в то время, как мы в Ставке ежедневно получали целые груды телеграмм, рисующих отчаянное положение фронта и полный развал военной организации — Терещенко произнес в Совете Республики речь, где доказывал, что хотя противник готов протянуть руку к миру, но мы-то еще повоюем. Я, правда, воспользовался приездом Терещенко в Ставку для того, чтобы показать ему груды телеграмм, полученных в день приезда с фронта, где все говорилось о необходимости немедленного мира, но он отнесся к этому свысока — да и разговор наш длился всего около 5 минут...

2. В связи с принятыми военными кругами планами Верховского о сокращении армии, возник целый ряд стратегических трудностей. Командный состав решительно не знал, каким образом справиться с прежними задачами при меньшем количестве солдат. Помню, один из командующих армией, когда пришло известие о необходимости расформировать трети дивизии, впал в отчаяние. Он вынул план расположения его войск и стал показывать на плане те «дыры», которые образуются на фронте при намеченном расформировании, и доказал, что нет никакой возможности заполнить эти дыры. Мне казалось, что положение не так страшно, так как было доподлинно известно, что на фронте противника было дивизий вдвое меньше. Кроме того, мне казалось, что на переходное время надо было принять исходной точкой зрения, что у нас не имеется боеспособной армии, не только в смысле активных операций, но даже для защиты. Поэтому надо было принять решение при натиске со стороны противника отступать, нанося арьергардными боями возможно большие потери, атакуя во фланги... Но приготовить заранее отступление верст, быть может, на 200. Этим можно было выиграть время, необходимое для перестройки всей армии. Сокращение армии следовало поставить на радикальных основаниях, сведя ее, быть может, до 15—20 корпусов, избранного состава, наполовину состоящих из офицеров, прекрасно снабженных, вооруженных. Таким образом, дело шло ни более ни менее, как о новой стратегии и новой армии. Я делился своими мыслями с Духониным и Дидерихсом, и, в общем, встретил одобрение. Но, ввиду сложности связанных с этими планами технических и политических вопросов, я считал необходимым переговорить с Керенским и его помощниками.

3. Независимо от предложений о постройке новой армии, мне казалось, что давление, оказываемое старой армией, слишком мало и не соответствует той динамической энергии, которая была заложена в ней. Как ни плох наш фронт, давление, оказываемое им на противника, значительно меньше, чем оно могло быть даже при существующих настроениях и дезорганизации. Разведка почти не производилась, и это было небрежностью не только со стороны солдат, но и со стороны командного состава. Поиски небольших партий тоже отошли в область преданий. На все мои расспросы еще на фронте я получал неизменный ответ:

— Нет желания, нет настроения.

Между тем было ясно, что в войсках появились воинственные и грабительские инстинкты, появилась решительность и предприимчивость, правда, направленная на объекты в тылу, а не на фронте. Нельзя ли эту предприимчивость направить на противника? Но было ясно, что это нельзя было сделать без материального поощрения. В войсках роптали, что рабочие загребают тысячи, в то время, как солдат на фронте должен был довольствоваться своей несчастной пятеркой. Надо было предоставить солдатам подработать на фронте. И я предлагал назначить определение награды за военные трофеи, и притом очень крупные награды, несравнимые с теми жалкими четвертными билетиками, которые изредка наши штабы выбрасывали смелым разведчикам и удачливым охотникам. Я предлагал установить тысячу рублей за одного пленного, пятьсот рублей за винтовку противника, тысячу рублей за пулемет, так, чтобы награда служила достаточным стимулом для целой партии охотников — не следует забывать, что в то время жалованье рядового офицера было что-то около 200 рублей, жалованье товарища министра 1250 р. Мне дали возражения, что такие награды разорительны для казны. Но я указывал, что, даже если взять худший в финансовом отношении случай — что армия, прельстившись такими наградами, берет в плен миллион солдат, то уплатить придется тогда миллиард... Но ведь война была бы кончена сразу, при таком давлении на фронте. Указывалось на безнравственность такой меры... Но мне казалось правильнее направлять инстинкты народа на внешнего врага, чем допустить их несдержанный разгул на внутренних отношениях.

4. В последнее время Ставку занимал вопрос о поддержании без-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
СЕНТЯБРЬ

зе, Керенского, Верховского, Каменева, закончившего призывом к образованию власти Демократическим Совещанием. — Доклад мин. внутр. деп Никитина Врем. Прав. о беспорядках в Киеве, Тамбове и Донецком бассейне.

18—1 — понедельник. Роспуск Временным Правительством Центрального Комитета Балтийского флота. — На Демократическом Совещании речь Л. Д. Троцкого, огласившего резолюцию фракции с.-д. большевиков.

19—2 — вторник. Перевыборы И. К. Московск. Совета. Избраны 32 большевика, 16 меньшевиков и 9 эс-эров. — Аграрные беспорядки в Таганрогском округе.

22—5 — пятница. Закрытие Демократического Совещания. В заключительном заседании представитель фракции большевиков Рязанов заявил, что большевики посылают своих представителей в Предпарламент лишь для того, чтобы обличать всякие попытки новой коалиции с буржуазией и облегчить Советам создание истинной революционной власти. — Приказ А. Ф. Керенского о воспрещении призывов к железнодорожной забастовке. — Постановление Врем. Прав. об отмене распоряжения о роспуске Центрофлота.

23—6 — суббота. Начало всероссийской забастовки железнодорожников, предъявивших экономические требования. — Постановление Ц. И. К. Советов о созыве съезда Советов на 20 октября. — Соединенное заседание Гельсингфорсского И. К. Советов, Центробалта, Обл. Кр. Совета, судовых, полковых и ротных комитетов постановило предложить Ц. И. К. немедленно созвать съезд Советов для решения вопроса о власти.

25—8 — понедельник. В Исполнительный Комитет Петроградского Совета избрано 13 большевиков, 6 эс-эров, 3 меньшевика, председателем совета избран Л. Троцкий. Вынесена резолюция, предложенная Троцким, резко осуждающая вновь сформированное правительство, «которое войдет в историю революции как правительство гражданской войны», в поддержке правительству отказывается. «Один ответ, — говорится в резолюции, — на весть об образовании новой власти может быть со стороны революционной демократии: в отставку!» Резолюция заканчивается призывом к сплочению вокруг Советов Р. и С. Д. — Выборы в районные думы в Москве (большевиков — 350, 184 к.-д. 104 эс-эра, 31 меньшевик). — Аграрные беспорядки в Саратове. Двинуты войска.

27—10 — среда. Циркуляр министра юстиции прокурорам окружных судов и судебных палат о необходимости энергичной борьбы с растущей в стране анархией.

опасности в тылу и во всей стране. Постоянно приходили известия о страшных грабежах, разгромах имений, разгромах железнодорожных станций и пр. Никакие меры не давали надежного результата, так как сами охраняющие войска были так же ненадежны, как войска, творящие безобразия, и часто сами присоединялись к бесчинствам. Мне казалось необходимым поставить на очередь создание специальных надежных отрядов из социально-высших классов. Мне казалось, необходимо было создать возможно более военных училищ, так как под этим видом легче всего было осуществить меру. Я представлял себе, что в каждом значительном городе или около каждой значительной станции должна быть одна школа прапорщиков, которая должна была служить опорой порядка.

Керенский сам предполагал каждые две недели приезжать в Ставку. Но что-то задержало его в Петрограде. Поэтому я решил ехать сам. Духонин тоже высказал желание поехать в Петроград для переговоров с Маниковским, и мы условились, что, приехав в Петроград, я повлияю на Керенского, чтобы тот немедленно вызвал из Ставки Духонина.

24 октября я приехал в Петроград с грудой всевозможных докладов и материалов. Керенский встретил меня в приподнятом настроении. Он только что вернулся из Совета Республики, где произнес резкую речь против большевиков и был встречен обычными и всеобщими овациями.

— Ну, как вам нравится Петроград? — встретил он меня.

Я выразил недоумение.

— Как, разве вы не знаете, что у нас вооруженное восстание?

Я рассмеялся, так как улицы были совершенно спокойны, и ни о каком восстании не было слышно. Он тоже относился несколько иронически к восстанию, хотя и озабоченно. Я сказал, что нужно будет положить конец этим вечным потрясениям в государстве и решительными мерами расправиться с большевизмом. Он ответил, что его мнение такое же и что теперь уже никакие Черновы не помогут ни Каменевым, ни Зиновьевым... если только удастся справиться с восстанием. Но относительно последнего было так мало сомнений, что Керенский немедленно согласился, чтобы я вызвал Духонина в Петроград, и я тотчас послал соответствующую телеграмму.

Керенский просил меня отправиться в Совет Республики посмотреть, что там делается, и переговорить с лидерами относительно определенности и решительности резолюции.

Мариинский дворец был переполнен. Кроме членов Совета, в кулуарах и ложах было много представителей «чиновного мира» и много военных. Было волнение. Партии совещались по фракциям, столковывались между собой... Но безрезультатно, так как эсэры провалили в своей фракции пятую по счету резолюцию и, по-видимому, теряли надежду столковаться на чем-нибудь. Я, между прочим, заговорил о необходимости организовать гражданскую оборону из студенчества, но меньшевики отшатнулись от меня, как от зачумленного.

— И так правительство наделало много глупостей, вы хотите еще белую гвардию устраивать...

Но вот началось голосование резолюции, в темную, без предварительного сговора. Принятой оказалась резолюция, составленная Даном о том, что Совет возлагает ответственность за восстание большевиков на Правительство и на большевиков и предлагает передать дело обороны отечества и революции какому-то комитету спасения, составленному из представителей городской думы и партий. Я тут же сделал вывод, что такая резолюция составляет не что иное, как отказ от поддержки Правительства, и высказал предположение, что последнее подаст в отставку. Сообщив по телефону Керенскому резолюцию, я тотчас сам поехал в Зимний Дворец. Керенский был в изумлении и в волнении и заявил, что при таких условиях ни минуты не останется во главе Правительства. Я горячо поддержал его решение и вызвал по телефону Авксентьева и других лидеров партий. Те приехали. Решение Керенского их страшно изумило, так как они считали резолюцию чисто теоретической и случайной и не думали, что она может повлечь практические шаги. Особенно изумился Авксентьев, когда Керенский заявил, что передаст власть ему, как председателю Совета. Начались уговаривания и убеждения, которые продолжались всю ночь.

К утру Керенский согласился остаться у власти. Но уже в течение ночи восстание, не встречая достаточно энергичного сопротивления, получило значительное развитие. Я сам был крайне изумлен, когда мой автомобиль в нескольких шагах от Зимнего Дворца на Миллионной, был задержан каким-то странным патрулем, который отправил меня в казармы полка. Там меня повели в революционный комитет, но сейчас же отпустили. Это были восставшие, которые, однако, действовали крайне нерешительно. Я из дому протелефонировал об этом в Зимний, но получил оттуда успокоительные заверения, что это недоразумение.

На утро, однако, стало ясно, что события приняли такой оборот, что кризис власти не может разрешиться в обычном порядке: почти весь город был в руках восставших. Керенского я застал в Штабе. Он не спал всю ночь и теперь собрался уехать. Мы проводили его. — Он поехал на своем собственном автомобиле с адъютантами в полной форме. Правительство и все тающая небольшая кучка штабных военных осталась в Зимнем Дворце и в Штабе.

Я сел писать воззвание к армии. Правительство, под председательством Коновалова заседавшее в Зимнем Дворце, одобрило текст. Я немедленно сам отправился на телеграф и отправил воззвание в Ставку. Кроме того, я соединился с Духониным, который уже ночью получил известия из Штаба о восстании. Духонин заверил меня, что приняты все меры к посылке войск в Петроград, и что некоторые части должны были уже немедленно начать прибывать. Я вернулся в Правительство и сообщил о моих переговорах. Правительство обсуждало вопрос о том, кого избрать генерал-губернатором Петрограда. После некоторых споров и колебаний избрали Кишкина. Тот сейчас же начал совещаться с Багратуни и Пальчинским.

Все это время по телефону приходили печальные и тревожные известия. Заняты вокзалы. Заняты телеграф и телефон. Занят Мариинский дворец, и члены Совета, собравшиеся туда, так как предполагалось заседание для пересмотра вчерашней резолюции, изгнаны.

Вышел на площадь. Она охранялась юнкерами. Но, прислушиваясь к разговорам, я убедился, что юнкера разъедены обывательскими разговорами и, во всяком случае, не проявляли энтузиазма в выпавшей на их долю задаче защищать Временное Правительство. Прошелся по улицам... Восставшие приближались, но медленно и нерешительно. Мне показалось, что проявление энергии с нашей стороны могло бы изменить положение дел. Я никак не мог добиться в Штабе толкового ответа, делается ли что-нибудь для борьбы или нет. Накануне Багратуни уверял меня, что Правительство имеет сил более, чем достаточно. Он сообщал, что в течение ночи будут приняты меры к тому, чтобы захватить штаб восставших, знаменитый военно-революционный комитет совета. Теперь все время шли речи о необходимости принять меры к освобождению Мариинского Дворца и телефона. Но часы проходили, и дело дальше разговоров не двигалось. Сознание бездеятельности и пассивности было так ощутительно и неприятно, что я предложил сам пойти освободить Мариинский Дворец и попросил дать мне для этого роту юнкеров.

Как раз к этому времени к Зимнему Дворцу подошла знакомая мне школа инженерных прапорщиков, где я раньше преподавал. С согласия Штаба я взял одну роту под командой пор. Синегуба и, в сопровождении нескольких офицеров из военного министерства, направился по Морской улице. Около Невского пр. меня встретил П. М. Толстой. Он знал о моем проекте идти на выручку к Мариинскому Дворцу и произвел «разведку»: оказалось, перед Дворцом стоят броневики. Тогда я решил ограничиться более близким объектом — телефонной станцией...

Подойдя к телефонной станции, я оставил половину роты, не доходя до входа во двор, а с другой половиной зашел дальше. Полуроты выстроились поперек улицы. Публика, которая, как обычно, сновала по тротуарам, извозчики — со всех ног стали спасаться в боковые улицы, видя, что дело подходит к стычке. Морская мертвенно опустела — никого, кроме моих юнкеров. Из телефонного двора выбежал прапорщик-большевик и, размахивая револьвером, стал расспрашивать, в чем дело. Я сказал, что пришел по приказу из Штаба сменить караул. Он ответил, что добровольно не подчинится. «Ну, так мы будем брать силой»...

Вероятно, с точки зрения достижения успеха, мне надо было застрелить на месте этого молодого прапорщика. Но я дал ему убежать во двор, и там он сейчас же крикнул: «В ружье». Во дворе показались испуганные, встревоженные лица солдат. Я отделил десяток юнкеров и хотел направиться во двор. Но мне показалось, что задача может быть выполнена и без боя, что большевики, засевшие там, сами сдадутся, увидя, что вся улица в наших руках. Но вдруг со стороны Мариинской площади затрещали выстрелы. Вмиг от моей роты юнкеров остались на улице только несколько человек, остальные все попрятались по подворотням в подъездах домов. Положение было не опасное, так как я, стоя все время на улице и сравнительно спокойно наблюдая за всей картиной, не слышал, чтобы пули свистели мимо нас. Но я не мог определить, откуда именно идет стрельба: с крыш, из окон? Кто стреляет? Какие меры нужно принять? Но стрельба затихла, и юнкера стали понемногу смущенно появляться опять. Я подумал уже о решительных действиях, но показался броневик, и опять тревога в моих рядах. Однако, броневик тихо и спокойно прошелся несколько раз мимо нас по улице, а потом стал у ворот телефона, направив на нас пулеметы. Я решил снять осаду, так как чувствовал, что мои юнкера смущены всей обстановкой, да и я потерял уверенность в легкости выполнения задачи. Чтобы не подвергать опасности ту половину роты, которая стояла дальше, проводя ее в строю мимо броневика, который мог открыть огонь по отступающим, я повел ее кружным путем — по Гороховой и улице Гоголя. Той же полуроте, которая стояла ближе к Невскому, я через офицера дал приказ немедленно возвращаться на Дворцовую площадь. Моя полурота вернулась благополучно. Но та, которая была ближе, была окружена на Невском броневиками и значительным отрядом большевиков и разоружена.

Так окончилась единственная, насколько я знаю, попытка активного сопротивления большевикам.

Убедившись на опыте, что активная борьба вокруг Дворца почти невозможна, тем более, что было очевидно, как таяли наши слабые силы, и как сужалось кольцо большевиков, которые уже стали выглядывать у штабных ворот, я сделал предложение, чтобы Правительство немедленно оставило Дворец. Я доказывал, что еще имеется полная возможность покинуть Дворец, не рискуя быть арестованными, и перейти в другое помещение, откуда уже организовывать борьбу. Слишком пустынно было в Зимнем Дворце и мертвенно. Конкретно, я предлагал перейти в Городскую Думу, где, по телефонным сведениям, собрались все представители общественности, и где намечался действительный центр борьбы.

Но только Гвоздев соглашался со мной. Остальные члены Правительства решительно отказались. И, может быть, они были правы... Лучше было погибнуть в пустынном Зимнем Дворце и быть арестованными толпой ворвавшихся солдат, чем оказаться окруженными и поддерживаемыми теми, кто вчера еще винил Правительство в том, что оно вызвало большевизм.

Вообще в Правительстве было желание проявить упорство и мужество. Кишкин и Коновалов памятны своим подъемом и непрерывным благородным жестом. Но более характерен для обстановки и исторического момента был Малянтович. Он ничего не говорил, а только слушал. Его глаза скорбно сияли. И было чрезвычайно ясно, что он прекрасно понимает все причины событий, ясно видит последствия, но отчетливо сознает безнадежность борьбы и страдает от неспособности не только сделать, но и вообще делать что-нибудь для предотвращения опасности...

●

РЕДКИЕ КНИГИ ОБ ЭТИХ ДНЯХ:

Астров Н. Н. ВОСПОМИНАНИЯ. Париж, 1940.
Волконская С. А. ГОРЕ ПОБЕЖДЕННЫМ. ВОСПОМИНАНИЯ. Париж, б. г.
Геруа Б. В., ген.-майор Генштаба. ВОСПОМИНАНИЯ О МОЕЙ ЖИЗНИ. Париж, 1969.
Ломоносов Ю. В. ВОСПОМИНАНИЯ О МАРТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. Стокгольм — Берлин, 1921.
Романов А. М., вел. кн. КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ. Париж, 1933.
Церетели И. Г. ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Париж, 1963.
Фабрицкий С. С. ИЗ ПРОШЛОГО. ВОСПОМИНАНИЯ ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТА НИКОЛАЯ II. Берлин, 1926.
Верховский А. И. РОССИЯ НА ГОЛГОФЕ. Петроград, 1918.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ОКТЯБРЬ

4—17 — среда. Демонстрация и митинги в Киеве по случаю оправдания судом присяжных капитана Дзевялтовского и др., обвинявшихся в «неисполнении приказа об отходе на позиции».

5—18 — четверг. Совет Крестьянских Депутатов постановил предложить своим членам в войсках и в тылу отказаться от посылки делегатов на созываемый 20-го октября 1917 г. съезд Советов Р. и С. Д., ввиду его «несвоевременности и опасности». — Врем. Прав. принципиально признало необходимой скорейшую эвакуацию в Москву как самого правительства и центральных правительственных учреждений, так и фабрик и заводов, работающих на оборону.

6—19 — пятница. Солдатская секция Петрогр. С. Р. и С. Д. после речи Л. Д. Троцкого вынесла резолюцию протеста против плана переселения Врем. Правительства в Москву. «Если Врем. Прав., — говорится в резолюции, — неспособно защитить Петроград, то оно обязано либо заключить мир, либо уступить свое место другому правительству. Переезд в Москву означал бы дезертирство с ответственного боевого поста». — Постановление Вр. Пр. о роспуске Государственной Думы и Государственного Совета.

7—20 — суббота. Открытие Совета Республики (Предпарламент). Фракция с.-д. большевиков подала заявление в Президиум Совета о том, что Петроградский С. Р. и С. Д., Московский Совет, Кавказский краевой совет, Финляндский областной, Уральский, Советы Кронштадта, Одессы, Киева, почти всей Сибири, Петроградск. совет проф. союзов и др. органы революции считают недопустимой коалицию с контрреволюционной буржуазией. А потому фракция с.-д. большевиков предлагает: 1) прервать ведущиеся под руководством Керенского переговоры с цензовой буржуазией и 2) приступить к созданию истинно-революционной власти.

8—21 — воскресенье. «Советы постороннего» (Н. Ленина) питерским товарищам к областному съезду Советов, назначенному на 10 октября.

10—23 — вторник. Избрано политическое Бюро Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. в составе Н. Ленина, Г. Зиновьева, Л. Каменева, Л. Троцкого, И. Сталина, Г. Сокольникова и А. Бубнова.

Печатается с сокращениями по книге В. Максакова и Н. Нелидова «Хроника революции», выпуск 1, 1917 год. Госиздат, М. — Пг., 1923.

Уважаемая редакция!

Я, давний ваш подписчик, был удивлен и просто потрясен, когда прочел в седьмом номере статью А. Дугина «Сталинизм: легенды и факты». Как вы могли опубликовать такое? Неужели вы не видите, что автор этот — ярый сталинист? После стольких лет молчания нам стали, наконец-то, известны страшные факты о деятельности «отца народов», уже создано и работает Всесоюзное общество «Мемориал». И появляется материал, прямо оправдывающий сталинские репрессии. Или вы допустили грубейшую ошибку, или, простите меня, крен берете в правую сторону... Хорошо бы узнать ваше мнение.

С уважением,
И. БЕРЕЗОВИЧ,
Москва

Это письмо в редакционной почте не единственное. Также раздаются и телефонные звонки с явным недовольством публикацией статьи.

Так чем же мы руководствовались, приняв предложение автора. Естественно, что такой статьи мы не заказывали. Это сказалась скорее внутренняя авторская потребность, но, с нашей точки зрения, заслуживающая внимания.

Мы рассчитывали прежде всего на то, что круг вопросов, рассматриваемый автором, не может не заинтересовать широкую читательскую аудиторию. Тем более, архивные документы и материалы, скрупулезно собранные и обработанные А. Дугиным, публикуются в печати впервые. История, наконец, должна стать и точной наукой. Автор постоянно подчеркивает, что его статья не есть истина в последней инстанции, необходим критический анализ выявленных данных, сопоставление с другими имеющимися документами, работа в архивах. Словом, историкам еще предстоит хорошо потрудиться, чтобы определить масштабы трагедии и установить точное количество жертв сталинских репрессий. Но первый шаг к этому уже сделан. Так мы расцениваем эту публикацию.

Редакция готова предоставить страницы журнала оппонентам А. Дугина, если их статьи будут также аргументированы и основываться на материале фактическом, а не на домашних подсчетах и повышенных эмоциях.

ПЕРВАЯ КНИГА

Много лет (или даже, точнее сказать, десятилетий) московские писатели боролись за то, чтобы иметь свое издательство. Право иметь такое издательство обусловлено не только тем, что Московская писательская организация — самая крупная в стране (в ней насчитывается около двух тысяч членов — одна пятая часть всего Союза писателей СССР). Московские писатели имеют на это и моральное право: ими создано множество произведений высокого художественного уровня, которые снискали заслуженную любовь наших читателей, имена и произведения многих писателей столицы получили мировое признание, в Москве живут и работают (зачастую в весьма трудных условиях) десятки и десятки талантливых молодых литераторов, фактически не имеющих выхода на страницы печатных изданий.

И вот, наконец, перед читателем первая книга нового издательства, которое получило название «Столица» — это репринтное воспроизведение «Истории города Москвы» И. Забелина, вышедшей в 1905 году.

Открывается книга обращением к читателю: «Дорогой читатель! Перед тобой первая книга, выпускаемая в свет издательством «Столица», и книга эта, естественно, о Москве — ее истории, нравах и обычаях москвичей, обо всем том, что мы называем московской стариной. Самим фактом публикации этой книги нам бы хотелось отдать дань вековым традициям нашего города, обладающего удивительной способностью — несмотря на все перестройки, реконструкции и разрушения — сохранять свой древний облик, неуловимое веяние «матушки Москвы». И пусть эта книга, принадлежащая перу замечательного историка Ивана Забелина, поможет нам осознать то, что мы не только жители сегодняшней и строители будущей Москвы, но и наследники ее славного прошлого».

Думается, что эти слова очень точно передают настроение, с которым приступили к работе сотрудники нового издательства. Возглавили его молодые московские писатели: директор Петр АЛЕШКИН и главный редактор Леонид БЕЖИН, избранные на эти должности на демократической, альтернативной основе. Редакция журнала «Слово» попросила их ответить на несколько вопросов.

— Каковы основные направления работы и «мощность» нового издательства, то есть количество выпускаемых в год книг?

Л. Б.: Вслед за книгой И. Забелина в скором времени выйдет еще одно репринтное переиздание — «Библия для детей». Затем начнут выходить новинки наших современников — проза, поэзия, критика, драматургия, книги для детей и юношества, литературоведческие работы, книги о Москве. В 1990 году, — в первом году работы издательства, — будет выпущено сорок названий. В дальнейшем мы будем выпускать по сто названий в год.

П. А.: Широко будем издавать мы и молодых авторов. Так, из сорока книг, которые будут выпущены в этом году, двенадцать — это книги молодых.

— Известно, что сегодня поэтические книги, книги молодых, не известных читателю авторов — убыточны (хотя убыточность эта во многом создается искусственно)...

П. А.: Союз писателей СССР дал нашему издательству в долг полтора миллиона рублей на три года. Естественно, убыточные книги у нас будут. Поэтому мы будем издавать доходные в коммерческом отношении книги, чтобы иметь возможность выпускать убыточные по достаточно низкой цене. Именно поэтому первая наша книга имеет такую высокую цену.

— С какими трудностями сталкивается издательство в период своего становления?

П. А.: Трудности у нас — «традиционные» для всех нынешних издателей — это полиграфическая база. Издательство приступило к работе в конце минувшего года, когда уже были утверждены фонды на бумагу, распланированы полиграфические услуги и т. д. Поэтому полиграфические предприятия, с которыми мы начали работу, берут с нас за производственные услуги в два — три, а то и в восемь раз больше, чем это предусмотрено прейскурантом. Все делается по договорным ценам.

— Как издательство будет «оправдывать» свое название?

Л. Б.: Москва — это не только географическое понятие, но и духовное. Нам бы хотелось, чтобы наши книги отвечали духовному ее облику, богатейшим традициям нашего города, который занимает особое место среди старейших русских городов. Поэтому мы создали специальную «московскую» редакцию, которая будет издавать книги о Москве, созданные современными писателями, в том числе по истории, архитектуре, о духовных традициях, о современной Москве. Будем мы издавать и классические книги о Москве прошлых лет, в том числе и дореволюционные.

— Большой успех имеют у читателей серийные издания. Планируется ли у вас выпуск таких изданий?

Л. Б.: Мы запланировали несколько серий: «Воспоминания старых москвичей», «Русские духовные писатели», серию «Сказки», может быть, библиотеку «Волшебные сказки». Задумана серия «Справочная библиотека писателя», куда войдут энциклопедии, словари (в том числе «Богословский словарь»), справочники, книги по истории московских улиц. В поэтической серии «Китеж» будут воскрешаться забытые имена. В этой серии будут опубликованы книги Даниила Андреева, Б. Поплавского, Н. Стефановича. Будем издавать жития московских святых, книги о московских патриархах, переиздадим книгу В. Тальберга «Святая Русь».

— Не секрет, что многие современные издатели в своей деятельности нередко пользуются принципами «внелитературного» отбора...

Л. Б.: Издательство «Столица» будет стоять вне групповщины, мы будем издавать всех писателей независимо от того, к какому направлению принадлежит их творчество. В этом году будут изданы книги прозаиков Виктории Токаревой, Евгения Богданова, Вениамина Каверина, Владимира Крупина, поэтов Новеллы Матвеевой, Владимира Леоновича, Геннадия Ступина, критиков Льва Аннинского, Владимира Бондаренко, Светланы Семеновой, книга для детей Валентина Берестова и другие.

— Редакция журнала «Слово» желает новому издательству успехов в сегодняшней сложной издательской обстановке...

Ю. ЧЕХОНАДСКИЙ



Иван Бунин с женой Верой Муромцевой

к 120-летию со дня рождения

НЕИЗВЕСТНЫЙ БУНИН

Мы не ошиблись, уважаемый читатель, назвав эту подборку произведений великого русского писателя «Неизвестный Бунин». Да, все это публикуется в нашей стране впервые, а стало быть, мы вправе сказать, что читатель наш открывает для себя неизвестного Бунина. Конечно, открытие весьма запоздалое, постыдное для памяти великого художника Земли русской, но будем считать все же утешительным, что не внуки наши, а мы сами прочтем эти пророческие мысли незабвенного Ивана Бунина — страдальца и мученика, оторванного от родной земли и родного народа, но не дрогнувшего произнести высокую правду об Октябрьской революции и ее вождях. Именно по этой причине мы не имели возможности познакомиться с этими произведениями раньше.

Да, писатель где-то излишне хлесток, желчен, зол, непримирим в оценках тех или иных исторических персон, до натурализма беспощаден в их описании, но все же почему это надо было прятать! Разве Ленин от этого станет для нас иным!! Разве мы не способны составить о нем свое представление, опираясь на различные точки зрения! И разве вождь Ленин не был так же жесток и беспощаден по отношению к своим врагам, разве он не бранился иногда испепеляюще-уничтожающей бранью! Но ведь все это вошло в его собрания сочинений без каких-либо купюр. Пора раз и навсегда отказаться от каких-либо идеологических изъятий.

Но вот непоправимые пороки тиранов: известное сделать неизвестным, спрятать, замолчать, заковать, утопить, пустить в пепел... Не понимая, что это усилия лишь на одну, ну на две-три тираньих жизни, но не более...

Несомненно, интересным и сложным предстает Иван Алексеевич и в воспоминаниях современников. Не все воспоминания равноценны, но близость этих людей к нему определяет и степень их правдивости, столь необходимой нам сегодня. Во всяком случае в нашей стране они тоже публикуются впервые.

Мы рассчитываем, дорогой читатель, не только на прочтение, но и на ваше послесловие, какой вы нашли для себя эту публикацию.

ИВАН БУНИН

ПОД СЕРПОМ И МОЛОТОМ

II

Жизнь возобновляется, — ведь идет шестой год их царства, — даже начинает переходить в будни. Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились извозчики... И опять весна и даже некоторые весенние чувства, — например в какую-нибудь черную сырую ночь с этим особенным треском колес и цоканием копыт по мостовой, с влажным ветром в фортку, или в солнечный полдень, когда все течет, блещет, тает, а на углу Арбата, на тротуаре, возле бывшей «Праги», сидят и, напоминая о юге, дерут свои стихиры слепые лирники... Вместе с весной стало как-то необычно людно на главных улицах. Народ, впрочем, все больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, уже почти нет, их погибло за эти годы бесконечно много, а те, что как-то уцелели, странны: зачем они уцелели, зачем вылезли откуда-то на свет Божий, как заморенные звери из своих холодных нор, — бледные, обросшие ватной сединой, в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народовольца: ужасная черная шляпа (ужаснее тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках), рубище солдатской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные веревкой... Однако, очень бодр, всегда не идет, а бежит, так и сверкает очками и младенческой, блаженно-изумленной улыбкой.

Я скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придется, в какой-нибудь чайной. Сижу, курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разговоры и музыку. Какой-нибудь до ушей лысый еврей, с бархатно-черными глазами, отставив вперед ногу, с бешеной страстью жжет и бьет смычком по скрипке, солдат в обмотках тупо ревет на гармонии, поставленной на приподнятое колено...

Есть вести из наших мест — из города и из деревни: и там уже будни. Недавно посетил нас «землячок», бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вел беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно:

— Теперь мы Россию замирили, везде тихо. Я сам в Тамбове не меньше ста душ в расход вывел...

Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые прозрачно-коричневые глаза стоят, как у филина. Стриженая голова имеет форму гроба

IV

В июне некоторое время жил в Тверском уделе.

Тихий и печальный край! Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие поселки, леса по горизонтам. А не то низины, болота... Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны...

Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков и все сидят дома, — не понятно. Земля скудная и малая, черноземному человеку смотреть жалко. Но вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае лучше наших. Избы прочны, ладны, стоят вдоль улицы ровно. В избах деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном пяльцы с узорным холстом, на полке самовар... Одеты все довольно опрятно, девки и ребята даже франтят и по вечерам парами танцуют около изб под гармонь. Пожилые весьма схожи с нашими по языку, по склонности изрекать общие места, мудрые пошлости. И, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. Над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить всего пять фунтов муки, лишь усмехаются: покачивают головами и уютно прячут руки в рукава.

Москва тут кажется за тысячу верст. Я о ней слышал, между прочим, такое суждение:

— Дивно, как еще эта Москва *веществует*!

V

В последний раз побывал в Никольском.

Пришло неожиданное и удивительное письмо от никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель.

«Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержание бывшую вашу усадьбу и живя в добрососедских отношениях. Приезжайте для личных переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали, и река вошла в свои берега...»

Едучи, думал: неужели и впрямь опять я еду туда, где встретил когда-то страшное начало этих «событий», откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что опять увижу это «пепелище», пока не увидал собственными глазами давно знакомые места и лица.

А затем было очень странно видеть все прежнее, свое, собственное, чьим-то чужим, — чьим именно, никто еще не знал толком во всей деревне, — странно взглянуть на все эти столь грубо одичавшие за пять лет «берега» и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней... снова войти в тот дом, где родился, вырос, провел почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натоптанная грязь, корыта, кадушки, люльки, постели из соломы и рваных пегих попон... Стекла окон, из зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты черными кружевами — так засидели их мухи.

На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то, что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтоб разрешили эту аренду «на вечность». Но ведь дом-то оказался занят, и в доме ко мне отнеслись, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас заявили без всякого стеснения: «Какая такая аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!» И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже крепко внедрившуюся в него жизнь.

Провел я в Никольском всего двое суток.

Уехал, зная, что уезжаю теперь уже навеки.

На днях встретил на Кузнецком никольского Степана: стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит; на голове шапка, на плечах тулуп, на ногах валенки, хотя жара градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: «Напрасно вы погордились — жили бы себе на спокое, у нас теперь не хуже прежнего, все хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно поблизости от Никольского «нехорошее дельце»: остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь, а мужики в лоск положили за этот весь табор; убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганенка; дрались весь день, с утра до вечера — цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним.

VIII

Был на суде.

Подсудимый крестьянин Волоколамского уезда. Мальчиком был отдан в обучение к «богомазу», затем и сам стал «богомазом». В молодости, «ознакомился с революционной и материалистической литературой», сделался «убежденным атеистом». Продолжал, однако, заниматься иконописью — вплоть до самого октябрьского переворота. Тут вступил в партию, зачислен был на «первые московские пехотные курсы», «вел работу по реорганизации кадетских корпусов», после чего был назначен комиссаром тамбовских командных курсов, сражался в рядах курсантов «против мамонтовских и антоновских банд, заслужив среди товарищей глубокое уважение, как стойкий и честный коммунист», и наконец, демобилизованный в прошлом 23 году, получил назначение на должность директора волоколамской фабрики. «Как же случилось то, что совершил он в апреле нынешнего года и что привело его на скамью подсудимых в московский Губсуд?»

Перед судом — человек небольшого роста, коренастый, крепкий, опрятно одетый, с чисто выбритыми щеками и красиво седеющей острой бородкой, с большой блестящей плешью на черепе и с удивительным спокойствием на лице, — истинное воплощение житейского благополучия, сознания недаром прожитой жизни, умной и холодной рассудительности, стойкой воли и непоколебимого резонерства, по справедливой характеристике газет.

— Подсудимый, расскажите все дело по порядку.

— Я сблизился с убитой мной Надеждой Чиж, будучи комиссаром тамбовских командных курсов. Она была уборщицей при курсах. Сначала была приходящей, затем поселилась у меня. Жениться я на ней не думал и никогда не обещал ей этого, ибо считал и считаю таковое оформление брака излишним. Однако, она вскоре стала требовать именно этого. Я стремился развить ее — напрасно: читать ничего не хочет, посещать образовательные лекции и чтения — тоже... Все мечты и желания сводятся к тому, чтобы получше одеться, завиться, напудриться... Вижу: сущая обывательница, как нельзя более далекая от склонности к коммунизму, цинично пользующаяся своим положением приближенной комиссара, своими возможностями получить из продовольственного склада курсов наибольшее количество продуктов, лишнюю пару ботинок, лишний отрезок сукна на пальто... Легко понять, насколько дискредитировала она меня своей некультурностью в глазах курсантов как коммуниста и борца.

— Так что, собственно за это вы и убили ее?

— Именно за это. И кроме того, за назойливость ее.

— Как же было дело?

— На охоте. Пошел 4 апреля текущего года на охоту. Она за мной. Взяла с собой закусок, вина. Пришли в лесок. «Давай, говорит, присядем, закусим». Прекрасно. Срубил для нее можжевельника, она села, стала развязывать узелок. Повторяю то, что уже говорил дорогой: «Мы должны расстаться». Отвечает: «Не расстаться, а повенчаться». Возится, наклонившись к узелку, но говорит твердо. Тогда я тотчас выстрелил ей в голову. Она упала, опрокинулась навзничь, не успев издать ни звука. Меня даже поразила эта картина: череп настолько развалился, что из него выпало все содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Разрезал на 16 частей.

— А для чего нужно было резать его?

— Для того, чтобы скорее растаскали труп птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей.

— Как долго длилось все это?

— Мы вышли в десять часов утра. Около одиннадцати сели закусывать. А домой я вернулся в два.

— Что же вы делали дома?

— Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил два стакана воды, сказал старушке мамаше поставить самовар, сам отправился в трактир за папиросами.

— А затем?

— Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил, как обыкновенно, делал свое дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего.

X

Наш «рюрикович» наконец отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чахотка истинно сжигали его, — я ни у кого не видал таких пылающих глаз и такой худобы. А меж тем, никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той легкости и даже веселости, с которой нес он все свои страдания и лишения. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее была человек в свое время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. А покойный даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего и не случилось! Все то же оживление, шутки, все те же «друзья мои» к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы из Москвы уедем, основем на Кавказе поселок — под солнцем, у моря, в виду гор, вечно сияющих снегами, в чинаровых рощах, в цветущих тропических дебрях...

— И уж тут с нами не сладишь! — смеясь, говорил он: — батраки, бедняки, коммунисты! И как еще житьто будем! Вон сестра Маша пишет: «Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденьщине...» И что же? Я уверен, что она счастлива.

Умер он в полдень. Я записал: «Полдень, 12 декабря 1924 года». За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:

— Вот и солнце, а я его уже не вижу...

На этом же диване и положили его — в остатках чистого белья, в черном сюртуке и серых брюках...

РУСЬ

Старуха приехала в Москву издалека. Свой северный край называет Русью. Большая, бокастая, ходит в валенках, в теплой стеганной безрукавке. Лицо крупное, желтоглазое, в космах толстых седых волос, — лицо восемнадцатого века.

Спросил ее как-то:

— А сколько вам лет будет?

— Семьдесят семь, господин милый.

— А вы, дай Бог не сглазить, еще совсем хоть куда.

— А что ж мне? Это года не велики. Наш родитель до ста лет дожил.

Чаю она не пьет, сахару не ест. Пьет горячую воду с черным хлебом, с селедкой или солеными огурцами.

— Вы никогда, небось, и не хворали?

— Нет, трясовица была на мне, порча на мне была. Мужа страшилась: как он ко мне с любовным чувством, меня и начинало трясти, корежить. Сжечь бы ее, ту, что напустила на меня это!

Слово «сжечь» одно из ее любимых. Про большевиков говорит очень строго:

— Не смеют они так про Бога говорить. Бог наш, а не их. Сжечь бы их всех!

Ее рассказы о родине величавы. Леса там темны, дремучи. Снега выше вековых сосен. Бабы, мужики шибко едут в лубяных санках, на кубастых лохматых коньках, все в лазоревых, крашеного холста тулупах со стоячими аршинными воротами, из жесткого псиного меху и в таких же шапках. Морозы грудь насквозь прожигают. Солнце на закате играет как в сказке: то блещет лиловым, то кумачевым, а то все кругом рядит в золото или зелень. Звезды ночью — в лебяжье яйцо.

1930

И. А. Бунин пометил свои этюды 1930-м годом (Собрание сочинений, Берлин, 1935 г. т. IX). Из 22-х бунинских этюдов редакция отобрала для публикации лишь те, которые в СССР никогда не издавались.

ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ

Революционные времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, — плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае — пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата ее большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский «революционный народ» уже весною 1917 года и особенно в уездных городах и в деревнях, — я в ту пору прнехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии,[1] — рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом мужики, грабившие это имение, ощипали догола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот рассказ жестокий нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее слово», Павла Юшкевича, напечатавшего в ней в назидание мне такие строки:

«К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилом и пониманием уголовного хроникера, оплакивать ваших павлинов — мещанство, обывательщина. Гегель недаром учил о разумности всего действительного!»[2]

Я ответил ему в одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, и что мне все-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться...

Все это время я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали наконец (в начале февраля 1920 г.)[3] эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние, мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, все было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, приветливым; теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупацией союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, еще более бесправными, чем они, а несчастными уже до последнего предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитого в России за три последних года. Но материальное положение наше не внушало радости: и мне и Н. П. Кондакову[4], с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочного прибежища и средств к существованию в какой-нибудь славянской стране, — в Софии, в Белграде, в Праге, — где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и первого поезда, — они были тогда еще очень редки после всех тех разрушений, что произвела четырехлетняя война и в Европе, и на Балканах, — мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте и в тылу одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, — это давало мне к тому же надежду как-нибудь устроиться там, — но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном море, было тоже чудом.

Болгария была оккупирована тогда французами и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселили там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось — для меня — вот чем. За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидел почти до рассвета, — ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

— Арестую, если вздумаете уходить!

Так я и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса[5], человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в девять утра, — в Софии публичные лекции, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ее, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла, — на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан не запертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше, чем за минуту перед его появлением на эстраде, под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичок», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как называл ее болгарский сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербы помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие еще были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя однако только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой[6], заседавший в нашем посольстве. И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение, — разменять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал:

— Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — ответил я.

— А из какой именно вы академии?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог:

— Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Он покраснел и резко отчеканил:

— Все же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел и посольства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо постоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной[7], касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника[8] (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имении которой, в селе Васильевском, я подолгу живал многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде замечательных:

— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь: вхожу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.

— На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. Скажите, пожалуйста, который час? Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствию Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталия Пальчикова[9] со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел ее мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр — смотреть «Синюю птицу»...

— Один наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не будет!»

— Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться с своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощание поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, писателях эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»

— Писатель Малашкин[10], шестипалый, мещанин из Ефремовского уезда. Говорит: «Я новый роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихийно, темпераментно!»

— Писатель Романов[11] — мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», черные лайковые перчатки, застегнутые на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандиозные: «Пишу трилогию «Русь», листов сто будет!» К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там...» Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, все говорил: гармонь бы мне...

Впервые очерк опубликован в сборнике: «И. А. Бунин. Воспоминания» (Париж, 1950 г.).

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, квартирует в избе Красовых, метет и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носиг лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовым Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин[12]. Когда-то у него было небольшое имение, которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения о нем:

— Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живет в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет в метель снегом... Живет тем, что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке, — фрак и цилиндр достались ему при грабеже имения ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической метели.

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

Древний образ в черной раке,
Перед ней подлец во фраке,
В лентах, в звездах, в орденах...

Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты Васек Жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды за чем-то, — верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, — в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич[13], умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещен был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Мария Алексеевна[14] умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростове-на-Дону...

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:[15]

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населен, как всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь не хуже чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох...

А затем пришло уже такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимого старого клена...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет об имении Васильевском, которое принадлежало Софии Николаевне Пушечниковой (рожд. Буниной), двоюродной сестре И. А. Бунина.

2. См. **И. Бунин,** Окаянные дни, изд-во «Заря», Лондон (Онтарио, Канада), 1973, стр. 168—169.

3. И. А. Бунин и его жена В. Н. Муромцева-Бунина уехали из Одессы 26 января 1920 г.

4. **Кондаков** Н. П. (1844-1925) — историк искусства, академик.

5. Петр Яковлевич **Рысс** (? — 1948) — журналист, принадлежал к партии Народной свободы. Умер в Париже.

6. Григорий Николаевич **Трубецкой,** князь (1873—1929) — журналист, до августа 1927 г. сотрудничал в парижской газете «Возрождение».

7. Мария Самойловна **Цетлина** (1882—).

8. Николай Алексеевич **Пушечников** (1882—1939), любимый племянник И. Бунина, переводчик Тагора, Киплинга, Голсуорси, Джека Лондона; в своем, до сих пор полностью неопубликованном, дневнике оставил крайне интересные и ценные воспоминания о Бунине.

9. О крестьянской семье Пальчиковых см. **А. Бабореико,** И. А. Бунин. Материалы для биографии, Москва, 1967, стр. 206—207.

10. Сергей Иванович **Мапашкин,** дер. Хомяково, Тульской губ. (1888—); литературную деятельность начал как поэт (1916), с середины 20-х гг. выступает как прозаик.

11. Пантелеймон Сергеевич **Романов,** дер. Покровское, Тульской губ. (1885—1938). Роман-эпопея «Русь» (ч. 1—5, 1922—1936) рисует усадебную Россию перед I мировой войной, затем вплоть до февральской революции.

12. Евгений Алексеевич **Бунин** (1858—1935) — брат писателя. Детство и юность провел с родителями на хуторах Орловской и Тульской губерний, гимназию не закончил. По воспоминаниям В. Н. Муромцевой-Буниной Е. Бунин «погубил свой недюжинный талант художника-портретиста» (Жизнь Бунина, Париж, 1958, стр. 80).

13. Юлий Алексеевич **Бунин** (1857—1921) — играл большую роль в жизни писателя. Всесторонне образованный (кончил два факультета) и одаренный, он помог И. Бунину заполнить пробелы образования (И. Бунин оставил гимназию в Ельце с четвертого класса). В дальнейшем Ю. Бунин имел влияние на брата и был для него своего рода авторитетом. И. Бунин очень переживал его смерть.

14. Мария Алексеевна **Бунина,** по мужу Ласкаржевская (1873—1930).

15. См. примечание № 1.

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство в Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило обманывает мужа, — Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны... А ведь граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах да и в семидесятых не один болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я верю ему как тому, что в небесах есть солнце».

МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Соотечественники.

Наш вечер посвящен беседе о миссии русской эмиграции.

Мы эмигранты, — слово «émigrer» к нам подходит, как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному: к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия — это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано: «миссия есть власть (pouvoir), данная делегату идти делать что-нибудь». А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова, в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы предстательствуем за кого-то? Цель нашего вечера — напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным и даже зазорным. Наша цель — твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите из этого громадного числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем несознательно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) нынешних владык России, суть однако их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас: останется все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это н е ч т о заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков: перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!»

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России, — были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убиец. Однако это не все: русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне с о з н а т е л ь н о и д е й с т в е н н о против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязающего на мировое владычество, сотни тысяч противоборстаовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими с м е р т я м и запечатлели свое противоборство — и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого противоборства. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени дано нам действовать и предстательствовать? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще — от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся тому римскому солдату, который поднес к устам Распятого губку с уксусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские «в н у т р е н н и е д е л а», то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что у з а к о н я е т этот погром. И вновь, и вновь исполнилось таким образом слово Писания: «Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же от того не станут тучнее... Вот темнота покроет землю и мрак — народы... И л и ц о п о к о л е н и я б у д е т с о б а ч ь е...»[1] Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе, и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру, взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным

Речь, произнесенная Иваном Буниным в Париже 16 февраля 1924 года. Орфография дается по оригиналу.

[1] Ветхий Завет. Бытие Глава 41. Сон Фараона

разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, во веки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что произошло? Как ни безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая «планетарным» злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума, — сам министр-президент на московском совещании в августе 17 года заявил, что уже зарегистрировано, — только зарегистрировано! — десять тысяч зверских и бессмысленных народных «самосудов»[2]. А что было затем? Было величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшегося с убийства Духонина и «похабного мира» в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить «Семь заповедей Ленина». И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самые Святая святых своей родины, в место страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение? Это он будет державным хозяином всея новой Руси, осуществившим свои «заветные чаяния» за счет соседа, зарезанного им из-за полдесятины лишней «земельки»? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка, Ключевского: «Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампады над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры». Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты и лампады погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле — и нельзя, преступно служить ее тьме.

Да, колеблются устои всего мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще небывалой жаждой корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморе. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют, Содом и Гомора ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобресть власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гомору, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников «новой» жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устроения человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного.

Образовалась целая армия профессионалов по этому делу — тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу «опиума религии», дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание[3], что в черепе этого нового Навуходоносора[4] нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, ка́к пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: «Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!» Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву —
Под руки и по Тверскому...
Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной...[5]

И если все это соединить в одно — и эту матерщину, и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка, и его высовывающийся язык, и его красный гроб, и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу: ведь ноги-то раскорячиваются действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев, — так всегда бывало. «Се Аз востану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря...» И на Содом и Гомору, на все эти Ленинграды падает огнь и сера, а Сион, Божий Град Мира, пребудет вовеки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!». Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениванием его, с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. «Они не хотят ради России претерпеть большевика!» Да, не хотим — можно было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя претерпеть. «Они не прислушиваются к голосу России!» Опять не так: мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: «Ах, ах, тра-та-та, без креста!»[6] и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли оставить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политическую риторику, эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. «Народ не принял белых...» Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: не принимали хулиганы, да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней? Один из недавних русских беженцев рассказывает, между прочим, в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебывается от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину[7]. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, — да святится вовеки его память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что были бы достойны этой могилы. Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того, да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего, и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа. «Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!» Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, когда Бог переменит орду».

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный» мир с нынешней ордой.

Ив. Бунин.

[2] А. Ф. Керенский (1881—1970), глава Временного правительства, с июля 1917 г. одновременно министр-председатель.

[3] Н. А. Семашко (1874—1949). Первый нарком здравоохранения СССР (1918—1930). С 1921 года руководил созданной по его инициативе кафедрой социальной гигиены на медицинском факультете Московского университета (позже 1-й Московский медицинский институт).

[4] Навуходоносор II, вавилонский царь 604—562 до Р. Х., при котором вавилонское царство достигло наивысшего могущества.

[5] Из Есенина.

[6] Из «Двенадцати» Блока.

[7] Рассказ о собачке вызвал реплику у М. Горького: «Моралистам Бунин дал хороший повод говорить о слепоте ненависти. Остроумные люди, вероятно, очень посмеются над мольбой культурного человека и прекрасного писателя, который дожил до того, что вот, предпочитает собачье бешенство человеческим чувствам». («Из дневника», «Огонек», 1926, № 31, стр. 6). По поводу замечания Горького Бунин писал в свою очередь в «Записной книжке» в газете «Возрождение», Париж, 1927, № 723, 26 мая.

ПРИМЕЧАНИЕ

Воспроизводится по первому и единственному полному тексту, напечатанному в газете «Руль», Берлин, 1924, № 1013, 3 апреля. Затем эта речь, в сокращении, была опубликована в сборнике «День Русской Культуры» (Париж, 1934) под заглавием «И. А. Бунин об исторической миссии русской эмиграции», стр. 6—8) с примечанием редакции:

В связи с увенчанием в прошлом году Ивана Алексеевича Бунина Нобелевской премией, редакция сборника «День Русской Культуры» шлет сердечно любимому и глубокочтимому Ивану Алексеевичу свои горячие искренние приветствия и наилучшие пожелания среди коих первое: «Скорой встречи в России!»

Печатаемая ниже, в выдержках, речь И. А. Бунина «о миссии русской эмиграции» была произнесена И. А. десять лет тому назад на публичной беседе в Париже.

В субботу, 16-го февраля 1924 года, в Salle de Geographie (184, Boulevard St-Germain состоялось собрание, посвященное вопросу — Миссия Русской Эмиграции, — на котором выступили с речами:

И. А. Бунин. — Миссия русской эмиграции.

А. В. Карташев. — Смысл непримиримости.

И. С. Шмелев. — Душа родины.

Священник о. Г. Спасский. — Вокруг Креста.

Д. С. Мережковский. — Слова немых.

И. И. Манухин. — Русский Дом.

И. Я. Савич. — Вестники возрождения.

Н. К. Кульман. — Культурная роль эмиграции.

Этот вечер и его продолжение 5-го апреля 1924 года вызвали резко отрицательную критику левонастроенной эмигрантской печати того времени, в первую очередь газеты «Последние новости». В многочисленных статьях, появившихся в феврале, марте и апреле 1924 г., ряд писателей и журналистов выступил, зачастую в грубой форме, против организаторов вечера 16-го февраля. Началось с передовой от 20 февраля под заглавием «Вечер страшных слов». За ней следовали статьи: «Вечер самооправданий и демагогий», «Голоса из гроба», «Религия и аполитизм», «Новый Апокалипсис», «Бессильные потуги» и др. В «Парижском архиве» Бунина, находящемся теперь у Милицы Эдуардовны Грин в Эдинбурге, сохранились газетные вырезки с его пометками, иногда в очень резком тоне по отношению к своим оппонентам.

Вечер — Миссия Русской Эмиграции — не прошел незамеченным и в Советской России: в газете «Правда» от 16 марта 1924 года появилась статья Н. С. «Маскарад мертвецов».

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

БУНИН В ХАЛАТЕ

— Как-то под вечер — это было во время одного из его последних наездов в Москву — я зашел к Чехову. Он сидел один, грустил и видимо искренно обрадовался моему приходу. Мы долго говорили. Становилось поздно, и я несколько раз пытался уйти, но Антон Павлович не пускал меня.

«Давайте теперь посидим и немного вместе помолчим», — сказал он.

Чувствовалось, что ему неуютно оставаться одному. Я остался. Часу в третьем ночи раздался звонок, и Ольга Леонардовна точно впорхнула, веселая, надушенная, щебечущая.

— Дусинька, ты не один, вот это отлично...

Ей подали закусить, и она с аппетитом стала разгрызать какую-то холодную птицу. Чехов глядел на нее почти с ненавистью.

Когда потом в его записной книжке я наткнулся на фразу: «Когда я вижу, как бездарная артистка жрет куропатку — мне жаль куропатки», я невольно вспомнил этот вечер.

Предлагаем читателям никогда в СССР не публиковавшиеся заметки Александра Васильевича Бахраха — свидетельства современника, друга и помощника И. А. Бунина.

Отобранные нами для публикации отрывки интересны прежде всего тем, что автор ведет свой рассказ непосредственно со слов самого И. А. Бунина, тем самым помогая увидеть писателя в непринужденной домашней обстановке.

*

А за всем тем, как к женщине, его неизменно влекло к Книппер.

— Это в свое время очень в России практиковалось, мы ведь во многом были чуть провинциальны: какая-нибудь анонимная поклонница пошлет вам многостраничную исповедь с таким обилием деталей, что порой при чтении краснеешь, а к концу добавит — научите как жить или что такое жизнь... Много я на своем веку получал такого рода посланий. А почему я обязан знать, что такое жизнь.

А Чехов говорил: «Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю: а что такое морковь? Морковь это морковь и все тут».

*

— Пишут, пишут братья-писатели, а скольких вещей они и не знают...

— ?

— Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях... Не ведают самых элементарных законов физики, не знают анатомии, свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автобуса. Мы отправлялись в Ниццу.

— Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются синие жилки. А что это значит, никто и не знает, а я по этим жилкам да еще по каким-нибудь едва заметным признакам, которые большинство из пишущих не замечает, опишу вам ее наружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как-то сидел в ресторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой-то лысый господин. Я и говорю Зайцеву: «Борис, погляди на его уши, на его манеру есть, на то, как он сидит, и расскажи мне про него». Зайцев поглядел, задумался и, отшутившись, переменил разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господина написать. Для писателя это полезнейшая игра.

А Алданов, прекрасный писатель, издали женщины от мужчины, кажется, не отличит. А ведь он совсем не близорук!

Зато как знали все эти «мелочи» Толстой или Флобер. Поэтому так отчетливы их герои. Многими ли словами описана Наташа Ростова, но ее поступки, ее жесты, ее ощущения настолько слитны, так логичны, так все одно из другого вытекает — ни единой погрешности, ни единой фальшивой нотки — что мое, ваше, чье бы то ни было представление о ней будет мало чем друг от друга отличаться.

А тургеневская Лиза все-таки — абстракция. Ее образ расплывается. Иные ее черты физически несовместимы. Разве вы можете себе ясно представить Джемму? Ну, хорошо — усики слегка пробиваются над верхней губой, а дальше, дальше что? Я ее не вижу. Чтобы ее ясно представить, мне нужно дописать Тургенева, самому дополнить ее облик.

А вот Пушкин... Хоть он многого, может быть, и не знал, но у него был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то чудовищное, небывалое чутье. Зато Лермонтов уже знал все. Ведь это какое-то необъяснимое чудо, чтобы в двадцать восемь лет так все знать.

Если бы какие-нибудь Гонкуры до конца знали все эти вещи — они стали бы первоклассными писателями. А так — много блеска, очень талантливо, но сухо, чего-то постоянно недостает, и это их губит.

И Короленко этим грешен. А еще больше Горький, по существу большой талант, но талант на пошлую литературу. Возьмите любую его книгу и начните карандашом отмечать все несообразности, все его «погрешности». Вы и не оберетесь. Да, необходимо «на зубок» знать то, о чем пишешь.

Вот, для примера, в каком-то горьковском рассказе — если не ошибаюсь, называется он «Рождение человека» — нагромождены физиологические подробности, о которых сама природа не ведает. Действие происходит на Кавказе, на берегу Арагвы или какой-то другой реки. И вдруг Горький серьезно пишет: «кленовые листья, плывшие по воде, были как обрубленные человеческие руки и как ломти лососины...» (Неточная цитата. — Ред.)

Вы только вникните в эту фразу. Я даже не говорю о том, что вообще безграмотно давать два сравнения. Но «обрубки тела», которые плавают — где же Горький такое видел? Или он считает необычайно выразительным вроде «моря, которое смеется» то, что «один глаз впивался в вас, а другой лукаво подмигивал». Разве это дает хоть малейший образ? Это демагогия и ничего больше.

Когда мы когда-то во время оно вместе жили на Капри, я неоднократно говорил ему: «Алексей Максимович, у вас тут, точно вы побывали в анатомическом театре и оттуда все приволокли — там взяли лицо, здесь туловище, тут ногу — разве в природе вообразимы подобные соединения?» Он почесывался и говорил: «Да, оно, конечно... пожалуй, вы и правы».

Вспоминает это Иван Алексеевич, уморительно имитируя окающий горьковский говор.

А у Леонида Андреева Иуда на закате взошел на Елеонскую гору (действие происходит в Иерусалиме), распростер руки, и «тень его казалась черным распятием». И эффект-то какой дешевый. Но не в этом дело: я ему заметил: «Леонид, а ведь солнце-то заходит с другой стороны Мертвого моря».

— Ты вечно о пустяках, — недовольно возразил мне Андреев.

Но ведь это отнюдь не пустяки. Надо уметь прививать.

*

— Среди моих коллег по Академии был и Ключевский. Какой это был привлекательный старичок. Но близко мне с ним сойтись так и не удалось. Я об этом и сейчас жалею. В последний раз в жизни я встретил его в день первого представления «На дне». Триумф Горького превзошел тогда все ожидания, в течение спектакля его вызывали семнадцать раз, а после премьеры был организован банкет в «Праге» приборов, кажется, на триста.

До начала ужина, в отдельной комнате я стоял рядом с Ключевским и обменивался с ним впечатлениями, пока не появился сам герой торжества, красный, возбужденный, потный...

— Жрать, жрать, жрать, — покрикивал он на ходу и подозвал лакея — «Тащите сюда сейчас же какую-нибудь такую рыбину», — жестикулируя, он показывал ее величину. — «Нет, такую...» — и еще больше разводил руки — «словом, не рыбу, а лошадь...».

«Нет, Алексей Максимович, зачем же лошадь», — ледяным голосом проронил Ключевский, отчеканивая каждое слово, — «ведь мы здесь не все ломовые извозчики...»

*

— Уж, кажется, пером я владею и над тем, что мной написано, комар носа не подточит. А вот письма мне не удаются и никогда не удавались. Получаются какими-то тусклыми, бухгалтерскими — вот только, если разозлюсь, то развожу похабщину. Я непременно в моем завещании отмечу, чтобы мои письма никогда не опубликовывались. А кто послушается? Вот и Гончаров строго-настрого запретил его письма издавать и, вероятно, был прав: я недавно целый том этих гончаровских писем прочитал! Надписи на книгах тоже не моя специальность. «Милому», «дорогому», «глубокоуважаемому», а дальше что. Да и дамам не намного лучше. Если бы вы знали, сколько раз я использовал украденную у Горького формулу «эти книги я переплел бы в кожу моего сердца», вы бы ахнули, но представьте, всякий раз действовало.

*

— Я совсем ожидовел! Ночью мне Шагал снился, большой такой, с ровной, гладко подстриженной бородой, точно пушистое колье вокруг лица.

— Иван Алексеевич, да ведь Шагал бритый...

— Вот вы всегда ко мне придираетесь. Я уверен, что это был Шагал. Я даже успел заметить, как за его спиной плавали его разорванные, зеленые евреи. А потом подошли какие-то немецкие офицеры, настолько страшно стало, что я проснулся.

А в другой раз:

— Ночью мне Лев Николаевич снился, весь сизый, с взлохмаченной бородой, все пил джин из огромной бутыли. Где он только такую достал? Меня он явно не узнавал. Я подходил к нему, представлялся, напоминал, что мы когда-то встречались. Ничего не помогало, старик был точно невменяем. А мне было не по себе — в печати рассказывал о встречах с Толстым, а он меня не узнает.

На следующий день после этого сна мы ездили в Ниццу. Первой покупкой Ивана Алексеевича была большая бутылка джина!

*

— А у вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву «ф». Мне даже выводить на бумаге это «ф» трудно, и в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А, знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. В последнюю минуту — священник уже стоял у купели — старая нянька сообразила и с воплем прибежала к моей матери: «Что делают... что за имя для барчука!». Наспех назвали меня Иваном, хоть это тоже не слишком изысканно, но конечно, с Филиппом несравнимо. Именины мои приурочили ко дню празднования перенесения мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, я и остался на всю жизнь без своего святого... А прости Господи, каким образом рака Иоанна Крестителя могла очутиться в Гатчине, я до сих пор не разгадал.

Но что все-таки могло произойти — «Филипп Бунин». Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.

Его до сих пор передергивает при одной мысли об этом «ужаснейшем» из сочетаний.

*

— Род наш значится в шестой книге. А гуляя как-то по Одессе, я наткнулся на вывеску «Пекарня Сруля Бунина». Каково!

Какой великолепный писатель Гаршин и каким несчастьем для нашей литературы была его преждевременная смерть. В его вещах чувствуется такая писательская свобода и смелость приемов, которые безошибочно указывают на очень глубокий и подлинный талант.

«Мы, Божией милостью, Петр Первый объявляем ревизию сему сумасшедшему дому...», так начинается «Красный цветок». Как прием, лучше не придумать. А «Четыре дня» — совсем крупная вещь, но даже в маленьких его рассказиках чувствуется присутствие свежего таланта. «Attalea princeps» хоть и испорчена гимназической тенденцией, но и здесь чувствуется что-то значительное.

*

— Замечательный человек был Леонтьев — умный, интересный, талантливый. Некоторые его вещи, в частности его «Записки», буквально на уровне толстовских вещей. Его греческие романы немного тягучи и скучны и должны сейчас показаться старомодными, но и в них вы неожиданно наткнетесь на страницу, на пятнадцать строк описания какого-нибудь Крита, которые великолепны.

Ох, неблагодарное потомство!

*

— Я думаю, что ни одна западная литература того периода не достигала поэтических высот «Слова о полку Игореве». Но надо быть русским, чтобы это ощутить. Вот Мицкевич пытался переводить «Слово» и не сумел — оно непереводимо. Есть много поэтических творений, которые теряют прелесть, если лишить их природных архаизмов. «...Святослав мутен сон виде...» — Разве это то же самое, что «мутный сон»? Ведь «Слово» даже и на современный русский язык переводить кощунственно.

Мудрый Мазон долго работал над «Словом» и пытался доказать в силу каких-то внелитературных причин его апокрифичность. Боже, какая ересь! Только иностранец мог не почувствовать органическую ткань этого памятника.

*

Прекрасно имитирует многих своих современников, Горького, Бальмонта, Алешу Толстого. Актерская жилка в нем очень сильна, хотя театра он не любит. Знает это и, смеясь, замечает:

— Почему я не пошел в актеры, когда меня вербовал Станиславский. Наверное стал бы знаменитостью, а теперь, скажите на милость, кто меня читает?

А все-таки отлично знает, что забыт он не будет.

*

По поводу какой-то домашней хозяйственной неполадки я замечаю:

— Ну, это исправить трудно...

— Трудного ничего на свете не бывает, — перебивает он меня, — вот и «Войну и мир» нелегко было написать, а однако же Лев Николаевич ее написал.

Потом улыбнувшись:

— Это вы, злодей, вероятно, хотели сказать, что я бы не смог.

Он задумался и вдруг:

— Вы постоянно хотите меня унизить!

*

— А вы часто перечитываете «Повести Белкина»?

— В нормальной обстановке едва ли не раз в месяц.

— Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я буквально страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой Пушкина. А тут его не достать. Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрыть книжку на последней странице и начинать снова с первой.

— Гоголь, конечно, гениальный писатель. Смешно это отрицать, но разрешите мне его не очень любить. Уж очень много в нем пошлого, неестественного. Откройте хотя бы первую страницу «Мертвых душ» («поэмы» — почему поэмы?). Действие происходит в губернском городке, и вдруг у дверей кабака разглагольствуют два «русских мужика». Что же вы могли бы подумать, что это испанцы судачат о том, доедет или нет Чичиков до Казани? Но еще того неестественнее подбор имен. Где он мог выкопать этакие мертворожденные фамилии, как Яичница, Земляника, Подколесин, Держиморда, Бородавка, Козопуп? Ведь это для галерки — это даже не смешно, это просто дурной тон. Даже в фамилии «Хлестаков» есть какая-то неприятная надуманность, что-то шокирующее. Да и Антон Павлович со своим Симеоновым-Пищиком, несмотря на весь свой вкус, сел в калошу. Нет, удачная фамилия — важнейшая для писателя вещь. Полюбуйтесь только фамилиями у Толстого — это подлинные алмазы.

*

— Вчера я перелистывал том стихотворений Фета. Кто редактировал это издание? Высечь его следовало бы. Отличный был поэт, но из «Вечерних огней» надо столько стихов выпустить. Я был по-настоящему огорчен. Не знаю, кто придумал, что надо печатать в посмертных изданиях все написанное. Не дай Бог, если такое произойдет со мной — я вылезу из гроба и буду уничтожать лишнее, детское, незрелое, не обработанное.

*

Принято думать, что у Бунина не в меру ироническое отношение ко всем собратьям по перу, особенно к молодым и начинающим. Это, конечно, легенда. Когда разговор о ком-нибудь из писателей следующего поколения («незамеченного», как его кто-то окрестил) или кто-то пустит едкое замечание, он непременно взъерепенится, вступит в спор, начнет «обвиняемого» защищать — без малейшего покровительственного тона.

— Критиковать легко, а попробуйте сами такое написать. Раз талант есть, выпишется. Никто сразу «Войны и мир» не создал.

Насмешки и шпильки пускает только по адресу уже признанных, но тех, которые ему близки, всегда расхваливает и умалчивает даже то, что не могло прийтись ему по душе.

Особой нежностью пропитаны его высказывания об «Алешке» Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому другому. Охотно вспоминает встречи с ним «на заре» эмиграции:

— Будучи в Париже, он не раз мне с надрывом говорил: «Вот будет царь, я приду к нему, упаду на колени и

скажу: «Царь-батюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь». А ведь «царя» он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу сидеть, попивать винцо и все изобретать какие-то китайские пытки для большевиков — ведь он их тогда ненавидел.

Я однажды зашел к нему, когда он умывался.

— Посмотри на меня, Иван, до чего я красив, мне порой самому от этого жутко становится!

Действительно, человек необыкновенной силы, никогда ничего подобного не видел. Он сам мне рассказывал:

— Прихожу я раз домой навеселе, что-то меня рассердило, и я начал буйствовать. Кричу на весь дом — «Сейчас угол у камина отобью» (не повторю, каким способом). Прибежали дети, плачут, кричат «Папочка, не надо», еле они меня успокоили.

Но какой он работяга. Всю ночь кутит, в пятом часу возвращается домой, а в десять уже за письменным столом, голову помажет «бом-банге», обмотает мокрой тряпкой и до завтрака пишет. Ведь «Петра» он начал готовить еще будучи в Париже, еще тогда начал собирать материалы. Прекрасно все чувствует, даже петровскую эпоху почувствовал, от которой отказался Лев Николаевич.

Еще большей симпатией пользуется у него Алданов.

— Этому человеку я верю больше всех на земле.

А когда Алданов покинул Францию, он с горечью сказал:

— Теперь здесь я уже совсем один остался.

Получив коллективную открытку из Лиссабона от Алданова и тогда близких ему Цетлиных, которые застряли в Португалии по пути в Америку, он был подлинно растроган.

— Сегодня у меня хороший день. Двадцать лет вместе прожили, и вдруг все рухнуло, все теперь разъединены. А они снова вместе и не забывают меня — стврика.

Между тем по отношению к группе символистов он всегда крайне пристрастен и проникнут — казалось бы уже несвоевременным — полемическим задором. Старинные битвы не забыты. Кажется, еще больше старается делать вид, что не выносит творчество Блока, чем оно ему на самом деле чуждо. О Блоке он составил целое «досье» с выписками из его статей, писем, дневников (значит, им по-настоящему интересовался!). В пылу спора побежит за своими выписками наверх и «убивает» оппонента цитатой. Что на них отвечать? Вырванные из контекстов записи отдельных фраз, действительно, могут казаться смехотворными, — ну что сказать по поводу выписки из блоковского дневника, сделанной в день гибели «Титаника» — «есть еще Океан» или еще «Я, ...хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной звезды и в петрамутр и аметист метели»? Особенно потешало Бунина блоковское посвящение Брюсову: «Кормчему в темном плаще — путеводной зеленой Звезде». «Этот лабазник — кормчий в темном плаще», — подхихикивал Бунин.

Не раз он мне говорил:

— Почему вы делаете такую кислую гримасу, когда я упоминаю Васнецова и трясетесь от восторга от «Куликова поля» с его лебедями над Непрядвой? Ведь это из одной и той же оперы.

Иногда он начинает распевать на мотив шансонетки какие-нибудь строки из «Двенадцати», ворча «какая пошлость» и уверяя, что частушечный лад поэмы — грубая подделка, дешевое желание подладиться под непритязательного читателя. Особенно его раздражало вставленное Блоком в поэму словцо «елекстрический» — («Елекстрический фонарик / На оглобельках...»), и он утверждал, что никакой Петруха такого словечка и произнести не смог бы. «Все подделка». Нелюбовь его к Блоку переносится даже на физический облик поэта.

— Я вам нашел его портрет и подарю. Лежа у себя, вы сможете любоваться его отвислой губой...

Еще больше раздражения вызывает в Бунине упоминание имени Андрея Белого. Он признавал его обаяние, но вопил, что Белый — «полубес, полушут», шпынял меня им, зная, что когда-то с Белым у меня были дружественные отношения, а потом снова раздражался, вспоминая о том его портрете, который нарисовал Белый в своих воспоминаниях.

— «Серебряный голубь» — сплошная безвкусица, сплошная претенциозность. Это мир восковых кукол, делающих черт знает что. А в «Петербурге» я наткнулся на фразу: «Аблеуховы все попукивали и попукивали...» Дальше я читать не стал, я слишком от природы брезглив. Кажется этот кирпич я просто сжег. Да и какая идея у книги гнусная «Быть Петербургу пусту»... чем же Петербург ему не угодил?

*

— Вы и Ходасевича в Пушкины возвели. «Гнилой рябчик», как он сам о себе очень метко выразился. Написал несколько очень аккуратных стихотворений — даже умных, не спорю. Но со своим маленьким чемоданчиком прошествовал по жизни с таким видом, точно у него горы багажа. И это на многих действовало.

Вот незадолго до его смерти я прочитал его воспоминание о Горьком и подумал — «Тьфу, до чего хорошо, как дельно и умно, пожалуй, лучше и не скажешь. Только, может быть, не ему следовало эти воспоминания писать».

*

Бунин до «Лолиты» не дожил, но уже в те годы — еще не зная, что Набоков впоследствии в «Дальних берегах» проснобирует приглашение вместе поужинать в каком-то элегантном парижском ресторане, с большим сочувствием отзывался о первых вещах молодого писателя, появившихся под псевдонимом «Сирин»:

— О, это писатель, который все время набирает высоту и таких, как он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это самый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе, но это — рыжий в цирке. А я грешным делом, люблю талантливость даже у клоунов.

*

Перелистывая какую-то устаревшую антологию, он наткнулся на державинское «Видение мурзы», которое очевидно выветрилось из его памяти. Восторгу его не было конца. В течение долгих недель он то и дело повторял:

«Нет, подумайте, что этот татарин сочинил — «палевый луч луны», точнее не придумаешь. Как он мог это найти?»

Неоднократно вечером он звал меня к себе, подводил к одному из своих окон и улыбаясь говорил: «Поглядите на палевый луч луны», а вместо обычного приветствия каждого гостя встречал Державиным и декламировал: «На темно-голубом эфире / Златая плавала луна...» Гость становился близким другом, если он мог продолжить державинский текст!

*

Как-то во время прогулки Бунин стал подробно рассказывать мне о том, что он ведет дневник и, чуть смутившись, добавил, что невольно делает это с оглядкой на печать. «Ведь это профессиональная деформация», — добавил он улыбнувшись, но одновременно уверял, что ему, вероятно, было бы стыдно, если бы эти дневники он увидел в печати. — «Впрочем, о многом я не мог писать, хотя бы об отношениях с некоторыми женщинами. Ведь об этом нельзя рассказывать. Впрочем, как бы там ни было и что бы с моими дневниками не случилось, полный их текст никогда не увидит света».

А затем он стал говорить об «Исповеди» Руссо, о дневниках — «официальных» и тайных Толстого, уверяя, что высказываться до конца уместно только с целью покаяния. «А вы в состоянии представить меня в роли кающегося грешника?» Потом вспомнил слова блаженного Августина и уже другим голосом произнес — «Господи, пошли мне целомудрие, только не сейчас...»

— Эта фраза, — продолжал Бунин, — меня всегда умиляла, до чего же она прекрасна. Да ведь и я готов молить Бога о «целомудрии», в более глубоком смысле, чем обычно придают этому понятию, только, чтобы оно было мне ниспослано не сейчас, не сразу, а потом, когда-нибудь...

А в другой раз Бунин признавался, что записывать виденное или протокольно отмечать пережитое противно его природе. «Я умею только выдумывать», — утверждал он и вслед за этим перепрыгнул на Мережковских, иронизируя над ними (это всегда доставляло ему большое удовольствие):

— Вот помрет Зинаида Николаевна, и, если тогда еще будет существовать книгопечатание, издадут ее дневники. В них вдоволь будет рассуждений о всяких встречах и беседах — непременно на «серьезные» — темы, притом все будет описываться с ехидством, с подковыркой. Пророчества она любит изрекать «постфактум», да еще серийно. Она сушит затем чернила на свече, чтобы все записи выглядели одинаково, якобы были сделаны в одно время. Ведь почерк у нее знаменитый, за семьдесят лет ни малейшего изменения, никто никогда не разберет, что и когда написано.

*

Я почти дословно переписываю запись, сделанную мной в ноябре 41-го года:

«После долгих разговоров о смерти, теме, к которой он то и дело возвращался с содроганием и отталкиванием, непрестанно о ней думая и начисто отрицая возможность загробной жизни, он поднялся к себе и позвал меня. Всегда гордившийся холеностью своего тела, он теперь был чем-то явно огорчен. «До чего прекрасная была у меня когда-то правая рука, — сказал он, — левая, та никогда не была хороша — и что теперь с ней стало, покрылась гречкой, стала дряблой. Проклятая старость...»

В этот момент я заметил на его письменном столе большой конверт, на котором стояло одно лишь слово «Сжечь». Я невольно улыбнулся, потому что подумал, что он, как водится, хочет сжечь свои черновики и кому-то это дело поручить.

— Вы напрасно улыбаетесь, — промолвил он, — я хочу, чтобы меня после смерти сожгли.

Однако, вскоре под влиянием Веры Николаевны он этот конверт уничтожил.

Александр Васильевич БАХРАХ (1902—1986) *уехал в эмиграцию в 1920 году. Жил в Варшаве, Данциге, Берлине. В Париже слушал лекции на юридическом факультете Сорбонны. Первые литературные публикации относятся к берлинскому периоду жизни — в газете «Дни» была напечатана его рецензия на книгу А. М. Ремизова «Ахру». В дальнейшем, на протяжении более полувека, активно сотрудничал с такими периодическими изданиями Русского Зарубежья, как «Воля России», «Струги», «Числа», «Орион», «Новоселье», «Мосты», «Опыты», «Континент» и т. д. С 1922 года Бахрах — секретарь Клуба писателей, который организовали литераторы, изгнанные из Советской России — Бердяев, Осоргин и другие. Таким образом, Александр Васильевич оказался в центре многих литературных событий Русского Зарубежья. Его знала и жаловала Марина Цветаева, они переписывались. Несколько ее стихотворений (цикл «Час души») посвящены А. Бахраху. Среди знакомых Александра Васильевича были не только деятели эмиграции, но и Пильняк, Бабель, Маяковский, Пастернак, Эренбург...*

УМ-ЭЛЬ-БАНИН

В ПАРИЖЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Константин Симонов встретил нас у входа в театр. Если его жена была образцом тонкости и изысканности, то про него этого сказать было нельзя: высокий, плечистый, он имел простоватый вид, что, впрочем, было обманчивой видимостью. На самом деле он поэт, умеющий видеть и чувствовать, наблюдать и замечать. Бунин подозревал — и это было верхом доброжелательности, — что он выходец из дворян. Его «подозрения» зиждились на каких-то сведениях, которые, наверно, не понравились бы Симонову, а также на интуиции. Своею выправкой этот советский писатель мог соперничать с гвардейским офицером. Но он отличался от этой исчезнувшей когорты лиц небольшим налетом того, что называется «Made in USA», — он прожил некоторое время в Америке, и его прическа, куртка, туфли, галстук — все носило американский отпечаток.

Он был удивительно хорошо воспитан: почтительно улыбнулся Бунину, нежно улыбнулся жене, а передо мной церемонно склонился, однако руку не поцеловал; — сходство с гвардейским офицером так далеко не простиралось.

Зал Дебюсси был набит, как метро в часы пик, но три кресла в первом ряду ждали нас, избранников судьбы. Как и в машине, Бунин сел между нами. Наклонившись ко мне, он спросил: «Признайтесь, что мадам Симонова хороша?» Пришлось признаться.

Теперь, когда я могла рассмотреть ее получше, я обнаружила, что она принадлежит к типу, который я люблю больше всего. Лицо тонкое, волосы белокурые, стройность, мечтательность, мягкость — все это мне нравилось. Эта женщина была хороша в анфас, в профиль, в три четверти, — она вызывала восхищение. Рядом с ней я чувствовала себя почти безобразной: нос у меня длинноват, шея коротковата, глаза сидят слишком близко, губы слишком тонкие и еще куча недостатков, малоинтересных для других, но они меня всегда огорчали, когда я смотрелась в зеркало.

Симонов уселся на эстраде за стол, на нем лежала кипа листочков, показавшаяся мне слишком толстой. Неужели он будет читать все это? Сначала он прочел два рассказа о войне, они показались мне длинноватыми и многословными, хотя, может быть, это и не так, я плохо воспринимаю на слух. Вскоре я уже не различала ничего, кроме глуховатого бормотания, и хотя из приличия я смотрела на Симонова, сама же я в мечтах была далеко, в том мире мыслей, где скучно не бывает. Когда он начал читать стихи, я стала слушать внимательнее. В одном из них он вспоминает, как неожиданно получил отпуск во время войны и попал домой среди ночи

Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком,
К моей шинели пропыленной
Как прижималась ты лицом!

Его жена, казалось, была взволнована, она прикрыла глаза белой, совсем не пролетарской ручкой; я вспомнила, что она уже потеряла мужа-летчика, погибшего во время войны. Кого — думала я — видит она сейчас: ночное посещение этого, или самолет в огне — того? Война и любовь, трассы пуль и падающих звезд, смерть людей

Ум-эль-Банин — азербайджанская писательница, много лет проживающая в эмиграции в Париже; автор повести «Последний поединок Ивана Бунина», несколько страниц из которой мы предлагаем читателям.

и вечное возрождение солнца... Образы сменялись — четверть часа, полчаса, час. Я тихонько чахла от них. Когда возникла пауза между стихами, я шепнула Бунину: «Я по горло сыта стихами». Его лицо просияло, как всегда, когда наши чувства совпадали, и он прошептал мне в ответ: «Я только что хотел вам это сказать».

И тут произошло удивительное: Симонов сложил листочки, положил их на стол и произнес: «Ну вот, я кончил». Как будто он расслышал наше невежливое перешептывание. Мне казалось, что меня поймали на бестактности. Позже, когда мы обсуждали этот эпизод, Бунин меня уверял, что Симонов, наделенный высшей чуткостью, уловил, что мы начали скучать.

Аплодировали ему очень горячо и долго.

— Признайтесь, — кричал мне Бунин на ухо, перекрывая взрывы приветствий, — признайтесь, что мы умеем быть великодушными! Мы, бедные эмигранты, не таим злобы и рады успехам наших бывших врагов. Когда я вспоминаю, с каким увлечением они нас расстреливали когда-то!..

— Тогда как вы — невинные агнцы — худого слова не сказали ни об одном из них! — кричала я ему на ухо в ответ.

— А вы не можете хоть раз согласиться со мной! — уже рычал он мне, потому что аплодисменты возобновились с новой силой.

— Ненавижу несправедливость! — рычала я в ответ.

Однако он был прав: сидящие в зале чествовали Симонова, представителя режима, который унижал их. Они, казалось, забыли прошлое своих семей: они радовались, они поздравляли друг друга, но в глубине души оставались непримиримыми. Лишь ничтожное меньшинство завязало снова какие-то связи с Советским Союзом.

Как и вечер Бунина, этот тоже продолжался в кафе Терн. Только там я увидела Веру Николаевну, которая, оказывается, скромно сидела в заднем ряду. Она дружелюбно помахала мне рукой.

— Как, — обалдело спросила я Бунина, — ваша жена была в зале, а вы мне ничего не сказали? И вы бросили ее, позволили ей самой добираться, а потом сидеть одной в уголке?

Она согласилась на то, от чего отказалась я.

— Она сама потребовала, — рассеянно объяснил мне Бунин.

Она не хотела нас стеснять. К тому же с ней был ее друг.

Нас стеснять? В чем она могла нас стеснить, эта святая женщина? Но не могла же я устраивать Бунину сцену за то, как он обращается со своей законной женой... И я умолкла, не зная, что сказать.

Симонова села около меня. Она рассказывала мне про кинофестиваль в Каннах, где она была кинозвездой. Никогда в жизни она не видела такой противной публики — сплошные нувориши.

— Туда понаехали отовсюду: из Америки, из Англии, англичан было особенно много, они разгуливали с таким высокомерным видом, как будто это они выиграли войну.

Мне показалось, что я ослышалась. Но, нет, я прекрасно расслышала. И я представила себе, как англичане обсуждают фестиваль: «В Канны в этом году лучше было не ездить. Там разгуливали советские с таким видом, будто это они выиграли войну».

Покончив с фестивалем, она перешла к самому для меня интересному: к моей особе. Расспрашивала меня о моем прошлом, о настоящем, о проектах и литературной деятельности; с огорченным видом пожалела о моем безразличии к своей стране, об отсутствии у меня патриотизма.

— Какого патриотизма? — спросила я, — я же совсем не русская.

Она вскипела:

— Но жители Кавказа — грузины, армяне, азербайджанцы — тоже советские граждане. Мы все составляем одно целое, несмотря на наши национальные особенности. Мы все патриоты Советского Союза.

— Я уехала из Союза такой молодой, что прошлое совсем стерлось из моей памяти. К тому же, — прибавила я, мило улыбаясь, — Советский Союз не очень страдает без меня, я полагаю.

— Но знаете ли вы, что утратили вы? Наша страна так прекрасна, она самая красивая в мире. Писатели у нас так счастливы! «Если они ведут себя, как паиньки», — хотелось мне прибавить.

— Их берегут, их уважают; им предоставлены дачи, они могут путешествовать, для них устроен бар в Москве, или клуб, если хотите, каких нигде больше нет. — Словом, все было неслыханно красиво, приятно, огромно в Советском Союзе: университеты, любовь Сталина к народу, забота о детях, искусство и нравственность, наука и литература. Священный огонь горел в ее васильковых глазах, когда она кончила эту тираду рискованным, на мой взгляд, утверждением:

— Все русские — душки.

Она сказала «душки». Она считала, что все русские милые, прелестные люди. Для времен Сталина это звучало, мягко говоря, преувеличением.

Саму Симонову я находила «душкой» и до сих пор вспоминаю ее с удовольствием, хотя она и забыла прислать бухарскую шапку, которую мне обещала, потому что она будто бы «подойдет» к моему восточному типу лица.

Когда его жена, наконец, замолчала, Симонов подхватил разговор. Несмотря на то, что он был поэтом, тему он выбрал прозаическую — расхваливал русскую еду: вина, рыбу, икру...

— Впрочем, Иван Алексеевич, вы сможете судить сами, я заказал для вас кое-какие продукты, их сегодня ночью доставят самолетом, завтра принесут.

— В таком случае, приглашаю вас ужинать завтра вечером, мы вместе оценим советские продукты.

Поговорили еще о том, о сем, о литературе, о поэзии, обо всем — кроме политики. Мы разговаривали, как в доме, где покойник, и все стараются забыть, что труп в соседней комнате.

Близилась ночь, гарсоны начали убирать кафе, вид у них был унылый, и стало стыдно сидеть так поздно: пора было уходить.

— Машина ждет, мы вас подвезем, — сказал Симонов. Оказывается, все происходило, как у собак-капиталистов: пока господа развлекались, несчастный шофер томился в машине. Конечно, его называют «товарищ шофер», но все-таки — хорошо ли это?

Симонов широким жестом заплатил за всех; Бунин парил выше этих мизерных соображений. Он поднялся.

— Пойдемте, Джанум, — сказал он, беря меня под руку.

— Нет, вас и так слишком много. Мне совсем близко, я дойду пешком.

— Мы проводим вас, если позволите, — в один голос сказали два господина, которые до сих пор были статистами и сидели в углу.

Лицо Бунина стало мрачным. Он хотел что-то сказать, но смешался, запнулся, потом произнес тихо: «Идите со мной». Я вырвала руку, которую он так властно держал, и упрямо повторила: «Нет, слышите, — нет...» Хозяйская манера обращения меня взбесила. Теперь мы были взбешены оба.

На улице Вера Николаевна подошла ко мне и сказала доверительно:

— Вы ведь знаете, он такой ревнивый.

«А ну его к черту», — подумала я. Но чтобы не огорчать эту женщину, которая мне нравилась все больше и больше, сказала:

— Ничего, это у него пройдет, он ведь большой ребенок.

Радостным кивком головы она подтвердила мои слова, и ее большие прозрачные глаза выразили нежность:

— Да, да, большой ребенок.

Тем временем большой ребенок подошел к машине, возле которой стояли супруги Симоновы, даже спина его выражала ярость. Роскошный лимузин дядюшки Джо бесшумно удалился.

* * *

Вероятно, Бунин считал мое поведение верхом неблагодарности. Он познакомил меня с Симоновыми, обращался со мной, как с первой дамой, тогда как рядом была другая, несравненно моложе и красивее меня. Все видели и поняли, что он интересуется мною, лучами своей славы он озарил такую серую посредственность... А я пренебрегла им, бросила его, исчезла в ночи с двумя бездельниками — так он называл позже молодых людей, которые взялись меня проводить.

Я ждала письма с упреками, но ничего не получила.

* * *

Дверь мне открыла Вера Николаевна. Волосы ее были еще меньше причесаны, чем обычно, и висели белыми прядями. Она порывисто схватила меня за руки и воскликнула:

— Как я рада принять вас у себя. Знаете, вчера он был сердит, но, думаю, уже все забыл. Он самый незлопамятный человек на свете. — И она прибавила просительно: — Будьте с ним поласковее. Он заслуживает этого.

Заслуживает. Чем же он заслужил? — хотелось мне спросить у этой изумительной жены. Она вызывала мое восхищенье: добротой души, преданностью человеку, который, на мой взгляд, совсем этого не заслуживал, полным отсутствием ревности. Я сравнивала себя с нею и чувствовала, как меня душит стыд за мой мелочный характер, за неспособность прощать другим недостатки и великодушно любить людей. В непреодолимом порыве я воскликнула:

— Вера Николаевна, вы замечательная женщина!

— Ах, что вы такое говорите! — воскликнула она испуганно. — Нет, нет, уверяю вас, я... — Не докончив фразу, волнуясь и торопясь, она повела меня в соседнюю комнату, где мэтр уже сидел в обществе Симоновых и Тэффи. Как всегда прямой, элегантный, одетый с иголочки, в этот вечер он казался только что выстиранным, накрахмаленным, выглаженным, обновленным, — чистеньким ребенком семидесяти шести лет, пахнущим лавандой. Тропическая жара превратила Париж в раскаленную печь, потому что на Бунине была поверх рубашки легкая белая куртка. Все это, как и волосы, сверкало белизной — он был великолепен. И ему, как только что его жене, я сказала с восторгом:

— Иван Алексеевич, вы сегодня прекрасны!

Если он и дулся, то перестал. Окинул меня взглядом пожирателя и сжал мне руку так, что кости захрустели. Потом взял меня под руку и повел к столу, где посадил от себя справа, а Симонову — слева. Тэффи, при всем уважении к ее годам, он посадил на самое скромное место, под тем предлогом, что она — старая приятельница. Она легко простила ему отсутствие почтения и приготовилась наблюдать своим острым взглядом за старым младенцем, чье поведение, как она предвидела, не будет безупречным.

Как известно каждому, воспитанный человек должен ухаживать за обеими соседками. Бунин как будто забыл, что слева от него сидит почетная гостья, к тому же очаровательная женщина, заслуживающая внимания. Он занимался только мною.

— Весь Бунин тут, — говорила мне позже Тэффи. — Главное на свете — его удовольствие. Мы все его раздражали, потому что ему хотелось только одного — остаться с вами наедине. Вот он и наплевал на остальных.

Может быть, она преувеличивала, но не очень.

К счастью, Симоновы были воспитаны лучше, и если даже и подумали что-нибудь, то не показали. Симонова, правда, несколько раз повторила, что ревнует его ко мне, но в шутливом тоне.

Стол был накрыт на русский манер: «Made in Russia». Он ломился от закусок и водки. Колбасы, копченая севрюга, свежая осетрина, анчоусы, селедки, кетовая и паюсная икра, маринованные грибы, пирожки с капустой и с мясом, пышная кулебяка и... Заботливый Симонов заказал даже хлеб и масло, не говоря уж о главном напитке, таком же обязательном на русском столе, как на французской свадьбе — шампанское, то есть о водке. В этот вечер Бунин открыл во мне неведомую ему добродетель: я лакала водку, как хороший гвардеец. За это он простил мне много пороков: западничество, цинизм, злобность и даже неуважение к его писательству.

— Вы молодчина, — сказал он мне почтительно.

Социалистическая водка имела приятный вкус, но была не очень крепкой. Симонов уверял, что в ней сорок градусов, но Бунин — тонкий знаток — проверял ее спичкой.

— При царизме, — гудел он, — водка за минуту опрокидывала полк гусар. Неудивительно, что она выдыхается, раз ее производят стахановцы. Этот Стаханов вредный тип, он появился, чтобы мешать людям мирно жить. Вы заменили опиум религии опиумом труда. Вы что думаете, чем больше люди работают, тем они счастливее?

Он схватил бутылку, долго изучал этикетку, как будто хотел вычитать из нее судьбу русского народа, с укором покачал головой и налил соседям и себе.

Я выпила уже рюмок десять и была в состоянии счастливой эйфории, когда кажется, что посреди ночи светит солнце. И я почувствовала, что влюблена — да, влюблена в этого старого лиса, одетого во все белое, у которого вкус был такой хороший, или, вернее, такой плохой, что он предпочел меня этой красотке слева... В ней все было хорошо, кроме шовинизма. Муж меньше демонстрировал его, она же то и дело твердила «у вас здесь» с презрительной гримасой, и всякий раз это было началом поношения Франции. К моему удивлению, и Бунин и Тэффи, обычно такие суровые в отношении Франции, сейчас защищали ее изо всех сил, по принципу «сам ругаю, а другим не дам». В глубине души они, видимо, любили страну своего изгнания. Или им хотелось показать этим красным миссионерам, что марксистский рай уступает капиталистическому аду? Они настойчиво расхваливали климат свободы и терпимости здешних нравов, которыми мы наслаждаемся. Они всячески старались смутить граждан страны, в которой Сталин упраазлял не только внешней политикой, армией, экономикой, партией, но и литературой, а главное — совестью. Накануне в кафе все были трезвы и сдержанны, теперь водка развязала языки и склонила всех к крайностям.

Когда Симонова заявила, что французские вина не идут в сравнение с советскими, в клане эмигрантов раздался крик протеста.

— Нельзя же серьезно утверждать, что красные вина (Бунин сделал ударение на прилагательном) по качеству превосходят французские!

В поддержку жены выступил Симонов:

— Вы даже не представляете себе, какого прогресса мы достигли в области сельского хозяйства и особенно виноделия.

Бунин толкнул меня под столом коленкой. Его глаза хитро блеснули, он покачал головой и спросил издевательским тоном:

— А что, солнце тоже встало на стахановскую вахту и греет жарче, чем при царизме?

Он окончательно распустился: «Передайте мне этого буржуазного предрассудка», — говорил он, показывая на икру. Или: «Соцколбаса, пожалуй, не хуже капколбасы». Водку он называл «стахановка» и сочинял стишки, где водка рифмовалась с голодовкой, чертовкой и забастовкой. Симонов вежливо улыбался.

Как и накануне, его красотка была одета с парижской элегантностью. Ее выдавали только драгоценности. Не знаю, заслуживали ли они этого названия? Ни одна парижанка таких не надела бы: кольцо с фальшивым бриллиантом или дрянную брошь с имитацией рубинов.

Я редко бывала на столь оживленных обедах: брызжущие остроумием Бунин и Тэффи — оба сверкали словесными фейерверками, вели шуточную перепалку, пикировались колкостями. Подстегнутый водкой и одержимый, как всегда, Бунин превзошел себя. Я не переставала восхищаться им и совершенно влюбилась в него, или это мне только казалось? Во всяком случае я переживала звездные часы, на которые до сих пор гляжу издали, как на вершину среди бледного чередования будней.

Бунин помолодел на двадцать лет, он сиял; все мы испытывали подъем, громко говорили и хохотали. Только хозяйка дома скромно и внимательно обслуживала нас, все замечала или молча ела. Ничто в ней не выдавало желания обратить на себя хоть долю внимания, которым был окружен ее великий муж. Это не было позой; нет, скромность Веры Николаевны тем и была трогательна, что была совершенно естественной. Каждый раз, встре-

чаясь со мной взглядом, она улыбалась и, как бы в знак одобрения, кивала головой. За что она меня одобряла? Думаю, за то, как я вела себя с ее мужем; ей важно было только одно: чтоб он был счастлив.

Еще большую симпатию я испытала к ней, когда она тайком положила мне в сумочку плитку шоколада. Я заметила, но она приложила палец к губам.

Вечер кончился слишком быстро, как все хорошее в жизни. Лимузин дядюшки Джо привез меня домой. Через два дня Симоновы уезжали в Москву, они тепло попрощались со мной. Бунин и Тэффи виделись с ними еще раз (по отдельности).

Перевод с французского Е. **ЗВОРЫКИНОЙ**.

МИХАИЛ КОРСУНСКИЙ

ПЕРВАЯ МУЗА

Моего собеседника в свое время Александр Трифонович Твардовский представил сотрудникам редакции журнала «Новый мир» так:

— Перед вами счастливый человек! Он беседовал с великим Буниным.

Юрий Дмитриевич Шумаков — один из старейших литераторов Эстонии, одинаково свободно владеющий и русским, и эстонским языками. Еще в годы буржуазной Эстонии он выпустил на русском языке четыре сборника стихотворений. Ю. Д. Шумаков перевел с эстонского на русский произведения Густава Суйтса и Марие Ундер, а позднее Юхана Лийва, Иоханнеса Семпера и Владимира Беекмана. С его помощью зазвучали по-эстонски отдельные поэтические шедевры Пушкина, Лермонтова, Языкова, Тютчева, Бунина, проза Достоевского. Был он первым эстонским переводчиком и Тараса Шевченко.

Трудно перечислить всех писателей, с которыми довелось беседовать Юрию Дмитриевичу. Это Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Николай Тихонов, Михаил Шолохов, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Твардовский и многие — многие другие.

В 1985 году Ю. Д. Шумаков опубликовал мемуарный сборник на эстонском языке «Вдохновленный университетским Тарту», в нем он в частности рассказал о встречах с Иваном Буниным.

В 1938 году Юрий Дмитриевич жил и работал журналистом в Тарту.

Весной сюда пришло сообщение: лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин совершит путешествие по Прибалтике.

Началось оно с Каунаса — тогдашней столицы Литвы. Здесь Бунин заявил местным журналистам:

«Я горд, конечно, тем, что, кроме меня, Нобелевскую премию получил из русских один лишь Мечников, да и то не по литературе». После обстоятельного рассказа о торжественной процедуре вручения премии Иван Алексеевич, улыбнувшись, закончил:

«Конечно, и честь, и 200 тысяч крон. Все это, безусловно, хорошо... Но вот в чем несовершенство Нобелевской премии: ее никогда не присуждают вторично...» Мы теперь знаем, что лауреатом Нобелевской премии по литературе потом стали Борис Пастернак, Михаил Шолохов и Иосиф Бродский.

5 мая 1938 года Бунин прибыл в университетский Тарту.

«Стоял теплый весенний день, — вспоминает Юрий Дмитриевич. — Поезд подошел к перрону в 14 часов 30 минут. Бунина встречали писатель Фридеберт Туглас — председатель Эстонского литературного общества, многочисленные студенты, журналисты».

Произведения Бунина цитируются по собранию сочинений в 9 томах. М., Худ. лит., 1967 (страницы в скобках).

Репортеры окружили прославленного писателя, и здесь же на вокзале состоялась пресс-конференция.

Вопросы были самые неожиданные: одного газетчика интересовало, какой голос был у Льва Николаевича Толстого — бас или баритон? Другого — какой головной убор носил Короленко?

Хроникер газеты «Уудислехт» («Новости»), выходившей в Таллинне, пытался выяснить, о чем беседовал Бунин в Крыму с Антоном Павловичем Чеховым.

— О вас! — отрезал поэт.

Газетчик опешил:

— А разве он мог обо мне знать?

— Положим, не совсем о вас, — улыбнулся Бунин. — Чехов говорил о ваших чересчур навязчивых одесских коллегах.

Но репортер не унимался:

— Как вы относитесь к Советской России?

— Россия была, есть и будет! — твердо заявил Иван Алексеевич.

В дни пребывания Бунина в Тарту Ю. Д. Шумакову довелось сопровождать поэта при посещении почтамта, университетской библиотеки. Был Юрий Дмитриевич и на вечерах Бунина в театре «Ванемуйне», и во время бесед с эстонскими литераторами.

10 мая Бунин выехал в Таллинн. Столица Эстонии встретила его проливным дождем, обломным ливнем (применим эпитет поэта). Как это часто бывает у нас, конца-краю этому потоку не предвиделось. От группы многочисленных встречающих отделились два человека и, прикрываясь зонтиками, двинулись к вагону. Остальные ждали Бунина у вокзала.

Запомнилось Юрию Дмитриевичу выступление Бунина в театре «Эстония».

— Мне трудно передать исполнительскую манеру Ивана Алексеевича, — рассказывает Ю. Д. Шумаков. — Поразительно, настолько гармонировало строгое, отточенное слово писателя с его благородной внешностью римского патриция. Спокойные, внушительные ноты красивого голоса писателя передавали выразительную неспешность его повествования. Я до этого много читал Бунина, но только здесь, в этом зале, почувствовал, как выигрывал в исполнении автора «парчовый» язык его рассказов, как умело подчеркивались в его устах пластичность речи, ее изобразительность, каким блеском сверкали самоцветы его метафор и эпитетов. Вспомнился замечательный сонет Игоря Северянина, писавшего, что в стихах Бунина «есть какой-то бодрый, трезвый хмель». Изумительно сказано!

Зачарованный мелодией голоса Бунина, я вначале не смотрел по сторонам. В этом парадно украшенном зале все взоры были устремлены только на сцену. Взглянув направо, я увидал пожилую даму. Она нервно комкала батистовый платок, которым время от времени смахивала набегавшие на глаза слезы. Особо чутко, как мне показалось, она внимала рассказам о любви. Их в тот вечер Бунин читал много и охотно.

Всему приходит конец... Когда Иван Алексеевич звонко бросил в зал: «Чтобы любить и быть любимым, надо быть молодым!», слушатели ответили ему градом аплодисментов.

Я посмотрел на даму справа. Несмотря на преклонный возраст, у нее сохранились яркие небесно-голубые глаза, сейчас полные слез.

Вечер закончился, но многие слушатели устремились за кулисы, чтобы лично и в особину приветствовать лауреата Нобелевской премии.

Первым, помнится, Бунина обнял и троекратно расцеловал известный русский тенор Дмитрий Алексеевич Смирнов, затем подошел сухощавый, уже испытавший славу и забвение Игорь Северянин.

Подходили и многие другие.

Последней неуверенным шагом приближалась небольшого роста полная женщина, которую я приметил в зале.

Уставший Бунин довольно рассеянно слушал расточаемые ему хвалы. В то же время он пристально всматривался в черты моей соседки по залу. Казалось, Иван Алексеевич пытается что-то припомнить...

И вдруг, отстранив властным движением рвавшихся к нему репортеров, Иван Алексеевич тихо вымолвил: «Эмилия? Ты?!»

Кольцо почитателей невольно распалось, многие ретировались. Мы, оставшиеся, поняли, что происходит что-то очень значительное.

Так как Бунин до встречи с этой дамой просил меня сопровождать его, то я оказался невольным свидетелем свидания, которое произошло спустя пятьдесят три года после предыдущего.

Около часа продолжалась оживленная беседа маститого писателя с никому из нас неведомой дамой. То и дело произносились имена родных и близких Бунина, вспоминались давно минувшие времена, Елецкий край.

На прощанье женщина поцеловала Ивану Алексеевичу руку.

Свидетель этой встречи Юрий Дмитриевич Шумаков достает тома полного собрания сочинений Бунина и говорит:

— Хотя Иван Алексеевич писал в завещании:

«Умоляю разных литературных гробокопателей не искать и не печатать моих стихов и рассказов, рассеянных по разным газетам и журналам», все же обратимся к его творчеству и расскажем о первой музе поэта — Эмилии Васильевне Фехнер.

Она была на год моложе Ивана Бунина. В то время ей было шестнадцать лет, ему — семнадцать, не намного больше, чем Джульетте и Ромео.

Встретились они в имении Васильевском под Ельцом. Уроженка Таллинна Эмилия Васильевна Фехнер служила гувернанткой в семье винокура Туббе, на дочери которого был женат брат Ивана Алексеевича — Евгении.

О своей первой любви Бунин довольно подробно рассказывал в «Жизни Арсеньева». Эмилия — прототип «Анхен из Ревеля».

«Удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздо вечером с Анхен, сладко измученный бесконечным прощанием с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увести Анхен куда-нибудь на прогулку...

В полдень я возвращался домой к обеду, после обеда все перечитывал «Фауста» — и ждал вечерней встречи...

По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхен садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук ее сердца, впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела... Она наконец уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхен, плакал я!» — Так писал И. А. Бунин в «Жизни Арсеньева» (т. 6, с. 115—116).

По крайней мере 7—8 стихотворений поэта, написанных с 1886 по 1923 годы, вдохновлены Эмилией Фехнер.

Самое первое можно найти в юношеском дневнике Бунина:

Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит. (т. 9, с. 341)

Юрий Дмитриевич с чувством читает стихотворение «1885 год», написанное в Париже в 1923 году:

И первый стих и первая любовь
Пришли ко мне с могилой и весной.
Где этот взор, сиявший небом мне,
Где та весна и гробные рыданья?
Один погост в далекой стороне,
Один призывный сон воспоминанья! (т. 8, с. 18).

Этот призывный сон воспоминаний долго жил в душе поэта. Уже весной 1886 года Фехнер вынуждена была покинуть Орловскую губернию, чтобы ухаживать в Таллинне за престарелым родственником.

Расставание с Буниным было тяжелым, оба были грустны и подавлены.

О женщине, оставившей глубокий след в его душе, Бунин помнил до последних лет своей жизни.

Потом В. М. Муромцева — жена поэта — расскажет: «Вспомнил он Эмилию и их неожиданную встречу (в Таллинне — М. К.) незадолго до смерти» (Мур. «Жизнь Бунина», с. 42).

Спрашиваю Ю. Д. Шумакова — поддерживал ли он контакты с Буниным после его отъезда из Таллинна?

— И. А. Бунин подарил мне сборник своих стихотворений, том своих рассказов, а в письме из Парижа сообщил, что под влиянием пережитого в Эстонии задумал написать рассказ о первой любви.

— Осуществил ли Бунин свой замысел?

— Да, это его знаменитое произведение «Темные аллеи», заглавное в последнем сборнике его рассказов. Правда, герои Николай Алексеевич и Надежда встретились немного не так, как Иван Алексеевич с Эмилией — не через пятьдесят три, а только через тридцать лет. Это другие люди, перенесенные в иную обстановку.

Ю. Д. Шумаков открывает том и читает:

«Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел: — Надежда? Ты? — сказал он торопливо. — Я, Николай Алексеевич.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее» (т. 7, с. 11).

— А где книги и письма Бунина, посланные вам? — спрашиваю Юрия Дмитриевича.

— Увы, все унесла война... Когда я вернулся в Таллинн после эвакуации и далеко не пионерских сталинских лагерей, моя квартира оказалась разграбленной, библиотека исчезла. Правда, некоторые мои книги неожиданно выплывают в собраниях различных библиофилов. Например, том, подаренный мне Игорем Северяниным, оказался в собрании Ленинградского коллекционера Лесмана.

Вместе с Ю. Д. Шумаковым мы идем в Кадриорг — знаменитый таллинский парк. На дорожках следы пешеходов, кормящих огненнорыжих белок. Парк реконструирован, здесь почти уже не осталось дубов, посаженных Петром I.

Мы подходим к скамейке у Екатерининского дворца — теперь в нем размещается музей.

Здесь в 1938 году сидел Юрий Дмитриевич с Эмилией Васильевной.

— Она мне поведала, — вспоминает Шумаков, — что она на протяжении многих лет жадно ловила каждую весточку о Бунине. А он стал общепризнанным писателем, академиком, лауреатом Пушкинской премии. А потом — известие о присуждении ему Нобелевской премии. Эмилия Васильевна достала тогда из сумочки старые пожелтевшие фотографии юноши Бунина, его письма и записочки, альбомчик со стихотворениями влюбленного поэта. Все это она бережно хранила.

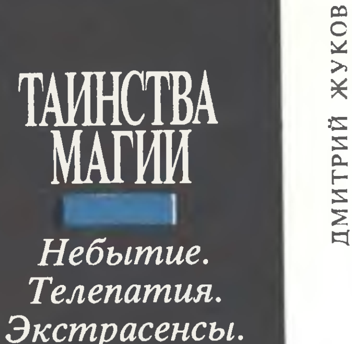
Эмилия Васильевна Фехнер рассказала тогда Ю. Д. Шумакову:

«По душе мне была и гордая натура Бунина, и его светлая вера в себя, и тщательно скрываемая бедность. В одержимости Бунина поэзией чудилось мне нечто напоминающее Шиллера. Меня пугал, однако, крутой и ревнивый нрав Ивана Алексеевича, вспышки безудержного гнева. Поэт исступленно ревновал меня к Федорову, увальню, который мне не нравился».

— Как сложилась дальше жизнь Э. В. Фехнер? — спрашиваю Шумакова.

— Откровенно говоря, не знаю. Помнится, что она говорила: «Бунин был моей первой и последней любовью». Многие сватались к ней, но она всем отказывала.

— Вскоре я уехал, — продолжал Шумаков, — по приглашению ВОКС в Советский Союз. А затем начались исторические годы в Прибалтике. Здесь была восстановлена Советская власть. Это был сложный, переломный период. Когда я после Великой Отечественной войны хотел разыскать Эмилию Васильевну, все мои попытки окончились неудачей. Даже специальное обращение в вечернюю таллиннскую газету результатов не дало. Но я навсегда запомнил эту изумительную женщину с ярко голубыми глазами — первую музу поэта.





ДМИТРИЙ ЖУКОВ

ВСТРЕЧИ С ЯСНОВИДЦАМИ

главы из повести

ГЮРДЖИЕВ И ДРУГИЕ

Василий Витальевич не раз рассказывал мне не только об Анжелине, но и о человеке по фамилии Гюрджиев (теперь пишут — Гурджиев).

Теперь уже не составляет труда вернуться в Константинополь 1924 года, а может быть, и 1920-го, до поездки Шульгина в Галлиполи, поскольку многие подробности мы уже знаем. Впрочем, он мог и запамятовать, когда это точно было, потому что события и рассказ о них разделяли сорок пять лет.

На одной из стамбульских улиц В. В. столкнулся со старым знакомцем, еще недавно плотным, но подтянутым сорокалетним офицером, а теперь чернобородым, худым, похожим на индийского йога.

Про себя В. В. назвал его «факиром».

Оказалось, что тот и в самом деле голодает уже... одиннадцатый день. В. В. не поверил ему. Еще где-то у Жюля Верна он вычитал, что человек столько времени без пищи не живет.

— Да, — сказал «факир», — если он не знает правил голодания.

Сейчас это все уже далеко не новость, но тогда Шульгин был поражен. К тому же, его знакомый бросил курить и пить...

Сострадательный В. В. осведомился, уж не потому ли «факир» голодает, что денег нет. Денег и в самом деле не было, как и у большинства русских в Стамбуле. Но причина была другая. Диалог с «факиром» звучал в устах В. В. так:

— Как же это называется?

— Это? Это называется «Гармоническое развитие человека». Но...

— Что?

— Это нечто... Впрочем, сами увидите. Где вы живете?

— Пока нигде. Только что приехал.

— Откуда?

— Из Румынии, Болгарии... это потом.

— Где ваши вещи?

В. В. ответил гордо:

— У порядочного человека вещей нет.

Как мы помним, из имущества у В. В. был только носовой платок. У «факира» оказалась в комнате свободная койка, и он предложил ее В. В.

Тут к ним подошел еще один русский, тоже тощий. И тоже занимавшийся «гармоническим развитием». Он сказал «факиру»:

— Я выполнил задание наконец. С ужасом думаю, что он для меня еще придумает.

Когда русский ушел, «факир» пояснил:

— Этот господин четыре года был в Японии.

— Зачем?

— С целью гармонического развития изучал японские танцы.

В. В. ничего не понял, но на всякий случай кивнул.

— Танцы способствуют гармонии...

— Вы думаете об обыкновенных танцах?

— А есть необыкновенные?

— Есть. Обыкновенные танцы ритмичны. Это закон для всех танцев — европейских и неевропейских. А вот у некоторых африканских племен танцы синкопичны. Что такое синкопа? Это рефлекс. Это движение, вызванное сильной страстью, это неожиданный ответный удар. Синкопа аритмична, противотактна. Это восстание против гармонии. Это начала танцев необыкновенных...

— И по-вашему, необыкновенные, негармоничные танцы способствуют гармоническому развитию человека?

— Вот именно!

— Ничего не понимаю.

— Верно. «Гармоническое развитие человека» подразумевает совершенно другое.

— А что именно?

— Речь идет о соотношении душевных качеств человека. В среднем человеке наших дней нет гармонического сочетания. Отстает воля! Мы безвольны. Ведь правда?

— Правда.

— Значит, надо укрепить волю. Но как?

— Негритянскими танцами?

— Не смейтесь! Синкопа — рефлекс. Тут нет воли. Но есть дисгармонические упражнения, которые развивают волю.

— Например...

— Когда вы были в гимназии, наверное, товарищи предлагали вам: сядь за стол, пиши на бумаге букву Д прописную, а под столом ногой сделай круг...

— Было такое.

— Удавалось?

— С превеликим трудом. И вы этим занимаетесь в «гармоническом развитии».

— В этом роде. Танцуем дисгармонические танцы, совершая одновременно несколько противоречивых движений. Мы насилуем свое тело. Оно, естественно, противится этому. И чтобы одолеть это сопротивление, нужна воля. Так?

— Так.

— И какая воля! Мы стремимся достичь предела — одиннадцати противоречивых движений одновременно.

— Как это одиннадцати? Руки, ноги и голова — это пять...

— А плечи, а бедра, спина, живот? Все участвует в танце.

— И вы это можете?

— Куда мне! На это требуется время. Но воля растет.

И тут Шульгин задумался и привел в пример немцев, которые развили свою волю, но проиграли и будут проигрывать, потому что воля, тренированная односторонне, ради силы, «бронированного кулака», ослабляет напряжение ума. Это пример негармонического развития человека, особенно если делается ставка на войну, которая, говоря словами Талейрана, в XX веке «больше, чем преступление, это ошибка».

— Но воля нужна всюду, — возразил собеседник.

— Нужна. Шахматист, музыкант-виртуоз, акробат... чудовищно развивает свою волю. Но вспомним Козьму Пруткова: «Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя». Ваши танцы...

— Почему только танцы?

— А что же еще?

— Мы голодаем! И останемся живы там, где другие погибнут. Вам надо познакомиться с «гармоническим развитием» поближе. Впрочем, у вас сильная воля.

— Нет. Я охотно подчиняюсь тому, за кем... правда.

— Какая может быть правда, когда все рухнуло?

— А что тогда вы ищете в «гармоническом развитии»? Кто во главе? Это о нем говорил ваш знакомый?

— Да. Но фамилия вам ничего не скажет. Некто Гюрджиев.

— Какой он национальности?

— Неизвестно.

— На каком языке говорит?

— На всех.

— Возраст?

— На вид, лет сорок. Но, говорят, ему двести.

— Чудеса в решете.

— Чудеса. Он читает письма, не распечатывая конвертов.

— Ясновидец?

— По-видимому.

— На какие средства он живет?

— Его ученики ему платят.

— Значит, у него школа?

— В древнем смысле. Как у греческих философов.

— И вы платите?

— Нет. Он берет только с платежеспособных.

— Значит, познакомиться с ним я могу бесплатно...

Далее пусть рассказывает сам В. В.

«Помещение «Гармонического развития человека» было обещающее. Ярко освещенный зал с колоннами. Паркеты сияли. Они переходили в невысокую эстраду. Рояль чернел в углу у белых колонн. На этой эстраде, на обыкновенном венском стуле, заломив ногу за ногу, сидел человек в черном пиджаке. Больше никого не было.

— Гюрджиев, — шепнул мне мой «факир».

И он стал подводить меня к руководителю «Гармонического развития человека» с такими манерами, как будто приближались к коронованному лицу. Меня это сначала рассмешило. Венский стул мало походил на трон. Через короткое время мои чувства изменились.

Человек, сидевший на низенькой эстраде, соблюдая неподвижность, не делал никаких движений: ни гармонических, ни противоречивых. Но он пристально смотрел на нас, подходящих к нему, собственно на меня, так как моего спутника-«факира» он уже знал. Я увидел его глаза. Они незабываемы. Горящие глаза... Как у богатых караимов, державших в Киеве табачные лавочки.

* * *

Он смотрел на меня в упор своими горящими глазами. И вдруг, когда мы были в трех шагах от него, или в четырех, если считать еще один шаг на эстраде, вдруг со мной ни с того, ни с сего произошло нечто неожиданное и даже невероятное. Легкая внутренняя насмешка, вызванная низкопоклонством моего «факира», вдруг неожиданно и без остатка превратилась в ярость.

Злость стремительно поднялась в моей душе. Она взбежала так, как взбегает вскипевшее молоко у невнимательной хозяйки.

* * *

Причина моей ярости?

Причина, как я теперь понимаю, были эти глаза, повелительно наглые, глаза восточного деспота. Вообще говоря, я — за диктатуру. Но диктатор, которому я готов подчиниться, должен иметь очи человеческие. Властные, но добрые. Тигра и удава не приемлю.

Но тогда мое внутреннее бешенство конкретизировалось на мелочной мысли, порожденной уязвленной гордостью. «Если ты, человек на венском стуле, воображаешь, что протянешь мне руку сидя, то ты ошибаешься. Встанешь!»

И он встал. И мы поздоровались. Но он не сказал ни слова: и глаза сохранили свое зловещее выражение.

Впрочем, время для разговоров прошло. К роялю подошел некто и заиграл.

Музыка была простая, но не пошлая. Какой-то неуловимой особенностью она отличалась от банальности. Мы отошли с моим «факиром» в сторону.

Я спросил:

— Что это за музыка? Кто ее сочинил?

Мой друг указал глазами на Гюрджиева.

— Так он и композитор?

— Он? Он может все.

И прибавил:

— Гармоническое развитие человека.

— Почему же у него глаза нечеловеческие?

— Потому что он — сверхчеловек!

* * *

Одновременно с музыкой из-за колонн показались люди.

Они выходили на блестящий паркет и выстраивались против Гюрджиева, который остался на своем стуле. Они заняли свои места примерно в шахматном порядке. По какому-то знаку пришли в движение. «Факир» сказал мне:

— Одиннадцать противоречивых... Следите за дамой, что в переднем ряду посередине. Она лучше всех.

— Балерина?

— Нет. Она жена того, что у рояля. Он вас знает. Он служил в Государственной Думе. Петербургская дама...

Молодая женщина, тонко сложенная. Это было видно.

Окончание. Начало в № 6, 1990

лучше сказать, чувствовалось, несмотря на некую серую хламиду, что была на ней.

Лицо? Вероятно, было красиво красотой петербургской. Сейчас оно излучало какую-то иную красоту.

У меня была когда-то машинистка. Ее некоторые товарищи по канцелярии называли «Пулемет». Действительно, под ее пальцами пишущая машинка рокотала. Это была трель, в которой уже не слышно было отдельных ударов, просто слитная струя звука.

Я в те годы диктовал очень быстро. Моя машинистка старалась заменить мне стенографистку. Это ей удавалось, но стоило великого напряжения. На ее губах появлялось некое подобие улыбки. В этой загадочной усмешке я читал, диктуя ей, некую смесь блаженства и страдания. Блаженство было потому, что она в эти мгновения достигала недостижимого: страдание — от сверхсильного напряжения. Эту, знакомую уже мне, тень улыбки я увидел на устах петербурженки, танцевавшей пляску одиннадцати противоречивых движений перед лицом восточного владыки. Мой факир спросил:

— Ну, как?

Я ответил:

— После скажу.

Когда этот сладко-мучительный танец кончился, я нашел подходящие слова.

— Это... пляшущая нестеровщина!

Нестеров во Владимирском соборе в Киеве, в других своих картинах, например, «Святая Русь», «Великий пост», изображает смесь блаженства и страдания. Но его счастливые мученицы неподвижны. У Гюрджиева они заплясали.

* * *

После танцев последовало то, что в солдатском быту называлось:

— Выходи на словесность!

В античности, в перерывах между гимнастическими упражнениями, которые были главным предметом тогдашних «гимнасий», преподавались науки и философия, тогдашняя «словесность».

Нас пригласили на хоры... Подошел музыкант, что играл на рояле. Он сказал мне:

— Вы меня не помните, но я вас хорошо знаю. Жена очень хочет с вами познакомиться. Не здесь. Заходите к нам.

Мы условились. И затем, взойдя на хоры, вошли в небольшую комнату. Она была ярко освещена лампой, без абажура. Гюрджиев сидел на кушетке. Около него стоял столик с чайным прибором. Пол был устлан большим ковром. На ковре на подушках и без подушек сидели у ног своего учителя ученики, т. е. те, что перед этим танцевали пляску одиннадцати движений. У самого столика примостилась совсем молодая девушка с золотыми волосами. Она взирала на Гюрджиева обожающими глазами. Петербурженки я не увидел, но и она, конечно, была тут где-нибудь, затерявшись между другими дамами на ковре.

Для нас, гостей, ввиду нашего более солидного возраста поставили несколько стульев там, где кончался ковер.

Кроме моего факира и меня, на этих стульях поместились еще несколько лиц постарше. Из них я запомнил пожилого казачьего генерала и старичка в сюртуке, бывшего «деятеля», земца, кажется. Все были русские эмигранты. Я знал уже от «факира», что в их константинопольской группе «гармонического развития» насчитывается около сорока человек, из которых только трое иностранцев.

* * *

Гюрджиев мешал ложечкой сахар в стакане чая. Было очень тихо. Несколько десятков русских глаз приковались к этой ложечке, что двигалась рукой восточного человека. Покончив с этим занятием, он обвел глазами аудиторию. Глаза были красивы, повелительны и горели, как два черных бриллианта.

Наконец он приказал:

— Задавайте вопросы.

Прошло несколько мгновений. Было тихо. Вопросов не последовало.

Гюрджиев сказал:

— Вопросов нет. Всё знаете?

Насмешка прозвучала обидно, но вызвала блаженную улыбку на устах золотистой девушки. Остальные как-то съежились. Восточный человек продолжал. Он говорил по-русски с сильным акцентом, выдававшим его ориентальное происхождение, но свободно и грамматически правильно.

— Почему молчите? Любой вопрос задавайте. Знание одно. Откуда ни начнем, к истине придем.

Молчание.

Мне стало как-то неудобно. Что же это такое? Если молодежь работает, стесняется, их дело! Но «учитель» у нас спрашивает, у стариков. Мы-то почему застыли?..

Резкая лампочка, которая светила мне прямо в глаза, вызвала мигрень. И потому, надеясь подвести разговор к тому, чтобы лампочку прикрыли, я сказал:

— У меня есть вопрос.

— Пожалуйста.

Я начал издалека.

— Здесь, мне кажется, все русские эмигранты. Это что значит? Это значит, что мы все — и на ковре, и на стульях — одного поля ягоды. Эмигранты — это люди, которые прошли через тяжкие испытания и их вынесли. Из этого следует, что в нас, во всех, есть какие-то душевные силы. В этом смысле и я не составляю исключения. Я много перенес. Бои, походы, болезни, лишения — пустяки, но потеря близких, всего, что человек любил, в том числе и родных, это нечто. Со всем этим я справился. И сижу вот здесь, на этом стуле, перед вами. Но с чем же я справиться не могу? Сущий пустяк! Вот эта лампочка режет мне глаза, причиняет головную боль, и вот с этой пустяшной болью я справиться не могу. Как это совместить? Как это понять? Вот в чем мой вопрос.

Мой вопрос не привел к желаемому — на лампочку не надели абажура. Но зато Гюрджиев обрадовался. В его неизменно мрачных глазах появилось иное выражение.

— Вот это вопрос! Хороший вопрос. Отвечаю. Вот почему. Так устроен человек. Где большая боль, великие страдания, там в нем, в человеке самом, лекарство есть. Оно и лечит, само по себе, не по воле человека. А где великого нет страдания, где малое оно, как вот эта боль от лампочки, там лекарство внутреннее молчит, не желает оно, великое, с малым возиться. Малую боль должен человек перебороть своей волей, собственнои. Таков Закон!

Он остановился на мгновение и продолжал так:

— Для этого-то и нужна воля. А воли нет! И поэтому голова болит от лампочки! Хороший вопрос. Знание одно. С чего ни начнем, к истине придем.

Он отхлебнул чаю и продолжал:

— Что такое есть человек? В нем, человеке, трое. Лошадь, извозчик и седок. Что такое лошадь, конь? Конь — это животное, зверь, страсть. Страсть ведет! Куда, зачем? Горячий конь не знает, не хочет знать. Ему лишь бы бежать! Он — страсть и больше ничего. Но извозчик уже больше знает. У него уже есть разум и воля. Он коня сдерживает, он конем правит. Но куда? Это ему скажет седок. Седок знает, куда ехать. У него разума больше и воля сильнее. Извозчик правит конем, а ездок извозчиком. И это все человек. Что из этого ясно? Ясно, что ездоком надо стать. А как стать ездоком? Волю надо укреплять. А как волю укреплять? Учителя надо найти. И дальше что? Учиться надо, слушаться. Верить ему, повиноваться.

Тут он замолчал и посмотрел на золотистую девушку. И продолжал:

— Вот, например, она...

Он указал на нее, но не указательным пальцем, что было бы невежливо само по себе. Он указал большим пальцем, для большего презрения еще и отвернувшись от нее.

И это было отвратительно.

— Вот, например, она... Что тут на столике? Чай? Чаи. Скажу — кофе, будет думать — кофе!

* * *

В это мгновенье я понял его до конца. Его сущность. И его метод. Перед нами, жалкими русскими овцами, жаждущими пастыря, сидел азиат, восточный деспот, набиравший себе рабов. Золотоволосую он сделал своей рабыней до конца. Но и других ждала та же участь. Мне это было ясно. Иначе он не посмел бы так обнажать себя. Он опасался бы восстания этих людей, своих учеников, если бы в них еще тлела искра гордости.

Прервем на немного В. В., потому что у меня мелькнуло в голове воспоминание то ли о прочитанном, то ли об услышанном. Кажется, Гюрджиев учился в одной семинарии со Сталиным. Акцент, речь, манера говорить, повадки... Похоже, но надо бы разузнать поподробнее о нем. Кажется, в начале двадцатых годов Гюрджиев был в Германии, на каком-то оккультном съезде, что-то говорил о Гитлере...

Шульгин продолжал:

«Я понял и перестал его слушать. Может быть, он еще что-то добавил, но я не помню.

Некоторое время я еще забавлялся его горящими глазами, неотразимыми для золотоволосых. И издевался мысленно над его ориентальным акцентом «халды-балды дюша мои?!». И презирал его за то, что он переложил ногу на ногу, а белая тесемка от кальсон висела из-под слишком коротких брюк. И мысленно защищал его от самого себя: «Это бывает со стариками, а ведь ему, бедняге, двести лет!»

И эта сожалительность была с моей стороны глупее всего.

Разумеется, этот Гюрджиев, покоряющий своей воле безвольных русских, — ничтожество. Таким путем он ищет покорить мир. Но он велик в сравнении со мной. Я ведь не только не хочу править миром, я желаю, чтоб мир оставил меня в покое».

С этого собрания Шульгин шел с «факиром», говорил не о развитии, а об утрате воли учениками Гюрджиева, о рабстве их. Но для какого зла он их готовит?

Через несколько дней Шульгин пошел к «примадонне», за которой следил во время танца. Муж ее сильно болел и лежал за ширмой. Но она была уверена, что Гюрджиев его вылечит. Она познакомилась с Гюрджиевым еще в Петербурге. И он сказал, что ее любимый муж вернется с фронта цел и невредим. Так и было. Они вместе с мужем поступили в «Институт гармонического развития», а тут февральская революция, все рухнуло, переехали в Константинополь с Гюрджиевым и ходят за ним, как ученики за Христом...

Шульгина передернуло.

Она горячо доказывала, что Гюрджиев творит чудеса, что он говорит умно, интересно...

А Шульгин с отвращением вспоминал большой палец, указующий на золотоволосую. «Чай. Скажу — кофе, будет думать — кофе». Преступник, готовящий себе рабов. И как вот эта красивая утонченная петербурженка, со сладкой мукой на лице исполнявшая «одиннадцать противоречивых», не видит наглых глаз и нахального тона Гюрджиева?

Но она уверяла, что тот делал это нарочно, чтобы показаться Шульгину отвратительным, поскольку Гюрджиеву не нужен ученик, для которого внешность дороже сущности. А обычно он обаятелен.

И тогда Шульгин задал жестокий вопрос:

— Только потому ли вы идете за ним, что дрожите за жизнь любимого мужа?

Она долго молчала, а Шульгин смотрел на ее страдальческую полуулыбку и думал о том, как дрожала императрица Александра за жизнь сына, болевшего гемофилией, как верила, что его спасет Распутин...

И услышал ответ:

— Нет, не только потому. А еще и потому, что надо иметь цель в жизни. Любить мужа — это счастье и страдание, но не цель. В любви нет движения... Есть вопрос: зачем мы живем вообще? Какая цель мира?

— И Гюрджиев открыл вам эту тайну?

— Нет. Нет еще. Но каждый день я взбираюсь на новую ступень лестницы, узнаю больше.

И вот, что думал и говорил Шульгин.

Да, это лестница, но куда она ведет? Библейский патриарх Иаков видел лестницу. По ней можно было подняться — к Богу и спуститься к Сатане.

В. В. жил у «факира», который предложил пойти в театр на «публичное выступление адептов «гармонического развития». Он пошел.

В первом отделении были танцы разных народов. «Довольно красиво для глаза и сносно для уха. Было прилично, немного скучно.»

Во втором отделении танцевали «одиннадцать противоречивых движений». Но теперь не все начинали разом, а этапами, вступая по очереди через несколько тактов. Каждый делал одно из одиннадцати противоречивых движений, противореча не только себе, но и всем остальным телам. Танцующие двигались как сомнамбулы. Вся эта головоломка одурманивала зрителей. И в самый разгар гипнотического хаоса из-за кулис послышался крик:

— Стоп!!!

Люди остановились в тех позах, в которых их застал мучительный танец. Застыли точно каменные изваяния. Зрители сразу увидели, сколь противоречивы движения танцоров. Одни были на двух ногах, другие — на одной. Некоторые оказались в самых неустойчивых положениях... Но сила тяготения взяла свое. Люди-изваяния, стоявшие в противоестественных позах, стали падать один за другим.

Зловеще раздавались глухие удары падающих тел об пол. Занавес опустился медленно, как опускается страшная угроза человечеству, и Шульгин нагнулся было к соседу — «факиру», чтобы сказать:

— Видели? Слышали? Поняли? Рабы, гибнущие не только без протеста, но даже без стона!

Но «факир» исчез...

Вернемся к рассказу Шульгина.

«Третье отделение состояло из восточных танцев, еще более изуверских, и оканчивалось номером под заглавием «Поклонение Диаволу».

На середине сцены стоял трон. На троне сидел один из учеников института «Гармонического развития человека» в короне. Это и был Диавол.

Поклонение ему совершалось так. По очереди, из правой кулисы выходили последователи Гюрджиева. Они медленно приближались к трону. При этом они как бы подносили коронованному духу Зла некие символические дары. Какие? Опять танцевали? Нет, это уже нельзя было назвать танцами. Дары Диаволу были нервные болезни, которые эти ученики изображали. Первый из поклонявшихся поднес болезнь, именуемую «Пляской святого Витта». Я ее узнал, потому что когда-то мне приходилось вплотную наблюдать это нервическое дергание.

Он делал шаг и останавливался. Руки его начинали трястись. Дальше, больше. И наконец скрюченными пальцами он бил себя по телу, по груди, по ребрам. «Отплясав», он делал следующий шаг. Видно было, как ему трудно. Чем ближе к Диаволу, тем мука хуже. Однако он все же двигался, несчастный. Пройдя трон, он исчез в левой кулисе.

За ним шли другие поклонявшиеся. Они изображали судороги и корчи, которых нельзя передать словами, но смотреть было жутко.

Последним в ряду дьяволопоклонников оказался... Кто? Да, это был он — мой бедный «факир»!

Он подходил к трону до такой степени согбенный, что был почти как на четвереньках. Ужас! Своими ужимками он напоминал мне собаку, которая сошла с ума. Не сбесилась, а помешалась в рассудке. Это бывает с собаками от непереносимого горя. Я сам видел это однажды. Я заглянул через решетку в собачий застенок. Их поймали арканом на улицах города и засадили в эту клетку. Там их держали некоторое время. Если никто не приходил выкупить собаку, ее убивали. И вот в этом застенке они теряли рассудок. Все они были сумасшедшие и смотрели на меня безумными глазами.

В этом я убедился, когда увидел собственного пса. Это был он и не он. Он не узнавал меня, и я сам на мгновенье усомнился, он ли это, потому что у него были не его глаза. Но я понял, что бедный пес просто обезумел, и сказал человеку (если можно считать человеком собачьего палача), что это он. Тогда гицель (так их называют) вытащил узника из застенка. Сказал:

— Держите его, он сумасшедший, в лес убежит!

Но я назвал пса по имени и погладил его по голове. И увидел, что разум возвращается в его безумные, отсутствующие глаза. И если я в этом сомневался, то он дал своим поведением явственное доказательство своего выздоровления. Он бросился не в лес. Он яростно кинулся на своего обидчика, на гицеля, засадившего его в эту ужасную тюрьму. И он вцепился бы ему в горло, если бы я не оттащил его за ошейник. Когда это ему не удалось, он бросился мне на шею с таким раздирающим воплем радости, что лес, стоявший вокруг, содрогнулся. Так может кричать только верный пес, у которого отняли его сокровище, хозяина, когда он снова его обрел.

Мой дорогой факир тоже потерял хозяина, т. е. Правду.

Я вспомнил, как он сказал:

— Где она, Правда, когда все рухнуло?!

Но затем вот что случилось. Ему показалось, что он нашел хозяина в лице восточного учителя. Но ведь в институте «Гармонического развития человека» учили поклоняться Диаволу. Когда мой бедный друг это понял, он временно помешался, как те собаки. У него и была честная собачья душа, он не мог жить без своего сокровища, без учителя. И вот он по-собачьи подходит к своему лжепокровителю — коронованному дьяволу на троне. Но когда он подобрался к нему вплотную, что он сделал? Он оскалил белые зубы и три раза схватил ими воздух; как бы хотел укусить дьявола за ногу. Но не укусил, а проковылял мимо трона в левую кулису.»

* * *

И на этом кончилось. Занавес упал, публика стала уходить. Я остался на своем месте, зная, что мой бедный «факир» будет меня искать. И он пришел. Я сказал.

— Ну, что ж, убедились?

— В чем?

— Пахнет серой от вашего «гармонического развития»!

— Вы думаете, они сатанисты?

— А вы?

— Думаю, что это так. Но зачем они раскрывают карты?

— Не понимаю. Впрочем...

— Что?

— Они могут повернуть дело и так. Дьявол пользуется безвольными. Он награждает их нервными болезнями. Сумасшедшие и полупомешанные поклоняются дьяволу, сами того не зная. Христос исцелял их, изгоняя бесов, как говорит Евангелие.

К моему удивлению он, «факир», весело улыбнулся.

— Я перестал верить Гюрджиеву, Василий Витальевич! Но я глубоко завяз. Вытащите меня из ямы.

Я почувствовал прилив той самой силы, которая забурлила во мне, когда я в первый раз встретился с главой «гармонического развития». И я ответил не в меру серьезно:

— Я вас вытащу.

* * *

Если бы я хотел прихвастнуть, я утверждал бы, что я его вытащил. На самом деле он сам себя вытащил, т. е. уехал из Константинополя, порвав с «Гармоническим развитием человека». Быть может, я только немного ему помог следующими рассуждениями.

— Не жалейте об этой авантюре, разведчик!

— Разведчик?

— Конечно. Вы сделали глубокую и опасную разведку в тылу врага. Это было не только полезно, но и необходимо. Вы сами не понимаете, что делаете, поэтому все и удалось.

— Вы так думаете?

— Да. Но скажу вам больше. Очень редко искатели правды сразу находят верную дорогу. Это ничего. Важно вовремя понять. И, поняв, вернуться вспять, снова начать поиски, выходя из исходной точки.

* * *

Что такое исходная точка? Об этом мы тогда не говорили... Преждевременно говорить и сейчас. Однако скажу мимоходом.

Надо любить всякую тварь, но любя, бороться со зверством, во всякой твари находящимся. И прежде всего со своим собственным зверством».

О Гюрджиеве (вернее, о его школе) теперь написано много апологетических книг, но не на русском языке и, в основном, его учениками. Переиздаются в зарубежье и его собственные, надо сказать, туманные труды, полные расхожих афоризмов и намеков на тайное знание природы и человека. Но биография его излагается в них тоже весьма туманно. Факты ее предположительны...

Начать с того, что Гюрджиев — вовсе не Гюрджиев. Отец его — грек Иоанн Георгиадес — плотник и, по некоторым сведениям, исполнитель песен собственного сочинения. Мать — армянка. Родился он в Александрополе (ныне Ленинакан) 28 декабря 1878 года, однако у него было много паспортов, и в одном из них стоит 1866 год. В официальном издании Библиотеки Конгресса США указано: «Гурджиев, Жорж Иванович (1872—1949)». Он — что-то вроде Калиостро или Сен-Жермена XX века, потому что в присутствии учеников ронял фразы, выказывающие знакомство с событиями, которые действительно случались двести лет тому назад и раньше.

Будто бы с одиннадцати лет (?!) Георгий Гюрджиев интересовался религиозными тайнами, проникал в эзотерические школы, жил у ессев в Иерусалиме, в подземных христианских храмах Каппадокии, в абиссинских монастырях. Он искал знания, унаследованные еще от атлантов. И даже возникают у разных авторов конкретные даты. Вот он в книге Дж. Беннета «Гурджиев: Создание Нового Мира» (Нью-Йорк, 1976) с 1890 по 1898 год вместе с неким Погосяном посещает Багдад, Афганистан, Кашгарию и даже проникает в Тибет со стороны Каракорума. Потом оседает в Кабуле, где долго живет в суфийском текке, где учится у шейха, мюршида, учителя, носит власяницу дервиша, суфия. Он — мурид, ученик, который «должен быть в руках шейха, как труп в руках обмывателя мертвых», пока для него не стало равным нравственное и безнравственное, добро и зло, а там и достиг хакиката, истины, слился с богом, утратил свое «я». Он постиг тайны духовного опьянения «вертящихся дервишей», наследников Мевляны — великого поэта Джелалудина Руми. Суфизм привлекал многих великих поэтов Востока — Низами, Хафиза среди них, потому что учил интуитивному познанию, духовному озарению, умению достигать экстаза и даже проникать в мысли других людей, что граничило с ясновидением.

«У каждого человека должен быть учитель. Даже у меня, Гурджиева, есть свой учитель, — передает его слова Беннет. — Я никогда не расстаюсь со своим учителем, поддерживаю с ним связь...» И связь эта будто бы уходила в Кабул...

Познав мусульманские мистические учения, он продолжал путешествовать по Средней Азии, Памиру, Индии. Высказывались предположения, что он и был «русским агентом ламой Дорджиевым». В 1902 году в Тибете его ранила английская пуля. Буддизм, зороастризм, индуизм, шаманство — все привлекает его внимание. Он ищет сильных людей, которые могут «реализовать себя», хочет попасть во «Внутренний круг» человечества, определяющий судьбы мира, ищет способов стать сильным, собирает упражнения, ведущие к этой цели, включая гипнотическое воздействие на людей. Его интересует духовная сила православных аскетов, основателей русских монастырей в средние века, и возрождение старчества.

Какое-то время он учился в Тифлисской православной семинарии. Определить это время трудно, как и все, что связано с жизнью Гюрджиева. Известно, что Сталин учился в семинарии с октября 1894 года до исключения 27 мая 1899 года, и есть сомнительные сведения, что Сталин жил на квартире у Гюрджиевых и даже задолжал им (Дж. Мур «Гурджиев и Мэнсфилд», Лондон, 1980, с. 24). А Беннет передает слухи, что, настроенный резко антимонархически, Гюрджиев принимал участие в революционных событиях в Закавказье, приведших к 1905 году, и был едва ли не в той же группе, что и Сталин. Во всяком случае, Беннет слышал из уст Гюрджиева, что тот был ранен пулей в конце 1904 года в районе Чиатурского туннеля.

Если обратиться к книге Лаврентия Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» (М., 1936), то там можно найти и групповой снимок семинаристов, и упоминание о том, что в феврале 1904 года, бежав из ссылки в г. Балаганске Иркутской губернии, Сталин вернулся в Тифлис, а в конце 1904 года у него состоялась «большая дискуссия» в Чиатурах с эсерами и анархистами. И вот главное — 25 марта 1908 года Сталин был арестован в Баку под именем князя Нижарадзе и выслан в Сольвычегодск.

Забегая вперед, скажем, что в 1927 году Гюрджиев написал книгу «Встречи с выдающимися людьми», в которой нет имен известных деятелей, а события его жизни изложены весьма туманно, иносказательно и бездарно с литературной точки зрения. В многословном предисловии, написанном в конце жизни, однако просматривается мысль, что европейская цивилизация в процессе всего развития человечества — «пустой, бесплодный интервал», а современная литература — «проституция, отражающая чувства дегенератов и слабаков».

Но интересно другое. В книге отводилось место и для главы под названием «Князь Нижарадзе», которая долго писалась, читалась учениками Гюрджиева, а потом была уничтожена. Сохранилось лишь несколько невнятных отрывков на армянском языке, не связанных с личностью князя Нижарадзе.

Ученик Гюрджиева Беннет пишет в своей книге: «Мы понимаем, что глава «Князь Нижарадзе» касается некоторого щепетильного эпизода, связанного с трудностью, с которой столкнулся Гурджиев, так как этим бы он нарушил правила одного из Братств, где ему помогали и где его учили. Всякий, кто слышал чтение главы в 1933 году, припомнит, что она производила глубокое впечатление своим описанием человека, который просыпается после смерти и понимает, что он потерял главный инструмент своей жизни, свое тело, и вспоминает все, что он мог бы сделать, пока был жив».

Понятно, что Беннета больше интересует мистическая сторона главы. Нас же он искушает, походя упоминая о некоем тайном Братстве и прикосновении к нему будущего Сталина. Кстати, Мур упоминает какие-то переговоры, которые Гюрджиев вел в мае 1935 года, изучая возможность переезда из США в СССР, но предложенные условия не были им приняты.

Все это повышает наш интерес к личности Гюрджиева, связанного косвенно и с другими событиями нашего бурного XX века. И поэтому продолжим наш рассказ, ведущий к его встрече с Шульгиным.

К началу первой мировой войны Гюрджиев уже был убежден, что его «учение» сложилось. Тогда же он встречается с русским мистиком Петром Демьяновичем Успенским, изучавшим оккультные науки, написавшим о них целый ряд книг. В «Символах Таро» (СПб., 1912) он рассказывает о специальной карточной колоде Таро, родившейся будто бы еще в Древнем Египте, где жрецы и маги доверили свое знание пороку (картам для игры и гадания), который крепче добродетели, зашифровав в них тайную доктрину. Попутно Успенский рассуждает о герметических науках, еврейском алфавите, каббале, алхимии, астрологии, магии... В «Разговорах с дьяволом» (Пг., 1916) он ссылается на слова, сказанные чертом Ивану Карамазову: «Я люблю людей искренно, — а меня во многом оклеветали». Дьявол, владея будто бы царством материи, заботится, чтобы не нарушилась связь людей с землей, ибо тогда они уничтожаются. Есть у Успенского и книга «Внутренний круг». О «последней черте» и о «сверхчеловеке» (СПб., 1913). Она носит явные следы влияния Ницше, у которого Заратустра говорит: «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть ничто, а это должно быть преодолено». Начав с легенд о полубогах, титанах, богатырях, волшебниках, Успенский утверждает, что часть людей идет вверх, обретая рост, силу, долговечность, сверхмощный интеллект, приближаясь к сверхчеловеку, а часть — вырождается. Он приплетает сюда загадку Сфинкса, проповедует мораль — падающего толкни, призывает искать сверхчеловека в самом себе. И здесь он отводит особую роль мистике, дав ей такое определение: «Мистика есть род познания, претендующий на то, что он дает большие результаты в сравнении с обычными, немистическими, видами познания». Можно упомянуть и другие книги Успенского, ныне весьма усердно переиздающиеся на Западе, но нас интересует то, что он быстро спелся с «кавказским греком с черными усами, поражающими воображение пронзительными глазами и сильным кавказским акцентом» и в дальнейшем популяризировал то, что слышал от Гюрджиева. Разве что возмущался его антимонархизмом.

И тот и другой имели кружки своих почитателей. В 1917 году Гюрджиев оказался в Ессентуках, где в июне преобразовал свой кружок в «Институт гармонического развития человека», используя весь свой опыт изучения эзотерии, включая элементы древних храмовых танцев, верчения дервишей, негритянские пляски... Затем он перебрался со своими приверженцами в Тифлис, где узнал, что отца его убили, а другие родственники перемерли от тифа. Для добывания средств он основал фирму по продаже восточных ковров, дела которой и привели его в Константинополь.

К тому времени, когда Шульгин оказался там же, приверженцами «мага» был выпущен проспект.

«Узнав, что господин Г. И. Гюрджиев случайно оказался в Константинополе, эти люди обратились к нему с просьбой создать филиал Института гармонического развития человека в Константинополе. Г-н Гюрджиев дал свое согласие.»

Дальнейшее изучение деятельности «института» показало, что были созданы классы «гармонического и пластического ритма», «древних восточных танцев», «медицинской гимнастики», «мимики». Среди учителей были некий профессор де Хартманн и жена Гюрджиева — мадам Островская, которую торжественно посвятили в «жрицы».

Это происходило в узкой крутой улочке, в трех дверях от Большого Раввината, где было нанято большое помещение для демонстрации ритмических упражнений и ритуальных танцев. Адрес был таков: Пера, Туннель, Йемениджи-сокак, 13. Там-то и побывал В. В. Шульгин.

Это называлось Центром, у которого был свой генеральный директор, некий Гурд. Там дважды в неделю (по четвергам и пятницам), как явствовало из объявления, Гюрджиев «читает лекции, проводит публичные дискуссии по вопросам религии, философии, науки, искусства с эзотерической точки зрения». Публика предупреждалась, что «весь материал не публиковался». Кроме теорий «сверхчеловека», предлагался самый обширный круг тем. Гюрджиев рассказывал о своих путешествиях в Туркестан, Тибет, Афганистан, Белуджистан; о раскопках в Армении, Вавилоне и Египте; предлагал узнать, является ли Индия действительно страной чудес, вечна ли душа, свободна ли воля, каков главный дефект современной науки, что такое современный человек, что такое гипноз, магнетизм, мистицизм, «факиризм», «дервишизм», «йогизм». Он учил «науке чисел, символов и диаграмм», древнему священному искусству, науке о ядах, магии, доказывал единство всех религий, а также демонстрировал «проворство рук и трю-

ки, производимые факирами, спиритуалистами, волшебниками и предсказателями судеб».

И все это на русском, греческом, турецком, армянском языках — в зависимости от аудитории.

Уф, шарлатанство всеобъемлющее, но, выходит, оно требует познаний и немалых! Погодите, то ли еще будет...

Объявление появилось в сентябре 1920 года. В декабре, как мы помним, приехал Шульгин. В январе 1921 года в Константинополь прибыл Успенский и читал свои лекции в ресторане «Русский маяк».

Летом 1921 года Гюрджиев повез группу преданных ему людей через Румынию и Венгрию и устроился в предместье Берлина. Там он имел встречи с местными интеллектуалами, тоже бредившими о «сверхчеловеке»... Революция и инфляция погнали его дальше, в Лондон, где он два месяца промышлял сеансами гипноза. В июле 1922 года он заключил странную сделку с вдовой защитника Дрейфуса — Лабори, который оставил ей шато поблизости от Фонтенбло, дом-замок, некогда принадлежавший влиятельнейшей советнице и тайной жене Людовика XIV, знаменитой мадам де Ментенон. Так во Франции обосновался Институт гармонического развития человека. Официально там лечили пьяниц и наркоманов. Неофициально — продавали нефтяные промыслы в советском Азербайджане. Ну и еще кое-чем занимались...

В октябре 1923 года Шульгин, как мы помним, тоже оказался в Париже и жил целых полгода на улице Гренель, у бывшего русского посла В. А. Маклакова. И вот что он рассказывал о продолжении своего константинопольского приключения:

«С Гюрджиевым в «столице мира» (Париже) я не встретился лично. Но я узнавал о нем от моего «факира», которого будем теперь называть Максимычем, так как «факирский» период его кончился с отъездом из Константинополя».

В Париже тот был уже без бороды и с Гюрджиевым тоже не встречался, но знал о нем от «друзей». Все они раскусили Гюрджиева, но уже не могли жить без мистики, без тайны. Они льнули к Анжелине, которая тоже обосновалась в Париже.

Один молодой человек был сильно ожесточен против Гюрджиева. Его провел к В. В. Максимыч.

— Он преступник! Я убедился, что он уголовный тип, убийца.

— Неужели так? — сказал Максимыч как бы даже с радостью.

— Гюрджиев открыл свою школу здесь, в Париже. Там у него константинопольцы и новые. В старой усадьбе с садом. Место, удобное для преступлений.

— В чем же они, преступления? — спросил В. В.

— Сейчас он меньше занимается танцами, а больше гимнастическими упражнениями на воздухе.

— Но ведь это хорошо, полезно.

— Да. Полезно для здоровья учителя. А ученики... Он помолчал.

— В саду высокие деревья. На их верхушках и делаются гимнастические упражнения. Оттуда легко сорваться...

— И ученики делают эти упражнения?

— Делают. Отказаться нельзя. Развивают волю для гармонического развития. И еще делают упражнения над горящим костром.

— А если человек упадет?

— Скажут, несчастный случай. Он говорит, что ему двести лет, а выглядит на сорок. Некоторые думают, что он поддерживает долголетие магией, человеческими жертвоприношениями...

— Кому?

— Дьяволу! Сатане! Тому, кого в театре в Константинополе показывали!

Шульгин считал Анжелину и Гюрджиева представителями двух начал в мистике. «Белая и Черная Магия», — говорил он.

В 1923 году Париж был насыщен людьми, которым судьбой было предназначено оставить тот или иной след в культурах самых разных стран. Эзра Паунд, Гертруда Стайн, Джеймс Джойс, Дягилев, Стравинский, Пикассо, Хемингуэй...

Кэтрин Мэнсфилд, родившаяся на Новой Зеландии, к тридцать четвертому году своей жизни была уже очень известной писательницей, новеллы которой приближались к тонкому психологизму и ощущению драматизма повседневной жизни рассказов Чехова. В октябре 1922 года она поселилась в Институте гармонического развития человека в Фонтенбло, а в январе 1923 года ее не стало.

Биографы ее пишут о «человеке, который убил эту полугениальную-полусвятую красивую и чистую женщину». Они сообщают, что Гюрджиев отличался «диким нравом, жаждой денег, лести, византийской экстравагантностью, самообожанием, которое не вяжется с восточной мудростью».

Режим в Институте был построен на страданиях, трудностях, пытках, даже бичеваниях. Покачивая по-мусульмански бритой головой, он орал на своих учеников: «Все вы дерьмо!».

С Кэтрин он жил. Они называли себя «лесными любовниками». И еще он сравнивал себя с королем Агарти...

В 1924 году Гюрджиев разбился в автомобиле, мчавшемся со скоростью 90 километров в час в лесу в Фонтенбло. С тех пор был ограничен в движениях и перешел на писание книг и беседы в узком кругу.

Я думал о долгожитии В. В. Шульгина. Его духовная энергия была невероятна. «Злоба — источник всех болезней», — говорил мне он. Добрые мысли влекли к нему самых разных людей как магнитом.

Думал и о его судьбе. Он мог бы сделать полезного больше во сто крат. Впрочем, как и все мы. Несчастная жизнь уравнивает способности. Николай Рерих говорил: «Странно — людей много, а как только покажется дельный человек — он не находит себе применения». А его жена Елена Ивановна Рерих попала в самую точку: «Все твердят о различных свободах, но самые противоположные лагери боятся одного и того же зверя — свободы мысли!»

Наверное, не без влияния Анжелины в первой половине 20-х годов принялся В. В. изучать индийскую философию, узнал кое-что о карме — законе космической причинности. Но он никогда не погружался в медитацию без мысли и в сон без снов, что считается едва ли не достоинством в индийских учениях. И думал он не изысканно-абстрактно, а конкретно-образно, призывая весь свой громадный жизненный опыт. И сны его были видениями, пророческими, как ему казалось, продолжениями случаев из жизни, дополненными символическими действиями, которые он пытался истолковать, не слишком отклоняясь от здравомыслия.

Он не доверял самозванным Учителям. Просветления искал в себе. Сила его была в несокрушимом чувстве достоинства и поведении, не противоречащем убеждениям, характеру, духу. Ныне оправдываются отступления художника от своих убеждений под давлением смертельных обстоятельств. Таковы почти все люди, и оправдание лжи во имя буквального спасения имеет успех, лишь бы было модное покаяние на словах.

В. В. верил в массовое духовное очищение, которое примет заразительный характер.

8 декабря 1966 года он писал мне:

«...Надо еще принять во внимание: если есть какое-нибудь слово (понятие), то явление, им обозначенное, или есть, или было, или будет. То, что никогда не было и не будет, не может иметь слова для своего обозначения. Как оно могло бы появиться? Например, Рай, т. е. счастье. Каким образом могло бы появиться это представление, если бы его не было. Счастье было. В чем? В мире и любви. Это совершенно простая штука. Она утрачена? Допустим. Она вернется? Непременно. Скоро? Вот этого я не знаю. Но мне кажется, что оно вернется в форме эпидемии (психической), массового выздоровления. Не заразившиеся им будут называть выздоровление «повальным безумием». Нечто такое неодолимое (это иногда называют словом «экстаз») я испытал однажды во сне. Это нерассказуемо. Я проснулся от нечеловеческого раздирающего звериного крика, исторгнутого из меня блаженством, которого тело не могло вместить. Потому-то и называется тело «бренным», что такого состояния не может вынести. Это уже Рай «вне материи». Когда-нибудь расскажу сон. Здесь только скажу, что экстатическое состояние было вызвано лицезрением (во сне) массового явления всепобеждающей силы.»

Сна своего он мне не рассказал. Нет его и в многочисленных записях снов в тетрадях, которые он начал вести еще во владимирской тюрьме и сохранил из-за их, видимо, «невинности».

Черная магия. Демонические культы. Гиганты, спящие под золотой оболочкой в гималайских тайниках. Религия Бонпо в Тибете, приверженцы которой поклоняются злу. У них в изображении свастики — знака солнца, благополучия — лучи направлены в обратную сторону. Это антисолнце. Тьма... Все это всплывает ныне в той или иной литературной продукции.

Ну а Гитлер?

Он говорил Раушнингу, что общается с «Высшими Неизвестными». И ощущает страх в их присутствии.

Он говорил о мутации и выведении новой породы людей.

Еще не исследованы пути и связи идей розенкрейцеров, Блаватской, Гюрджиева, Гитлера, Сталина... да, Сталина. Их взаимозависимость и их... вражда.

Сатанизм, черная магия через теософию проникли с дремлющего Востока на динамичный Запад. В начале века были люди, которые считали, что теософия, оккультизм, спиритизм — так, чепуха, но все-таки они отражают нечто сильное, таящееся в каких-то неведомых глубинах.

В те годы Рудольф Штейнер основал в Швейцарии общество, уверенное, что вселенная есть в душе каждого человека, и что эта душа способна совершать немыслимое. Штейнер верил в черную и белую магии. Он хотел создать нечто белое, способное противостоять черному, Злу.

Любая энциклопедия с полной серьезностью расскажет вам об увлечении мистика Штейнера теософией, о создании им антропософии, о его «утопических идеях» преодоления бездушно-механического хозяйствования, ведущего к хищническому разорению земли. Он считал, что единственная функция государства — ограждать группы граждан от взаимного порабощения (сфера свободы), что нужны независимое правосудие (сфера равенства) и экономика, зиждущаяся на свободном кооперировании (сфера братства). Он проявил себя как драматург, скульптор и архитектор. Андрей Белый считал за честь называться его учеником. Любопытно, что гитлеровцы преследовали последователей Штейнера, в 1924 году сожгли его лабораторию в Дорнахе (Швейцария). В огне погибли все архивы Штейнера, а сам он умер через год. Но и по сей день признаются открытия Штейнера в биологии, медицине, педагогике...

Повель и Бержье в своей книге, стремясь догадаться, в каких богов верил Гитлер, валили в кучу все...

Ганса Горбигера с его доктриной вечного льда, иррациональным мышлением, отрицанием научного объективизма, журналом «Ключ к мировым событиям», с его ненавистью к «еврейско-христианской науке», рявканием на Гитлера: «Смирно!», верой в мифических героев, властвовавших над Землей и звездами, созданием собственной космогонии и школы, к которой принадлежали и принадлежат ученые разных стран с мировыми именами, с его претензиями на интуитивное познание всего и вся, с его «сладострастьем антирассудочного», когда знание конечного в науке становится предварительным условием всякого действия, когда откровение, прозрение — все... Он предсказывал падение Луны на Землю, но постепенное, с возрастанием силы ее притяжения, с гигантскими катаклизмами на Земле, с увеличением роста живых существ не только в результате освобождения от веса, но и под влиянием космических лучей на хромосомы и гены... Люди-гиганты увидят падение Луны, возвещанное Апокалипсисом. Но это не конец света, потому что остановить жизнь и природу нельзя...

Но прервем нашу скороговорку цитатой:

«В 1948 году один из авторов этой книги доверял теософу Гурджиеву. Будучи гостем одной из учениц Гурджиева, он лунной ночью стоял вместе с хозяйкой на балконе ее швейцарского домика. Хозяйка сказала:

— Более правильно говорить — эта луна... одна из лун...

— Что вы хотите сказать?

— В земном небе были и другие луны. Вы любуетесь последней из них.

— Как! Были и другие луны?

— Конечно. Гурджиев и некоторые другие люди знают это точно.

— Но астрономы...

— Ба, да неужели можно верить этим... научникам.

Это был день, когда во мне зародилось недоверие к Гурджиеву и его приближенным. Через несколько лет я прочел «Рассказы Вельзевула» Гурджиева и познакомился с космогонией Горбигера. К этому времени я был уже настолько подготовлен, чтобы понять, что имею дело не с фантастикой, а с религией».

По Горбигеру, до нашей Луны уже три падало на Землю, что обусловило этапы жизни на ней. Находила объяснение эра гигантских ящеров. Возрождались легенды о расе людей-гигантов, о которой Блаватская читала в древнейшей «Книге Дзена», о мафусаилах Книги Бытия...

Валентин Дмитриевич Иванов, знаток нашего Востока, счел нужным сделать такое примечание: «В начале пятидесятых годов в музее гор. Бухары были выставлены, — без оговорок, — чаша Рустама величиной с котел и плеть Рустама, которой можно погонять мамонтов. Тогда же в Бухару приезжали паломники поклониться Исмаилу Самани, покоящемуся в известном мавзолее, и — могиле гиганта, известной только посвященным».

Память о гигантах хранится в легендах всех народов. По Горбигеру, в каждой из лунных катастроф уцелевали остатки рас, порожденных различными мутациями. Мы живем в цивилизации маленьких людей с ограниченным разумом, утративших былые способности. Горбигерианцы находили остатки многих атлантид, созданных гигантами и погибших в результате космических катаклизмов...

Повель и Бержье были уверены, что Гитлером двигали идеи, далекие от национализма, что горбигерианство лишь чуть приоткрывает систему взглядов, намек на которую содержится в словах неоплатоника Плотина:

«Вселенная есть единый живой организм, вмещающий в себя всех живущих... Не соприкасаясь физически, все взаимодействует на расстоянии. Так как вселенная есть единая сущность, то по самой необходимости в ней все взаимосвязано и каждая вещь взаимодействует с целым. Нет случая, но все — гармония и единый порядок. Происходящее внизу связано с небесным.»

Горбигер верил в возможность существования человекобога, который собирал и будет собирать психическую энергию всего общества, направлять ею движение светил и даже управлять самим временем.

Нечто подобное излагал в своей книге «Всё и вся» Гюрджиев, который писал, что на Востоке он собрал сведения о происхождении Земли и о цивилизациях, утонувших сотни тысяч лет тому назад. Гюрджиев выдавал себя за жреца тайных богов и считал, что люди имеют особый орган, передатчик психической энергии, который мы именуем душой. По Гюрджиеву, религии сохранили выродившееся воспоминание о задаче, которая была некогда для человечества главнейшей — содействовать равновесию космических сил. В этом смысл египетского предания о том, что фараон своей магической силой был обязан вызывать разливы Нила. Западные народы до принятия христианства умели влиять на дожди и заклинали град. Полинезийские колдуны и теперь еще знают заклинания, которые вызывают дождь...

По Горбигеру, циклы борьбы между льдом и огнем таковы:

Каждый шесть тысяч лет атакует лед, вызывая потопы и катастрофы.

Каждые семьсот лет в лоне человечества происходит наступление огня. Именно тогда человек постигает свою ответственность за космическую трагедию, возобновляет духовную связь с разумом утонувших цивилизаций и готовится к мутациям.

Последнее наступление огня было выражено Орденом тевтонских рыцарей, остановленным славянством.

Через семьсот лет был создан Черный орден (СС). С ним связана была мистическая биология Гитлера, его «шарнир времени», его «магическое видение», направленное против «ложного пути духа», что означало, по его терминологии, забвение человечеством своего божественного призвания. Через «крушение сгнивших веков и сумерки» к созданию сверхчеловека, новой расы гигантов-магов... И на этом пути даже национал-социализм — лишь короткий этап, даже немецкая нация — всего лишь орудие выполнения высших предначертаний, а что до некоторых народов, то они — «результат жалкого заикания жизненной силы», порождение эпох упадка человечества. И уничтожение их — жертвоприношение в сатанинском ритуале. Это так же страшно, как и идея «богоизбранного народа».

Мороз 1941 года как бы знаменовал победу льда, а Сталинград окончательно поколебал веру в победу магического огня. «Поймите! — писал тогда Геббельс. — Сама Идея, само понимание вселенной терпит поражение. Духовные силы побеждены и близится час Страшного суда».

Теперь уже Гитлера и его окружение поддерживала лишь вера в «суд богов», во всемирное уничтожение всего и вся. Смерть всем! Потому и были затоплены в берлинском метро триста тысяч немцев...

Но немцев Гитлер приказывал уничтожать и прежде. Вспоминают эвфаназию — уничтожение слабоумных и сифилитиков.

Повель и Бержье прямо указывают на существование мистического сатанинского движения, культа с многомиллионными кровавыми жертвоприношениями. Следы ведут к кружку интеллектуалов «фуле», уходящему корнями в учение розенкрейцеров, в черное масонство. Вспыхивают и гаснут имена связанного с «Блистающей ложей» Карла Гаусгоффера, одного из зачинателей астронавтики профессора Оберта, мага Гюрджиева... В 1920 году писатель Дитрих Экардт и архитектор Альфред Розенберг назначают Адольфу Гитлеру свидание в «Доме Вагнера» в Байрейте, и с тех пор формируют сознание этого человека, руководят его мыслями и поступками. В 1923 году Экардт становится одним из семи членов — основателей партии национал-социалистов Число семь — магическое. Тогда же Экардт умирает, сказав: «Идите за Гитлером. Он поведет танец, но музыку написал я. Мы дали ему способы общения с Ними... Не оплакивайте меня, мне удалось воздействовать на Историю больше, чем какому-либо другому немцу». Годом раньше, в Берлине, Гюрджиев предрекал неудачу этому опыту. (Любопытно, что же это все-таки за Братство, замкнувшее рот Гюрджиеву, когда речь зашла о Сталине?..)

«Фуле» исчезает из виду. Это название легендарного острова, центра магической цивилизации, исчезнувшего, подобно Атлантиде, но находившегося где-то на севере. Общество «Фуле» будто бы черпало магические знания из хранилища Сил Великих Древних. Медиумом в этом общении стал Гитлер.

Можно прочесть у многих свидетелей и исследователей, как от Гитлера-оратора исходили токи, он казался гигантом, завораживал слушавших, а потом видели маленького, вульгарного, утомленного человека.

Гесс, улетевший в Англию в 1941 году, утверждал, что сделал это после того, как Гаусгоффер сообщил ему, что видел его во сне летящим в Англию. На Нюрнбергском процессе он давал показания, что Гаусгоффер был магом и тайным господином. С ним они посещали Гитлера в 1923 году в тюрьме Ландшурт после неудавшегося путча, беседовали, а потом Гитлер продиктовал «Майн кампф», но тайной доктрины в этой книге не было.

Генерал и профессор Карл Гаусгоффер часто путешествовал по Индии и Дальнему Востоку. В Японии он изучил японский язык, вступил в одно из тамошних тайных обществ и взял на себя «миссию», обещав, в случае неудачи, сделать себе харакири. Германский народ он производил из Центральной Азии, что от индоевропейцев зависит величие и благородство человечества. Он был ясновидцем — угадывал погоду и даже места попадания снарядов. Гитлер тоже угадал дату вступления немецких войск в Париж и день смерти Рузвельта. После войны Гаусгоффер занимался научной работой, а в 1946 году, убив жену Марту, покончил с собой по японскому ритуалу.

Под влиянием Гаусгоффера вновь появился и древний индо-европейский символ — свастика. У нацистов свастика повернута была лучами в обратную сторону.

Императрица Александра Федоровна перед казнью начертила свастику на стене дома Ипатьева и что-то написала. Изображение и надпись сфотографировали, а затем уничтожили. У генерала Кутепова была фотография изображения и надписи, а также икона, которую носила на теле императрица. Внутри иконы была запись, упоминавшая тайное общество «Зеленый дракон». Кутепова выкрали в Париже. Кто выкрал? В версиях упоминаются и агенты Сталина?!

Читаем:

«Некий разведчик, который издавал романы под псевдонимом Тедди Легран и сам был впоследствии отравлен при невыясненных обстоятельствах, рассказывает, что генерал Кутепов был похищен, доставлен на трехмачтовую яхту барона Отто Баутенаса и там убит. Легран пишет: «Эта яхта называлась Азгард. Она носила имя, — случайно ли, — каким в исландских сагах называют владенья короля Фуле».

Позднее был убит и барон Отто Баутенас. Требиш Линкольн, который, по его утверждению, является тибетским ламой Джорни Ден, говорил, что общество «Зеленых», родственное обществу «Фуле», находится в Тибете. Перед приходом Гитлера к власти в Берлине жил тибетский лама, прозванный «человеком в зеленых перчатках». Он трижды и без ошибок сообщал газетам, сколько нацистских депутатов пройдет в Рейхстаг. Гитлер регулярно навещал «человека в зеленых перчатках». Посвященные называли ламу «держателем ключей от королевства Агарти».

Агарти-Азгард-Фуле... Одновременно с гитлеровской «Майн Кампф» из печати вышла книга русского писателя Оссендовского «Люди, звери, боги». Оссендовский впервые в европейской прессе громко произнес слова Агарти и Шамбалла. Впоследствии два этих слова оказались на устах подсудимых на Нюрнбергском процессе...»

Авторы этих строк сознаются, что все эти сведения несвязны, случайны. Тем более, что в Нюрнберге судьи и подсудимые совершенно не понимали друг друга, были как бы жителями разных планет. Впрочем, книга Оссендовского (только не русского, а поляка), написанная на английском, есть в наших библиотеках...

Существует легенда, что в Гоби процветала высокая цивилизация. Она погибла от космической катастрофы. Выжившие, под руководством бога Тора, переселились на север Европы и Кавказ. Но в гималайских пещерах остались «сыны Разума Извне», разделенные на две группы. Одна, назвав свой центр Агарти, идет путем Добра и не вмешивается в земные дела. Второй путь основал Шамбалла. Это центр могущества и насилия, он командует стихиями, народами и движет их к «шарниру времени». Маги могут заключать с Шамбаллой договоры, принося человеческие жертвы.

Известно о тибетских экспедициях гитлеровцев. Известно, что среди последних защитников Берлина наши войска обнаружили около тысячи тел гималайцев, одетых в германскую форму, но без документов в карманах. Известно, что семь членов Фуле обязывались приносить человеческие жертвы...

Жертвами стали миллионы. И только ли жертвами нацистов?

Недавно я встретил в одной книге словосочетание — «кремлевский маг Берия». И задумался... Ничего-то мы не знаем!

Закон принят... Закон о печати, но не Закон о свободе печати. Разница весьма существенная. Ведь при обсуждении Закона о свободе совести (до сих пор не принятом!) речь идет все-таки не о совести, а о ее с в о б о д е.

Мало декларировать: «Печать и другие средства массовой информации свободны». Надо еще обеспечить эту свободу. Иначе Закон о печати будет так же бездействен, как и Закон о земле, не обеспечивший главного — разгосударствления земли, раскрепощения крестьян. Сталинская Конституция тоже провозглашала свободу печати, как и все другие свободы. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», — вдохновенно пели миллионы «рабов».

В первой статье Закона о печати, наряду с провозглашением свободы, значится: «Цензура массовой информации не допускается». А в пятой статье читаем: «Не допускается использование средств массовой информации для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую Законом тайну». Так кто же, спрашивается, будет охранять эту самую тайну, если цензура не допускается? Ведь на самом деле цензурное ведомство никто не отменял и, судя по всему, не собирается отменять. Подобные ведомства существуют во всех странах для обеспечения охраны государственных, военных, экономических и коммерческих тайн, но всюду эти тайны (если таковые, конечно, имеются) четко оговорены специальным законом. У нас такого закона пока нет, в постановлении Совмина СССР от 12 июня 1990 года только предписывается: «Подготовить и внести в Верховный Совет СССР проекты законов, регулирующих вопросы охраны государственных и иных тайн». Остается, опять же, непонятным, а почему соответствующий закон не принят и не прошел обсуждение одновременно с Законом о печати? Ведь времени было более чем достаточно: Закон о печати проходил обсуждение в прессе и в Верховном Совете в течение года.

Если цензура не допускается, а тайны остаются, то это лишь значит, что ответственность за сохранение этих тайн перекладывается с цензуры на органы печати. Они будут вынуждены заниматься самоцензурой, подстраховкой и перестраховкой, что уже и происходит в действительности. Многие органы печати, дабы не оказаться на скамье подсудимых за разглашение государственных тайн, тут же поспешили заключить договора с цензорами на предварительную, но неофициальную, приватную цензуру.

Хочется, конечно, надеяться, что и этот очередной законодательный казус произошел случайно, по недомыслию. Мы всего лишь учимся демократии. Опыт демократии у нас, действительно, не очень большой: всего двенадцать лет: с того времени, как 14 ноября 1905 года была отменена цензура и провозглашена свобода слова, и до того времени, как 27 октября (9 ноября) 1917 года эта свобода слова была вновь ограничена тем самым Декретом о печати, на который мы до сих пор ссылаемся как на провозвестник свободы. На самом деле все обстоит как раз наоборот: Декрет о печати запретил свободу слова. «Рабочее и Крестьянское правительство, — значилось в нем, — обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой (так стали называть «свободу печати». — *Ред.*) фактически скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс».

Теория классовой борьбы оказалась несовместимой со свободой слова. Октябрьская революция с первых же дней приняла «временные и экстренные меры» по запрету всей инакомыслящей печати, не подчинившейся ее диктатуре. 4(17) ноября 1917 года специальная комиссия ВЦИК приравняла попытки «восстановления так называемой «свободы печати» к контрреволюции, а 28 января (10 февраля) 1918 года был принят «Декрет о Революционном трибунале» и назначена первая тройка по его выполнению. Все остальное — уже следствие этих декретов Октября, узаконивших идеологический террор.

Закон о печати 1990 года в этом отношении, вне всякого сомнения, выступает правопреемником не запретительного Декрета 1917 года, а разрешительных законодательных актов 1905—1906 годов, отменивших предварительную цензуру и восстановивших ответственность печати перед судом. Но вслед за этим, как известно, последовал целый ряд запретов и судебных процессов над журналистами и органами печати. Вместо цензуры заработал суд... Ко всему этому тоже надо быть готовыми, если мы хотим жить в условиях демократических свобод, регулируемых только законом.

Сделан лишь первый шаг к свободе слова, которую еще предстоит завоевывать, постепенно расширяя границы гласности, как это и происходило все пять лет перестройки. Только теперь уже с помощью Закона о печати, дающего (при всем его несовершенстве) хоть какую-то правовую основу для борьбы за свои права.

Перед вами, дорогие читатели, первый номер нашего журнала, вышедший в свет без какой бы то ни было предварительной цензуры — официальной или приватной. Для нас это имеет принципиальное значение, поскольку и в дальнейшем редакция намерена отстаивать свободу слова и убеждений, свободу совести и вероисповеданий не на словах, а на деле. Все это, как мы считаем, не снимает, а лишь увеличивает нашу ответственность, но только не перед вышестоящими ведомствами, а перед читателями и перед своей человеческой и гражданской совестью. Материалы, которые мы готовим, должны нести читателям столь необходимую ныне пищу духовную (не отравленную, а чистую!), должны быть проникнуты болью, состраданием к трагическим судьбам нашего Отечества, должны быть исторически правдивыми, достоверными.

Вот основные критерии, которыми руководствуется не былая «парадная» редколлегия, состоявшая в основном из бывших или нынешних руководителей ведомств, а конкретные редактора, имена которых вынесены в выходные данные. Помимо новой рабочей редакционной коллегии, развивая возможности независимой прессы, при редакции образован общественный редакционный совет, от которого во многом будет зависеть будущее журнала. Но главное, конечно, — это поддержка читателей, доверие читателей.

Все у нас еще впереди — и трудности, и поражения, и победы!

ОБЩЕСТВЕННО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ «СЛОВА»

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал Госкомпечати СССР
Издается с сентября 1936 года.
№ 10, 1990



Художественно-технический
редактор **Е. М. Верба**
Технический редактор
Н. Н. Козлова
Корректор **М. Х. Асалиева**
Сдано в набор 23.07.90.
Подписано в печать 05.09.90.
Формат 84×108/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 14,04+0,96
Тираж 238 000
Заказ 1399
Цена 90 коп.

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64
Телефон для справок:
281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, г. Тверь, пр. Ленина, 5.

В НОМЕРЕ:

**К 120-летию
со дня рождения.**



**Иван Алексеевич Бунин.
Лето 1918 года.**